

НОВЫЙ Журнал

142

*THE NEW
REVIEW*

THE NEW REVIEW Новый Журнал



Основатели — М. Алданов и М. Цетлин — 1942

С 1946 по 1959 редактор М. Карпович

С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев

С 1966 до 1975 редактор Роман Гуль

*С 1975 по 1976 редакция: Р. Гуль (главный редактор),
Г. Андреев, Л. Ржевский*

Сороковой год издания

РЕДАКЦИЯ: РОМАН ГУЛЬ И Е. Л. МАГЕРОВСКИЙ
СЕКРЕТАРЬ: ЗОЯ ЮРЬЕВА

NEW REVIEW. MARCH 1981

Quarterly No. 142

2700 Broadway, New York, N. Y. 10025

Subscription Price \$24 — for one year

Publisher New Review Inc

Second Class Mail postage paid
at New York, N. Y.

ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>Ив. Бунин</i> — Неопубликованные рассказы (публ. М. Грин)	5
<i>И. Чиннов</i> — Стихи	9
<i>Г. Сомов</i> — Пушкин	11
<i>О. Анстей</i> — Стихи	48
<i>Ю. Кротков</i> — Святое семейство	49
<i>И. Елагин</i> — Олимпиада	62
<i>В. Блинов</i> — Проклятый поэт Петербурга	62
<i>А. Радашкевич</i> — Г. Иванов	88
<i>О. Ильинский</i> — Стихи	89

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:

<i>Г. Георгиевский</i> — Л. Н. Толстой и Н. Ф. Феодоров	91
<i>Ю. Соколов</i> — С итальянской армией на Украине	110
<i>Ю. Троль</i> — Гастрольная поездка на Мангышлак	133

ПАМЯТИ УШЕДШИХ:

<i>Е. Каннак</i> — О Н. Н. Евреинове	143
<i>Т. Величковская</i> — О Л. Ф. Зурове	149

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:

<i>Ю. Фельштинский</i> — История одной провокации	161
<i>С. Левицкий</i> — Достоевский как философ	188
<i>Игумен Геннадий</i> — Любоумудры и славянофилы	206
<i>П. Палий</i> — К.Э. Циолковский	221

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ:

<i>Р. Г. — Библиотека и музей Томаса Витни</i>	253
<i>Книги для отзыва</i>	256

НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ РАССКАЗЫ И. А. БУНИНА

ПУБЛИКАЦИЯ МИЛИЦЫ ГРИН

В письме Борису Константиновичу Зайцеву от 14. 7. 44 Бунин писал: "Посылаю — на всякий случай — список того, что накопилось в моем «портфеле». Следует список следующих рассказов: "Ахмат", "Au secours!", "Новая шубка", "Далекий пожар" и "О. Никон".

Профессор А.Б. Зверев, опубликовавший письма Бунина Зайцеву, обратил мое внимание на то, что эти рассказы нигде не были напечатаны. За это приношу ему свою благодарность. Рукописи этих рассказов хранятся среди не попавших в Россию бумаг Ивана Алексеевича. Рассказ "О. Никон" Бунин просил не печатать, я соблюдаю его просьбу. Насчет других рассказов запрета, насколько мне известно, не было.

Рассказ "Ахмат", написанный в 1944 году, был переделан в 1946. Печатаю эту версию. "Au secours!" сохранился в архиве в рукописи 1944 года. "Новая шубка" печатается по переписанному на машинке варианту, где поправки сделаны рукой Бунина и им же вписан французский текст. "Далекий пожар" тоже переписан на машинке. Поправки сделаны Буниным красными чернилами и проставлена дата (4. 5. 44)*

М. Гр.

АХМАТ

В жаркий, пыльный день, на выгоне рядом с уездным городом, праздничный и торговый кавардак многолюдной ярмарки. Под отпряженной телегой, на краю канавы, что идет

*"Au secours!" написан почти весь по-французски, мы его опускаем. РЕД.

вдоль дороги к городу, сидит, расставив колени от круглого, тугого живота, молодая баба на-сносях. На лбу коричневые смаги. Губы синие, припухшие. На лице та особенная, нежная, непорочная миловидность, что бывает у беременных, — лицо как в жару, глаза светят тихим, святым блеском. И огромный, крепкий купец лет за семьдесят, с черными бровями и глазами, с белоснежной бородой, в синей чуйке и синем большом картузе, говорит своему молодцу, проходя мимо нее:

— В зрелые года был я великий злодей в сих случаях: самая моя лютая страсть была к беременным. Никаких денег не жалел на них. Грех и вспоминать! А вот опять вспомнил, заметя эту бабу, да еще в какой день! Ведь нынче Сретение Пресвятыя Богородицы Владимирской ради избавления Москвы от Ахмата, царя Ордынского, и как раз день моего Ангела, великомученика Артемия. Вот, верно, и я вроде этого Ахмата окаянного.

— Господи, Боже мой, что вы на себя накликаете! — восклицает молодец подобострастно. — Даже слушать страшно. Нашли с кем себя сравнивать!

— Сравнишь, брат! Поневоле сравнишь! Истинно Ахмат! Я бы и теперь не пожалел на нее четвертного!

18. 4. 46

НОВАЯ ШУБКА

Париж в снегу, серый день, бледный от снега, и Париж весь бледный и просторный. Свежий воздух, ясно слышны запахи - автомобильного бензина, каменного угля.

Шли вниз по Елисейским Полям.

Он с удовольствием потрагивал уши под котелком:

— Даже уши слегка пощипывает! Как в Петербурге... Чудесно пройдемся, нагуляем аппетит.

Она вздергивает плечиком:

— Не понимаю, что тут чудесного. Вот я поскользнусь на этом милом снегу и сломаю ногу. А ты и не подумал взять такси.

— Но ты же говорила, что хочешь пройтись. А за всем тем, кто мешает взять?

— Теперь уж не к чему.

Он усмехнулся:

— Ты капризничаешь. И я прекрасно знаю, почему.

— Почему это?

Но она и сама знает почему: нынче на ней все новенькое — шубка, опушенная белым мехом, такая же шляпка, руки спрятаны в белую меховую муфточку. Она маленькая и знает, что многим мужчинам это очень нравится. А нынче она особенно похожа на хорошенькую капризную девочку.

— Но куда же мы все-таки идем? — говорит он. — Ужасно хочется почему-то мулей... Что ты думаешь насчет Прюнье?

— Я еще не хочу умирать. Сколько уж знакомых отравились твоими мулями!

— Во-первых, почему моими? А во-вторых, ты с таким удовольствием и без всяких мыслей о смерти ела их позавчера.

— Я хочу в венгерский ресторан.

— Вот тебе на! Почему-то в венгерский! Поедем туда лучше обедать. За обедом там играет цыганский оркестр.

— А я хочу там завтракать. Тебе отлично известно, что я терпеть не могу цыганщины.

— С каких это пор? Ну хорошо, хорошо, не сердись... Тахі, gue de Surenе!

В венгерском ресторане опять стала делать вид, что сердится. Там было пусто, сумрачно, неизвестно было, что заказать. Долго читала меню:

Cochon de lait roti...

— Chevreuil aux aïrelles...

— Что такое aïrelles?

— Это... Как его?

Что "как его"?

— Ах, да, черника! Или брусника...

— Я не знаю, что такое черника. Должно быть гадость какая-нибудь.

— Carpe au lard grillé, fogas du lac Balaton... Что такое fogas?

Понятия не имею.

— Вечно ничего не знаешь! И чему ты смеешься?

— Милый друг, но я же не венгерец. Откуда мне знать?

— Ну и молчи, если не знаешь... Nouilles au fromage... И все с паприкой?

— Не знаю, милая... Не все, конечно, но...

— То есть ты думаешь, что и салат au sucre может быть с паприкой?

— Не знаю, милая... Не все, конечно, но...

— То есть ты думаешь, что и салат может быть с паприкой?

— Ах, Бог мой! Гениальный человек Вертинский! "Из-за маленькой, злой и хорошенькой женщины погибаю в шести зеркалах..."

— Не смей повторять эти дурацкие стишки! И там сказано ограниченной, а не хорошенькой.

— Ну, а я хочу говорить хорошенькой... И знаешь что? Переберемся все-таки к Прюнье, благо близко. Там и народу хоть отбавляй, чтобы полюбоваться твоей шубой, и что-нибудь выбрать гораздо легче...

Усмехаясь, берет муфточку и встает:

— Ты очень глупый. Ну, идем...

Гарсоны переглядываются, выпячивая нижние губы.

ДАЛЕКИЙ ПОЖАР

Их первое лето вместе. Степной хутор. Поздно после ужина сидят в темноте на ступеньках крыльца. Темный дом, темная, теплая ночь конца лета. И далекий пожар за темной степью, на далеком краю ее черноты: невысокая, зубчатая гряда красного пламени. Горит уже давно, однообразно. Иногда видно, как по пламени проходят тени дыма. Усыпляющий звон ночных степных насекомых, покой земли, неба — и спокойная грусть непонятности всего.

Он пристально глядит вдаль, на пожар на горизонте, обняв ее молодое плечо:

— Ты меня еще любишь?

Она, глядя туда же:

— Люблю, милый. И все пройдет! Все пройдет: и моя любовь, и этот пожар, и эта прекрасная и оттого такая печальная ночь.¹

*

Мы положим на чашу весов
Тонкий запах осенних лесов,
Серо-сизые краски реки
И в полях негустые дымки,
Журавлиный, стрельчатый полет
И закат над туманом болот.

Мы положим с тобой на весы
Тишину в голубые часы,
Вечереющие облака,
Желтоватый огонь маяка,
Синеву, окружившую мост,
И мерцание маленьких звезд.

Мы положим с тобой на весы
Лунный отблеск речной полосы,
Понемногу сходящей на нет;
И уже проступавший рассвет,
Легкий ветер в осоке сырой,
След лазури над белой горой,
Засиявшую каплю росы —
Всё положим с тобой на весы.

Лепесток в озаренном пруду
И от лодки в пруду борозду,
И зыбучую тень от листка
Над полуденным жаром песка,
И — "ау!" молодых голосов
Всё положим на чашу весов.

Игорь Чиннов

*

Благоразумие-безумие,
Всего разумнее бедлам.
Я разум, мертвенный, как мумия,
Пошлю Эразму в Роттердам.

Лисица превратится в ласточку,
А я ничуть не удивлюсь;
Я превращу ее в ракеточку,
Компьютерами заслонюсь.

Ворона полетит в прикрытие
В подлодку превратим ее.
Прелюбопытное событие
Отплытие в небытие!

Дома почти не окровавлены,
А дыры покрывает ночь.
На синем черные развалины:
Гоморра и Содом, точь-в-точь.

Адью! Примите уверения!
Шлем термоядерный привет!
Переселяемся в селения,
Которых не было и нет.

Игорь Чиннов

ПУШКИН

ГЛ. 3. ХОЛЕРА МОРБУС

Ещё, кажется, ничего не зная, ничему не учившись, с незыблемой ребяческой уверенностью убеждён был Николай Павлович: в Царском — брат; потом, когда подрос чуть, узнал больше: в Царском — двор; достигнув же отроческих лет, иногда прибавлял спешно: строение Растреллиево; а когда после декабря двадцать пятого взошёл волею Божией на престол российский и непременно сделалось его ежелетнее присутствие в семье в Царском селе, ужаснулся по-настоящему, понял — зеркала! Весь, как приземистая, в длину вытянутая голубенькая табакерка, необыкновенно уютный и казовый снаружи, внутри дворец графа Растрелли сводил с ума от неисчислимости ледяных отражений, рождающихся на каждом шагу, живущих повсюду неожиданно и нагло. Уже с самого раннего утра, когда после чаю или кофию, туго, на весь день в мундирзabранный, проходил куда-либо бесконечную анфиладою зал Николай Павлович, опережал его слева, справа, в ногах и, кажется, даже над головой такой же точно, как и он сам, император всероссийский. Расчетверившийся двойник этот всегда на полкорпуса впереди Николая Павловича шествовал. Ростом был завидно высок, упруг грудью и выражение лица своего — в отличии от живого, от бедного Романова! — никогда не менял, хотя и случалось ему страдать крепко: то он напрочь терял голову (были во дворце и низенькие зеркала), то ломал ноги (случалось это на лестницах), то лишался рук (наплывали тогда по ходу редкие глухие, лишь живописью да лепниной изукрашенные простенки). Стараясь не косить по сторонам и прикрывая, будто устало, глаза свои, всё же не мог монарх не видеть, что, как ни спешит он, а наглый самозванец уже подстерегает его величество

См. кн. 139, 140, 141 "Н. Ж."

на выходе, кривляется в малюсеньком оконце над дверью и узурпирует уверенно утреннюю прогулку. Повторялось подобное ежедневно, и смертельно уставал от того Николай Павлович и думал в тоске, что так же вот и любое слово его либо действие бродит по Руси, начинается величием дворцовым, а кончает, в волю насладившись подобием своим в различных департаментах да присутствиях, шутовством кабацким. Потому и не любил Романов маленькое, тщательно зеленью поросшее, Царское село своё, ненавидел.

...В день тот, летом 1831 года, с утра ещё — на счастье, видимо, — ничто не растревожило государя. Утро без денницы занялось матовое и душное; покои дворца в тених, как в испарине стояли. Чувствуя вокруг себя лишь тишину податливую да полумрак, Николай Павлович — за всем-таки не усмотришь! — душой подражывая, разнежился, какие-то на кивера кирасиров контуром похожие цветы вспомнил, завтрак на одиннадцать минут затянул, сливок себе в чай долю неположенную долил, на спинку стула откинулся, добровольную муку мыкая немедля одёрнул себя, в назидание тотчас же и пеню наложил: мысленному взору своему представил далёкий отсюда кабинет рабочий в Зимнем... всё ящики, ящички, там-сям медью ковано, резная панель дубовая по стенам стелется, а слева от стола, в углу — это особенно берёт он — трещина червленой зарубкой, в сердцевину её — далеко куда-то — взгляд не проникает, там от ровного блеска лаку — отдохновение, нутро там тёплое, полагать надо, теплое, там... Но более уже не было нужды школить себя: езды захотелось и обыкновеннейшим — в нос слегка — голосом велел государь заложить себе одноместную открытую колясочку, звонкое английское чудо, самого Фазтона истинно достойную.

Проводить мужа медленно спустилась императрица.

— Улыбнись, — ласково попросил её Николай Павлович, твёрдою рукою беря вожжи.

Кроткие глаза Александры Фёдоровны встревожились — давно уж знала она о муже более, чем то любые слова откроют.

— Не умею я, — почти без голоса уста её выдохнули.

— Ну, тогда я к обычному, моему часу, — опять-таки словно наперекор чему-то, — будто приказал — сказал Николай Павлович, и мигом в тени аллеи погас лак английский: за

близкий поворот скользнула колясочка.

В плотной истоме — без солнца и разобрать-то трудно было к полуднюили к ночи уже — текущего дня, в его густом, бестрепетном воздухе зряшным казалось править. И повольно опутив руки, государь привычными только наклонами стана числил редкие на пути повороты, казалось бровями одними только замечал почтительно со всех сторон к нему льнувший ранжир кустарника под ноль остриженного да лип. Как всегда волнуяще необычайно лъстила ему эта весенняя вечнобезмятежность к известному скользящего движения. Сердце тянуло сладко, и упругий запах пота конского, как хмель, бил в голову. "Не забыть бы лишь нынче же днём с Александром Христофоровичем о фрейлинах переговорить, — примечал себе радостный государь. — Тон двора величественный не единой ведь грации требует, но также непреклонности и мягкосердечия!"

Эта простая и, казалось бы, всем доступная мысль опечалила несколько Николая Павловича. Там, где каждый из нас хранит ночные, сны не сны, только полусны, полупомыслы, толчки сердца, не ставшие чувством, тик ипохондрический с издетства забытыми обидами вскормленный, не верил государь, что, как небелёный холст, невыразительное лицо Бенкендорфа хоть на мгновение ожить может. "Люди ему подобные нужны, конечно, в делах государственных, — остро сознавая, что не понимают его окружающие, шептал Николай Павлович. — Но, Бог мой, как сушит! Сушит как!". Нет, другим всегда мыслился ему муж государственный! Таким, как Иван Грозный, как Пётр Великий! "Где вы? Где?". В пустоте, объявшей сердце государево от слов этих мнилось, что даже нувориш Меньшиков и тот ближе ему, чем любой из нынешних министров. "Что ж с того, что кровь в нём холопская была, — без дороги уже, кажется, несло и несло колясочку императора. Зато с народом он был — плоть едина! Самомалейшую и подлую нужду его мог на потребу государственную оборотить! Куда там нынешних с ним равнять! Нынешние — пустой ведь народ! Более на Францию косятся, чем о чаяниях отечества помышляют! Мелки! Мелки! Без лет стареются! По ним всем Русь, хоть пропади! Ежели и служит где-либо такой шибздик, так не о повышении радеет, а об отставке, подлец, наяву грезит! Един я, истово, как привык всякую свою работу работать, тосковал

Николай Павлович. — Как перст, един!" И в кручине едкой — без того разворошило всего — пустил мерина шагом. "Слова сказать некому, — далее рвалось на муку сердце. — Будто в степи живу! Пуст на людей двор! Холоп канальей правит да мздоичем и погоняет! А ведь ещё совсем недавно Карамзин с Аракчеевым рядом были! Се — умы! Одни задатки как блистали! А непреклонность в рвении служебном? А строгость помыслов? Да на одних ошибках мужей сих учиться надобно нынешним! Э-э-э-х!"

Притомившийся тем временем мерин, не чуя над собой руки правящей, самосильно решил скоротить несколько путь свой и потому — куда Бог вынесет — двинул крутиною напрямик. И Николай Павлович стерпел это! Не подумал ничего, слова не сказал дурного, только круто осадил зарвавшуюся скотину и — задом её, задом! — сызнова вывел колясочку на аллею, на хрусткий розоватый гравий, на верный путь! "Нет, Богом вверенный мне народ мой не таков! — оценивал произошедшее государь. — В послушании своём истовом он свят и праведен!". И неутолимая жажда узреть тотчас же всю Россию застила очи императора. "Что Царское? Что парк Французский? Что дворец, ежели вон — от окоема до окоема — сплошь одна Русь тянется! Там степи бегут, там леса волнуются, моря пенятся, зима оборачивается на лето, лето на осень и — внутренним зраком созерцая всё это — не в раз и смекнешь, где там траву косят, где рыбу вялят, а где в хороводы прыгают! — Боже! Ширь какая! Истинно, неисчерпаема душа народная!"

Умиления чистая слеза смежила взор самодержца, и он, никогда не стыдившийся чувств своих, только пожалел слабо, что ни души нет около и не к кому с трепетом высокого мига сего снизойти. Неторопливо остановил Николай Павлович колясочку, мешкая нарочито из-за обшлага платок извлёк и остороженько так стал примакивать его к густо покрасневшим векам. Тут на поворот аллеи — из-под платка это ему пятном видно было — наросла вдруг юркая, но ладная фигура человека в цивильном.

"Пушкин!" — медленно признал государь и, кашлянув, поманил пальцем. Тот приблизился.

— О России — матери нашей мысля! — поверх аллеи куда-то молвил Николай Павлович. — Коли внимать умеешь, многому способно лицеизрение отчизны выучить!

Александр Сергеевич, прежде ответа, голову, как положено-то, склонил.

“Лёгко уж чересчур, и этот цилиндр на локте, фу!” — по-прежнему скользя взглядом всё поверх да поверх, оглядел-таки его император. Единственно, что понравилось ему во внешности Пушкина — редкая кромка седины на висках да подсохшая к углам глаз кожа щек. “Состарел-то как! Изморщился весь!” — вдвойне чувствуя собственную неувядаемость и силу, думал Николай Павлович. Он отлично понимал, что жалость в подобном положении неуместна, но ничего с собой поделать не мог: “Вот ведь тоже из чего-то бьётся человек, — мелькало ему. — Может даже, как я, ночами не спит! Нет, сколько бы ни доносили на него, а пользу определённую он приносит. По лицу видно, что старается! Согласен: сил ему зачастую недостает, там способностей, но за это мне грех с него спрашивать — не каждому дано! Сам иной раз устаю! А тут, что ж? Тут и поддержать можно!”

— Служишь? — из этой мысли тотчас же и прервал Николай Павлович приветствие пушкинское.

— Я, государь, с полной бы охотой, — отвечивал тот. — Да вот — беда! Никакой службы, кроме литературной не ведаю!

— Подыми глаза! — Любил государь так попросить, чтобы не исполнить нельзя было. — Запомни, на службу отечеству Господь умудряет!

Видно было, как свободной рукой Александр Сергеевич узкое горлышко какой-то былинки высокой перехватил, чиркнул по нему острым ногтем.

— Я, ваше величество, готов, — просто сказал он. — Меня лишь тщета сил моих слабых смущает.

Потому, как понравился ответ, улыбнуться себе дозволил Николай Павлович:

— Что совеститься искренне не робеешь — хвалю! Сомнения же отринь! Не поленись за примером вспять оборотиться, на прашуров доблестных! Неиссякаемый кладёзь!

— Если только ваше высочество то помнит, сим достойным источником я уже не однажды пользовался.

— Постой! — Мешал государю от мух переступавший мерин. — Я хочу, чтоб постиг ты мысли моей ход. Невозможно более изображать так, как сделал ты в комедии своей соль земли нашей

народ русский! Чернь пишешь, Пушкин! Надобно для всех писать в героическом вкусе! Ей же Богу, славная цель! — Так легко обычно постигал Николай Павлович самое сокровенное любого ремесла, что даже отчасти скучал этим в наставлениях своих, и кабы не придворные, так, кажется, сам бы не замечал собственной мудрости. Поэтому он нисколько не удивился тому, что выслушав его, Пушкин как-то неловко плечами повел и заговорил лишь, затянув молчание гораздо долее возможного:

— Со времени "Годунова", ваше величество, я немало о сём предмете передумал. Твёрдо могу сказать, мнения мои ныне противоположны прежним.

"Ему кажется — это он сам до всего дошёл!" — Понимая тонко все причины слабостей людских, подметил Николай Павлович и, чуть набок поворотив с кудрями почти по-эллиински уложенными голову, сказал:

— Изволил обратить внимание! Весьма "Полтава" мне понравилась. Известная доля истины исторической имеется в ней. На сём основываясь и порешил я, Пушкин, тебе поручить составление жизнеописания пращура моего великого!

— Его величества Петра Первого? — быстро подхватил Александр Сергеевич.

— Великого! — Из того необозримого, что открывалось ему при имени этом, медленно поправил император. — Созидателя государства нашего! Вершителя судеб, гений коего требует не комедий всяческих, а пера подлинно русского, опирающегося на беспристрастные советы особ близких ко двору в то славное время и дух народный. Постигаешь?

— Пора преславная та давно виднеется мне! — Не мог не заметить Николай Павлович, как вдруг засуетился, стал говорить громче и чаще Пушкин. — Местами, кой-где я уже касался этого беспримерного в истории не только Руси полководца и просветителя, но то были лишь наброски. Ныне мне хочется строгого и ясного полотна. Фигуру монарха сего надобно брать разом, честными штрихами помечая и натуру, и прихоти её. Писать должно без оглядки, без утайки! Ваше величество, коли на то случится Божья воля, мною немалое место в труде моём отделить подручным вершителя, его сподвижникам и восприемникам. Кажется, таким лишь образом возможно выявить личность Петра

на поучение всей Европы!

Было в словах поэта что-то давно знакомое, уже слышанное, веющее печалью, доверенной беседой. Слушая его, государь невольно воспоминаниям предался: на светлое лицо его тень легла, большие прекрасные глаза — знал их силу Николай Павлович — скорбью зажглись.

Смолкнувший тем временем Пушкин стоял потупясь.

— Полно, друг мой! — с участливой улыбкой, грустно ободрил его государь. — Не смущайся, от сердца я. Вспомнилось просто, что в годы оны то же мне и Аракчеев говаривал слово в слово. Большой души был человек! — Далее эту мысль не хотел тянуть Николай Павлович: могло, как давеча утром, недостойное самодержца умиление посетить; он ловко перехватил вожжи: — Ты вот что, сейчас мне пора уж чай, а ты на днях зайди к Гурьеву — жалованье тебе положить!

— Ваше величество, мне допуск в архивы надобен, — прыгающим голосом попросил Пушкин. Лицо его посерело и одеревенело.

”Всё недостатки воспитания сказываются, — заметив это, губы поджал император. — Нельзя же в конце концов, чтоб человек от радости на глазах сам не свой становился! Держать себя надо! — и так как поворотное окружие уже начала писать по гравии колясочка его, не меняя позы, только чуть губы разжал:

— По моему слову пустят! Но смотри мне, буквой не прельщайся особо, а перво-наперво — истинность блюди! Ну, прощай, Пушкин!

От того, что застоялся давно мерин, мигом исчезла фигура Пушкина, будто и не было его никогда в аллее.

”Однако, славненько погулялось, — улыбался, уже ко дворцу правя, государь. — Право же день отменный выдался. Душновато несколько, но парк зато весь, как на ладони, просматривается. И Пушкин, вобщем-то, недурной малый. Не глуп, старателен кажется. Жаль расхлябан слегка, и манеры подводят, но это не беда. Станет ко двору ближе — приструнят. Была бы основа исполнительная!”

Настроение государево по расписанной на каждый день колее далее катило. Пить хотелось.

Неблизкий путь от Москвы до Петербурга, а с Большой Никитской до Царского так кажется и вовсе не добратся. Особливо в распутицу майскую, особливо на перекладных, особливо с мужем... И боялась Наталья Николаевна — Пушкина уже — путешествия этого страсть как. Ещё и маменька жару не уставляла поддавать: ну, как перевенётся кибитка, а? Ну, как обдерут где-нито на постоялом, ровно липку? Пуще же всего — об этом Наталья Иванова на дню по двадцать раз толковала — за муженьком своим богоданным смотри! Чтoб а ни карт, а ни винища в пути и духу не было! Хотя в чём поблажку дашь — на жизнь целую пиши пропало! Так-то, кровинушка моя последняя! Слушай маменьку, девонька, слушай!.. Кто ещё тебе добра пожелает?...

В ответ Таша то робела, то досадовала, то губки дула, но никак в толк взять не могла, кто же хуже — свои, али чужие?

Александр же Сергеевич смеялся только на это: мол, Бог не выдаст — свинья не съест, и торопил со сборами. Коко всё о концертах каких-то особенных, питерских клянчила, Александрина и вовсе страшное наговаривала, в грош не ставила маменьку, злословила: матушка у нас и хитра, и глуна разом, свой век заглотила, нынче на наш зарится! Не слушай ты её! Своим умом жить привыкай!

Терялась от всего этого Ташенька необыкновенно, плакала и капризничала, манкировала даже ежедневными почти визитами маменьки, но вместе с тем и радовалась. Да, радовалась, потому что знала: в Царском — лебеди белые и чёрные; государь в золотом шитье на вороном коне; по вечерам — музыка. Ей хотелось открыть Царское, как открывают контрдансы, одним завораживающе необходимым движением и разом увидеть всё: солнце — в улыбке, зелень — в трепете, лица — в восторге.

Однако ожидание не спасло её, и расставаясь с маменькой и сестрицами, плакала Таша ужасно. Ей притчилось, что никогда более не спрячется на антресолях, и проснувшись поутру рано, никогда уж не вздохнет в себя острого берёзового угара, — никогда! Слезы лились градом, крупные, горячие.

Мгновением этим, глядя на жену свою, Александр Сергеевич

тоже помрачнел несколько. Пожалел, что исподволь совершенно, а давным-давно уж миновалась та пора, когда такими ж вот безысходными слезами полнились его очи, и всё вокруг смотрелось непоправимым, потерянным... "А нынче на родных-то и глядеть тошно! Век бы не видал, и не охнул, кажется." И самому, чтоб рассеяться, часа два по отъезду, пока петляли с боков да за спиной заспанные московские усадьбы, рассказывал он Таше битую чепуху, были и небылицы, иной раз даже — со сторонами, правда, именами — своих походов подпускал, плёл в лицах из священной истории что-то, на всё, одним словом, шёл, лишь бы потешно было. И помаленьку отошла Таша, румянцем занялась, глазки отерла, любопытствовать стала. "Это вот что? — спрашивала она, по московской привычке тыча пальчиком то туда, то сюда. — Ах, как славно всё! Смотри, Пушкин, смотри!". Александр Сергеевич смотрел, куда просили, улыбался послушно, доказывал: "Видишь, у будки инвалид стоит обок с гусем? Вооон, матёрый такой, в бакенбардах! Так вот, ежели побрить его, да припудрить чуть — вылитая маменька получится. Ей-ей!"

Таша не обижалась, кричала:

— Не маменька, — а ты!

Пушкин тогда, — хоть и не позволяла ему то тесная их кибитка, — на караул взял, пробасил:

— А не похож! Не похож!

— Похож! Вот похож, и всё тут!

Так, опасениям своим вопреки, Таша толком даже и не заметила, как сквозь однообразный ряд дворов постоянных, добрались они в конце концов до Петербурга и уж в Демутовом трактире, засыная, подумала счастливо: "А где же здесь конфетами торгуют? Уж больно много домов каменных!"

В Петербурге Александра Сергеевича тотчас же дела да заботы завертели. Уходя с утра до вечера позднего пропадал он где-то, редко-редко приходил обедать, и в постоянном ожидании его да вестей о найме квартиры царскосельской сызнова сильно затосковала Таша. От одиночества непривычного поперёк горла стал ей Петербург. На взгляд её, всё не так было в столице! Одни, желтизной чахоточной крапленые, дома чего стоили? А убогое, треской провонявшее небо? А липкая, по щиколотку грязь на улицах в любую погоду? Таша загоняла прислугу по магазинам

боялась ещё в чужом городе сама ездить — но и покупки ничуть не успокоили её. "Всё как не у людей, — едва не плакала она, разбирая строгие, суровые пакеты. — Пойми вот иди, где чего наложено!" Действительно, то что в Москве обычно отвешивалось с первого же помавения пальца чуть ли не по пуду, здесь в Петербурге, бесцетно уточнив что и как, отпускалось фунтиками, пакетиками, ящичками, скляночками, делалось это, опять же, втридорога, опять же, и за упаковку плати, опять же, в одной лавке купно всё потребное по дому и не укупишь, а посылай по разным, а там — лиха беда начало — прислуга сама себе голова, тем паче, что воровата до крайности...

И совсем выбивалась из сил Таша, пытаясь хоть как-нибудь войти в колею, но — "Нет, не могу!" — опускались руки, и без оглядки хотелось бежать домой, туда на Большую Никитскую, в девичью свою, в досадебную...

И когда, управившись-таки со всеми хлопотами своими, назначив даже срок отъезда и попрощавшись с Плетневым, воротился как-то Пушкин домой ранее обыкновенного, на грудь ему прямо разрыдалась Таша.

— Ну, ну, голубушка моя! Полно! — бросился он утешать её, — Вот, гляди, глазоньки утонут! Чем смотреть будешь?

— А не могу я, — жаловалась она, не утирая слёз. Маленькая ещё.

— И я не велик! Что стряслось-то хоть?

Из заяблых своих не пуская руку его, ввела Таша Александра Сергеевича в свой покой.

— Вон! — указала только, а сама к двери: вот-вот сбежит!

К чему угодно готовый, огляделся Пушкин. Теплилась под иконою — маменькиной! — лампадка слабосильная, из окна в подмогу ей тёкший, густой, но тусклый отрез света, тенями мостил на полу почти живую груду; лежали тут: салоп лисий, сукном синим крытый; корсетов связка; полотна какого-то штука; шёлк — лоскутами, нитками и так просто, складками; ситец, крестный уже; платков — узел; лент — охапка; пяльцы и что-то вовсе непонятное — так, бахрома да стеклярус.

— Ну, так что? — раздумчиво спросил Александр Сергеевич.

— Ой, ну шевелится ведь! — с ужасом неподдельным выкрикнула Таша. — Мышь! Не видишь, что ли?

И верно, на пристальный взгляд вскоре начинало казаться, что в сердцевине этой груды живёт какое-то осмысленное движение: нитки переливались в дымчатый цвет и позванивал стеклярус.

Присев на корточки, Пушкин коротким, точным толчком разворошил тряпье. Изумлённой донельзя Таше открылся скелет порванного цилиндра. Торчала из него лихо тугая стальная пружина, оживала от каждого шага.

— Да, послал Бог живность, — Александр Сергеевич руками развёл. — Где ж тут, женка, мышь? Это, почитай, машина целая!

— Разве? Я так думала — мышь с мышинятами! — без улыбки, однако, призналась Таша. — Даже девку боялась призвать! А она, смотри-ка, неваправдышня... — И таки вскрикнула, когда в собственные руки ей попытался муж дать давешнее пугало. — Ай, страшно же... А ты тоже, что ни день, так нет и нет! Не могу я одна, не могу! Ну, Пушкин, — приластилась она к плечу его, — уедем отсюда! Хорошо? В Царское! Хочу в Царское! Капушкин ты, а не Пушкин! Всё ходишь, ходишь... Поедем, — а то увидишь из-за тебя и запозднимся!

— Куда это запозднимся? — удивился Александр Сергеевич.

— Вот ещё! Будто знать я должна, куда! Запозднимся, и всё тут! Ну, увези женушку свою, — губки её дергало книзу, — увези, миленький! Я, — Таша бровки к переносью свела, — скучаю за тобой.

Пушкин медленно переступил через корсеты на полу, к окну дошёл и, спиной чуя глаза жены, сказал тихо:

— Завтра чем свет и едем, душа моя! Мне самому, хоть и рвался я так из Москвы, а уж давно наскутила столица. В мае она — грязь, головы преклонить негде. Едем.

Расцеловала его Таша за это и до вечера самого, до сна весела была пуще меры всякой. По-французски вполголоса напевая что-то, в столовой места не находила, из окошка — в пальчики прыская — за офицерами подсматривала, потом назвала из прихожей тьму прислуги мужской и женской, понаказывала ей Бог знает чего — сама же и умаялась прежде всех — и, едва допил Александр Сергеевич чай свой "полуночный", последний, лёгкая и радостная, спать повалилась. Сон не пришёл, однако, а полезло в голову не нынешнее — всякое. И так как боялась обычно Таша и

вспоминать и думать, — хотя различия никакого меж понятиями этими не делала — позвала мужа. Тот — из покоя смежного свет сочился — видимо, писал чего или читал, отказался:

— Что-й-то не хочется мне ещё почивать, — и с торопливой ласкою, будто спохватившись, попросил, — А ты спи себе, дружок, спи, как мышка.

Не обиделась Таша, а укуталась потеплее. "Пускай его, — думала, — в постели одной удобнее." До сей поры не могла ещё привыкнуть она к замужеству своему. Бывшее у ней некогда равнодушие к супругу будущему нынче, разумеется, прошло, но как ни пыталась она, всё не могла уразуметь, дальше-то что станет? В представлениях её, в мечтаниях и помыслах не жил Александр Сергеевич долее прошедшего дня. Помнится, говорили ей сестрицы и маменька: "Вот, родишь, — все, солнышко, поймёшь!" "Ну, и рожу, — не соглашалась, чуточку лишь труся, Таша. — Рожу, подумаешь, мудрёное дело! А дальше-то что? Потом?". На вопрос сей никто, кажется, не знал ответа. "Страховидный он, — спорила она тогда сама с собой, — зато — Пушкин". Стыдно признаться, но боялась Таша именно имени этого. Чудилась ей в нем всамделишная пушка! Ну, как стрелнет! Доброта же Александра Сергеевича нисколько не нравилась жене. Обижала даже: "Что он и впрямь со мной, ровно с дитем несмысленным! Смотри, пожалуй, комиль-фо какой! Ходит целыми днями, где ни попало, а после: Ташенька, мышка, голубчик, душа моя, женка, — прост уж больно!". Не такой виделась ей когда-то жизнь её замужняя! И всего хуже — музыки мало! Ах, закрыть глаза и крúгом, крúгом, чтоб скользкими и прохладными сделались тугие нижние юбки; чтоб плечи и горящее над ними лицо знали — нет числа в мире восторженным взглядам и звукам; вон музыканты на хорах; милые, милые, шибче играйте, всего вам даст добрый Боженька за это, потому — так только и проходит жизнь настоящая! Есть ли на земле что-либо пленительнее музыки в жаркой полуночной зале? Нет, и быть не может! "А вот он, — совсем уже в полусне грезил Таша, — не понимает! Чудно как! Умный всё-таки и старый, книги читает, а радости истинной Господь не дал. Отчего так бывает?". Но перед отъездом долгожданным не хотелось голову ломать. Она просто решила:

— Научу я его! Всему научу! Ведь не жалко же и не тяжело. Танцевать он и так отлично умеет, стало быть, одной любви недостаёт! Эка важность! Расскажу — поймёт! Умный ведь!” И надев новое белое, на фигурном чехле, платье и лавкой ещё пахнущие козловые башмачки, по розоватому на изжелта-сизой мраморной лестнице ковро, спустилась Таша в громадную людную залу. Её ждали. “Экосез!” — объявил кто-то сверху. Она закрыла глаза...

... и вовсе проснулась уже в карете на дороге в Царское. Александр Сергеевич дремал напротив. Рассмеялась Таша.

— Отошла, душа моя? — встрепенулся Пушкин.

— Не-ка, — смеясь отвечала она. — Кружится всё, кружится.

— То не беда, — тоже улыбнулся он. — Здесь прямая дорога идёт.

— А и пусть её! Я так спала, так спала и, знаешь, Пушкин, под утро уже тебя во сне видала!

— Вот, на! Как же вёл я себя там?

— Ты? — Таша лукаво кулачком подперлась, как бы прикидывая — сказать, не сказать, — не выдержала: — Так и быть — скажу. Ты, толстый весь, на маскарад явился, а тебе велели разбойником облачиться. Так ты саблю взял, а от пистолета отказался — у меня, говоришь, свой есть и достаешь, — она даже ладошкой прикрылась, раскрасневшись, — достаешь хвост собачий...

— Какой хвост-то? — всерьёз заинтересовался Александр Сергеевич. Двустольный, одноствольный?

Таша слова вымолвить не могла, её било мелкой дрожью, она только кивала головой и отмахивалась.

— Забавная, однако, штука получается, — Пушкин прищурился. — А я, душа моя, о тучности как-то меньше всего помышлял. Отчего-то не идёт на тук хлеб мой! ловно не так я ем, как меня едят. Нет, это тебе совсем без толку поприitchилось.

— Чёрный, чёрный, — в себя приходила Таша, — вороной хвост!

— Что ж, из всей скотины Божией хуже всякого один бесхвостый человек живёт. Потому, кто знает, может хвост и к добру. — Сунувши ладони между колен, он стал моститься помягче.

Спалось дурно? — отсмеявшись, забеспокоилась Таша.

— Что-то, да! Хочу дорогой подремать! Прости, Бога для.

— Ааа, — Таша разочарованно прикинула к окошку, сказала холодно, еле слышно: — Как то вам будет угодно!

Её более всего обидело, что муж так добродушно к сну её отнёсся. "Уж чересчур прост выходит!" — снова пришла к ней ночная мысль её и, стараясь не задеть Александра Сергеевича, повернулась Таша в уголок. Ей бы одной хотелось побыть сейчас, одной.

Пушкину тоже что-то тесно было в карете. Вот уже несколько дней подряд, как беспрестанно и едко саднило у него душу. "Ровно изжога какая," — мутно думал он и пытался объяснить состояние своё сильно покренившимися денежными делами. "И то сказать, в долгу, как в шелку", — втолковывал он себе в голову, мотаясь то по Москве, то по Петербургу в поисках верных закладов, надёжных векселей, долгосрочных займов. Но и в невыносимой суете этой нет-нет, а являлась-таки ему дошлая мыслишка: "Что долги твои? — Как, что! Жизнь! Свобода! Кабала! — Э-э-э, вздор какой! Что ж, по-твоему, раз в долгах, так уж и жить не живи! Нет, братец, все в долгу, однако ж, долг долгом, а счастье — счастьем! — Ну, не знаю, — правоты за собой не чуя, всё ж перечил Пушкин. — Это кому как нравится! А я вот на закладные жить не могу! — Блажь, — куражилась та же мыслишка. — Будто и совместить нельзя. Да все знакомцы твои, друзья и недруги так живут! И ей же ей, славно получается! На одной стороне злато либо отсутствие оного, на другой — счастье! Надобно только подслеживать, чтоб человек ровно посередине меж тем и этим пребывался, остальное — приложится... И хоть не соглашался никогда Александр Сергеевич с голосом тем, что-то ворочалось в нём: верно! И с тоской отвращал тогда он взор свой от — всеединобессмысленных деловых бумаг, в себя обращал его, в Ташу, тщился разглядеть иное, дальнее, но плыло всё пред очами, тонуло и, мнилось, не постороннего кого, а себя, Пушкина, теряет он в горьких ночных чаепитиях, а с женою, Ташенькой, нечего делить ему: пусто, что на сердце, что под руками. Любовью или ненавистью полна жизнь, жаждою или пресыщением? Что довлеет дню злоба его? Грядущее — ничто, в сем он всегда, даже ещё с молодостью за плечами уверен был, а настоящее — где оно? Ведь ежели, не кривя душою прикинуть,

так будто и нет его вовсе! Лежит оно — в забросе обычно — не за морями синими, не за царствами диковинными — нет! — в нас самих, но, с тем вместе, и не во сне ли? Не за чертой ли духа и плоти? Прошедшее имеет свою законченную форму, грядущему самовольно придают её, и, как два от друга работающие колеса — свободы меж ними на волос нет! — от веку погоняют они в противоположные стороны! Настоящее же пребывает на стыке их. Вот на стыке том и удержишься поди, останься необрезавшись, слушай с восторгом, как толмачат тебе: то, мол, нужды высокие отечества нашего, там-де достохвальная к семейственности склонность, а вон — изящная словесность сплошь розами произрастает. Да на деле это всё и есть суть, настоящая жизнь наша! И каждому — хошь не хошь — доступна она. Мне, ему, отпрыскам моим...

Не раз и не два возвращаясь на ненастные круги эти, над собой и над всеми паясил Александр Сергеевич, насмешничал: "Грядущее моё — прошедшее!" Но отзубоскался так, никому ег не признался он, что самая жуткая для человека очевидность — подслеповатые и добрые глаза старости! Особливо близкими начали казаться они Пушкину после женитьбы его. Случилось будто не свободу, коей так дорожил он всегда, похитила у него Таша, но молодость. Точнее, то состояние нестарого и ещё не обремененного хворьями человека, когда в кругу привычек давних своих и друзей живёт он, словно в безвременье каком, не подразделяя с непременною для всякого нудностью увлечения и досуг, труд и страсть — на вчера, сегодня и завтра. Самое сладкое здесь, пожалуй, то, что человек сей может и не пользоваться привилегиями своими, достаточно и того, что подразумеваются они неотступно. Женившись, Александр Сергеевич — будто и не нудило его на это ничто ещё — ясно увидел: нет бесчисленности открытых либо запертых дорог, одна есть, не узкая, не широкая — твоя. Он поначалу дёрнулся было туда-сюда, захорохорился, закручинился, пустился придумывать себе параллели, корчевать былые наклонности, с оглядкой на юношей молодиться, — но опыт — а может то просто сердце сесть начало? — взял своё, пошептал, помучил бессонницами, смирил. И в новом своём обличьи ещё очень скользко чувствовал себя Пушкин, хотя и не жало ему ни откуда, не пеняло, а напротив, в его же будто интере-

сах, полной грудью жить заставляло.

Отсюда, чтобы не дай Бог не прозналось что лишнее, и к жене своей, женушке, относиться старался Александр Сергеевич как только мог ровнее. Берёг её от слов случайных, снисходительствовал, прихотить даже стремился к чтению разумному. Ташенька без видимой борьбы шла на всё, но жажды сильной, казалось, ни к чему не испытывала. "Лото? После обеда сядемте, ладно? — Мадам Скюдери? В среду почитаете: нынче я к портнихе обещалась... — Российская словесность? Я, известно вам, язык сей худо знаю, но думаю, вы сложностей особых мне не предложите!".

Пушкин в этом разе по-иному нашелся. Во влюблённости немалой своей ещё одну Наталью Николаевну построил, в приложение к единственной, в подмогу ей. И точно, глаже пошло всё, ловчее. Настоящая Наталья Николаевна спать, положим, рано захочет, — Александр Сергеевич в крохотный кабинетик к себе уйдёт, свечу затеплит, — со второй, с Ташенькой, сидит, книгу листает, иногда даже прочтёт чего вслух. Настоящая модистке задолжает, накапризничает, пригрозит к маменьке немедленно уехать, уткнётся в диван, примолкнет не на шутку; Александр Сергеевич — опять же другой, иной Ташеньке, всё объяснит, не гневаясь попусту: так, мол, и так, пусть и родовой я дворянин, а не вельможен, ассигнации на меня с неба не падают, сам их, проклятые, зарабатываю, будь же, Бога ради, бережливее. И ничего — соглашается... другая, иная Ташенька. Или ещё: Пушкин с друзьями заболтается, пропадёт на целый день, обо всём и обо всех позабудет, ну, прямо — гони к цыганам, да и только... Минется, конечно, запал сей, спохватится Александр Сергеевич, совестью учнёт мучиться, будет перед дверьми дома собственного мяться, по коридору в полшага плестись, а тут, в самый-то роковой момент, когда с Натальей Николаевной лишь тет-а-тет каяться надобно, откуда ни возьмись и является на защиту ему другая, Ташенька то есть. И уж перед ней в грязь лицом Пушкин ни за что не ударит, каламбуром блеснет, былыми молодецкими ухватками застрашает, покорит, одним словом... Иногда, правда, оказии и в этом роде случались. Увлечётся эдак Александр Сергеевич, — ан, перед ним две Натали, и настоящая и та другая, разом... Смушался он тогда необыкновенно, срочные

дела единым духом отыскивал и пропадал. Чтoб вернуться было можно, чтoб продолжить игру...

Со временем, oднако, после медoвoгo мeсяцa гдe-тo, Пушкин-тaки пересилил себя: вo всём признался Наталье Николаевне. Как мог понятнее и последовательнее рассказал ей всё, не каялся вoвсe, а прoстo, как пасьянс, разложил: да, таков я, может статься, в сем oтчасти и стихoтвoрствo моё повинно, но другим быть не умею, у меня в душе бyдтo несколько человек на пoстoе разом живут, прaвo, сaмoмy не понять, ктo кaкoй кyрбeт oтбросит. Прoсти, милая! Пойми, душа моя!

И — чyдo! — поняла. Каким радостным был день тот для Александра Сергеевича. День незаемного, неподдельного счастья! Всё oтoшлo тoгдa нa дaльний, ненужный план — и старение, и долги, стихoтвoрствo! Жeнкa, единственная, стояла перед ним близкой и желанной, с ней можно было говорить не обинуясь, ей нужно было смотреть в очи...

И уверясь, чтo после пoдoбнoгo не могут быть не выправленными дела eгo, радостно собрал Александр Сергеевич всё хoзяйствo свoё в Царское, впредь ещё позаботился o квaртиркe, подмазал, гдe тoлькo крайне безотложно было, заклады и... на тебе! Чёртов Петербург oпять всё, кажется, под гору пустил! Таша на глазах в пyстяки зарывалась, ум oбступали длинные нескладные мысли, рушился для работы необходимый покой, — да чтo там! — сaмoe жизнь невский туман застил. "Мыши — вздор! — морща губы вспоминал Пушкин. — Худo, кoли кaпризы в манеру войдут. А всё бyдтo к тoмy клонит!" — и чтoбы унять недобрый жар, хлынувший oт мысли этoй в гoлoвy, Александр Сергеевич, губы ладонью перехватив, выпрaстaлся резко из свoегo yглa.

— Дoждик вон! Видишь! — слoвнo дaвнo уж были у ней слoвa эти под рукой, тoтчaс же oтoзвaлaсь Ташa: — Пoхoжe нaдoлгo зaрядил.

Сaмo сoбoй oтпустило сердце. "Ну вoвсe ещё дитя!" — не мог не улыбнуться Пушкин; он глянул в oкoшкo:

— Дa! Но сие не странно нам. Смотри — Царское!

— Гдe?

— Гдe? — сызновa всё прoстo стaлo, бyдyщee зaмaячилo. Александр Сергеевич сжал нежно руки жены: — Везде!

— Ой, деревня! — ахнула Ташенька. — Ни одного каменного домика. Замоскворечье!

3

После исконного для Петербурга ненастья майского пали на Царское и окрестности его густые, по болотам вызревшие жары. Не разбирая дороги, шёл июнь неспешною своей северною походкой, и вслед поступи его торопились леса хоть малость пожить свежей робкой зеленью; сады усадебные с вечера ещё по-стариковски непреклонно топорщившиеся на зарю позднюю и стоящие, как в каре угрюмом, что ни утро сдавались: по палисадам выкидывали флаги белые — нежные хлопья черемухи, витые гроздья сирени; без весны, врасплох подкравшееся, наполнило Чухонию лето.

В какую-то из таких ночей и пропала у Таши любимая её собачонка. Так уж привыкла к ней Наталья Николаевна, что глаз со сна не успев открыть, ни у кого ничего не спрашивая, как плат побелела: одна! Ну, как можно: квартира у них с мужем в Царском отменная, дай Бог маменьке такую иметь; общество, с которым вечера доводится коротать, все ко двору близкое: кухарка не токмо стряпать мастерица, но и в нарядах толк знает; газоны и кусты перед домом прямо, ровно парики у парикмахера за стеклом вьются — всё исправно, всё в лучшем виде, да вот-те вдруг — беда, оказия нарочная! Собачушка-шалунья сгнула! До слёз обидно Таше стало. Растормошила она тогда Александра Сергеевича, рассказала, что и как.

— Пассаж! — вздохнул тот и кликнул Никитушку Козлова. Сыскать наказал.

Таша на мгновение от окошка отойти не могла. Ей потребно было в действии ждать — так мысли о потере легче становились. "Милое Царское, — думалось ей. — Вовсе не Москва, совсем нет! А ведь показалось глупой мне, — деревня! Куда там! Хотя и вдали от Петербурга, а все едино — столица!" Озадачивали её несколько лишь люди, с коими вязались новые знакомства и дела. Те, что одного с ними веса — чопорны и как бы — на возраст не глядя — взрослее, прислуга же — ворьё. "Вот и Имажку сперли! Не иначе, как на рукавицы, бездельники!" Жаль было очень Таше

умненькую собачонку свою, и никак понять она не умела, отчего это Александр Сергеевич к твари Божией равнодушен. "Тоже ведь зачем-то понадобилась Господу, — про себя укоряла мужа Наталья Николаевна. — Тоже разуменьем и любовью наделена. Зачем же он так?"

Сам же Пушкин, дабы не путаться без толку в собачьем розыске этом, наскоро хлебнул горячего кофею и гулять отправился. Бархатная какая-то духота стояла. Сильно морила вязкая серая жара, и оттого без цели совершенно петлял Александр Сергеевич самыми густыми аллеями, перекладывал надоевший цилиндр из руки в руку и, кажется, не думал вовсе, а лишь, как трепетный звонкий шар над головой, всем существом своим осязал один давний денёк лицейский, такой же вот блеклый, томящий. Они тогда всю гурьбою порешили увальня Дельвига плавать обучить. Будто за иным вовсе делом притащили доверчивого, как щенка, Антошу к пруду, усадить от воды не вдали, заговорили, засмешили да и навалились неожиданно скопом, содрали наспех с толстенькой фигурки его парадный мундирчик и в подштанниках белых бухнули с берега в глубину, сами — спасать приготовились. На удивление всеобщее Антоша шустренько вынырнул и, не оглядываясь даже на обидчиков своих, приличными саженками дунул к другому берегу.

— Ничего не понимаю, господа, — в недоумении полнейшем рискнул первым голос подать простосердечный Кюхля. — Он, что же, ранее дурачил нас всех? Как хотите, а я неблагородным сие почитаю!

Горчаков расхохотался только:

— Ну, лягуха вылитая, да и всё тут!

Пушкин тогда быстрее других пруд обежал, с виноватой и вместе любопытной улыбкой к барону подскочил:

— Не зазяб, Антоша?

— Дурачье вы каторжное, — беззлобно отплеваясь ему в ответ застойной тухлой водой Дельвиг. — Я сизмальства ведь, что щепка на воде держусь! Спросили бы хоть сперва, балбесы.

Не скоро разошлись в день тот они. Всё спорили: вот есть же у человека — имени смешно им казалось называть — качество достойное, почто скрывает, зачем?

— Да не так всё это, господа, не так! — не выдержал, нако-

нец, и сам виновник анекдота. — Прежде, чем шкодить, дайте себе труд узнать, в чём истинно человек нуждается! А учить рыбу плавать — нельзя! Поймите!

— А ведь, кажется, он мысль сказал, — неуверенно протянул Кюхля. — Я думаю, когда-нибудь смогу понять её!

Смешно всем сделалось.

“А ничуть не весело,” — как бы всё ещё продолжая вспоминать, размышлял себе Александр Сергеевич, но размышлялось уже слишком споро. И на мысли никак не походило то, кованное в готовые вовсе слова и предложения, что горячо занимало, заливало мозг. То, знал он, другое шло. И по тёмной резной зелени, прямо по гравии, что так мешал идти ходко, вольно, увидел он вдруг без всякого удивления лист бумаги толстый, волокнистый, синевой отливающий, с лохматым, как собачье ухо, висящим углом, — понял, облизывая тотчас же обсохшие губы: писать надобно. А лист меж тем сам собой писался уже. Спешно бежали по нему буковки, одна из другой чёрненькие в строчки строились и — без — голосу — отличною литою прозою повествовали о дворянине, коему судьба заместо чинов да служб вельможных даровала лёгкое, к полёту склонное, сердце. Простого, но доброродного происхождения герой сей и не помышлял даже искательствовать. Жил, сторонясь света и нужд людских, деля досуг лишь меж обширною библиотекою своей и беседами с некогда в большом фаворе бывшим старичком соседом, коего ум острый и чистый немало забавлял его. Так, в покое и уединении текли дни; казалось, конца им не может быть; порой думалось — вот уж и старость с мирными её сединою не вдали. Провидению, однако, было угодно по-иному распорядиться. В городок, где проживал герой наш, приехал некто граф Н.. Человек это был ещё вовсе не старый, с отличными чёрными бакенбардами, спокойный и неглупый. По городку вскользь передавали о каких-то невзгодах и интригах, заставивших графа, ещё полного сил и честолубия, искать неприхотливой глуши и забвения. Всё это, однако же, мало касалось до героя нашего; он продолжал безмятежную линию свою, как прежде никуда не выезжал, охотно занимаясь немудрящим хозяйством своим; ум и душа его, от природы одарённые, не нуждались нисколько в добыче извне.

Однажды навестил его добрый сосед. Отставной любезник сей

весьма успешно заменял своею наблюдательностью и слогом полное отсутствие в городке журналистов и газетиров. С обыкновенной своей неспешностью покуривая из трубочки, перемежал он воспоминания дней минувших с недавними вестями. Герой наш слушал его молча. "Да, чуть не позабыл, — уже уходить собравшись, остановился на пороге гость. — Дошло до меня, будто жена графа вовсе и не жена ему, а италианка, княгиня Р., бывшая некогда замужем, и об уходе коей от старого мужа много говорено было в свете лет с восемь назад". "Не вижу в сём ничего диковинного, — промолвил наш отшельник, — сердце женское переменчиво. С теми, кто живёт одними лишь страстями, случается и худшее!" "Так-то оно так, — отвечал ему на это сосед, — только сказывали, живёт она нынче с графом не вольной волей, а взаперти!" "Как!?" "А так, — продолжал невозмутимый вестовщик, — у несчастной от расстройства нерв сделался сомнамбулизм. Кажется, её даже видали ночью на стене графского сада! Не предупреждаю, но всё сказанное меж нами должно остаться в сих стенах, — заключил угодник осьмнадцатого века. — Честь женщины не может становиться предметом пересудов." Последнее, впрочем, было излишним.

Легко себе представить, какое действие оказало на героя нашего сие сообщение. Воображение его, подогреваемое беспрестанным чтением, вовсе лишило молодого человека покоя. В следующую же ночь порешил он отправиться к графскому дому с тем, чтобы или умереть там, или спасти страдальцу. Иного выхода не представлялось ему...

Тут течению слов непременно поворот показался: на всякий случай Александр Сергеевич и поворотил в другую аллею. — Ага:

... К ночи, — писалось далее, — собрались тучи, вскоре полил дождь. Герой наш сим был весьма обрадован. В непогоде видел он вернейший залог удачи. Закутавшись в плащ, с сильно бьющимся сердцем пошёл он со двора. Был ветер, с неба часто и остро моросило. Прожив безвыездно в городке родном с немалым лет двадцать, герой наш почти никогда не выходил из дому ночью. Оттого всякий куст придорожный мерещился ему живым. Грязь стояла ужасная. Поминутно оскользаясь и путаясь в полах плаща, герой наш порядочно устал, прежде чем очутился

у самых ворот графского особняка. Тут из привратничьей навстречу ему вышла здоровенная баба с презрительной метлой в руках. С видимым неудовольствием оглядев пришельца, она заперла тяжёлые дубовые ворота и сделала ему знак следовать за собой. Герой наш, молча, подчинился. С противоположной стороны дома в заборе оказалась низенькая калиточка. Баба отперла её громадным чугунным ключом. Они вошли. Вместо сада, который уже ожидал увидеть герой наш, очутился он в обширной сторожке. Ни слова не говоря, баба вздула без того еле тлевшую лучину, скинула с плеч свой мужественный тулупи, раскрыв герою нашему дородные объятия, запечатлела на ошеломлённых устах его громкий поцелуй. Наш целомудренный отшельник, сей ново-явленный Иосиф, как ужаленный, отскочил к дверям; но напрасно: они не поддавались...

... и, — помогая себе рукой Александр Сергеевич, остановился, улыбнувшись:

... На другое утро, когда в положенный час пришёл слуга будить нашего героя к чаю, нашёл он хозяйча своего в сильнейшей горячке. Несчастный выкрикивал что-то бессвязное, беспре-станно требуя себе то метлу, то морсу; руки его были широко разведены, казалось, он тщится ими объять нечто необъятное. Больших хлопот стоило выходить его. Но уж выздоровев, он и на порог к себе более не пускал говорливого своего соседа. Впрочем, добрый старичок вскоре скончался, оплакиваемый многими...

То был добрый знак: Пушкин, высмеяться чтоб, к тёплой коре липы спиною припал. "Ага! Стонет сизый голубочек! — вертелось почему-то в голове у него. — Повесть для уездных барышень с высокою целью исправления местных нравов! Сочинения графа Хвостова в духе новейшего романтизма. Гривенник ассигнациями штука, оптовым покупателям — скидка в пять процентов! Надобна и виньетку соответственную заказать: две метлы, лира, а кругом — мрак..."

Оббивая по пути пыль с сапогов, направился Александр Сергеевич к журчавшему невдали фонтану. Сильно и молодо бежала по жилам кровь. Пушкин смочил водой голову. "Ну, и обедать пора, — с удовольствием представлял он себе накрытый стол, выбирая на средокрестии аллеи кратчайшую дорогу. Послышался похрустывающий топот копыт. "Кого он это? —

настороженно потянуло сердце вниз и, казалось, прежде чем разглядел, угадал против воли, — Государь!"

Непонятною трусой шла изящная колясочка. Вожжи были приспущены, Николай Павлович — сам-кучер — сидел боком, держал в руках немалый белый плат, окунал в него лицо.

Пушкин — есть всё сильнее хотелось — взял цилиндр на локоть, склонил голову.

С быстротою, не вовсе приличной, при встрече сообщил государь Александру Сергеевичу о причине слёз своих. "Да, — подумал Пушкин, что-то положенное произнеся, — коли уж его проняло, стало, точно Россия состоянием своим будто лук способна действовать!" Далее Николай Павлович, в раж войдя, стал пенять Пушкину на нерадение служебное, на промашки в сочинениях, корил, что редко бывает при дворе. Александр Сергеевич слушал, потупясь, кивал, где потребно было — что-либо поддакивал и не на мгновение не терял острого присасывания под ложечкой. Оттого лень было говорить долгие фразы, оттого соглашалось, смущалось легче. Государь всем этим, видимо, удовлетворившись, сменил, наконец, гнев на милость: как табакерку в день тезоименитства, поднёс монарший заказ на составление жизнеописания Петра Великого. Давно уж знал Пушкин, с какой недюжинной хваткой и усердием метил на пьедестал пращура своего Николай Павлович. Александру Сергеевичу тут как раз и был резон посмирнничать, лишь кивать надобно было, лишь в глаза смотреть, внимать и клониться помалу в стезю уготованную, да во все тяжкие сорвалось ретивое: прихлынули давние помыслы, неизъяснимое волнение растопило грудь. Забывшись, Пушкин тотчас же подхватил едва намеченную мысль и — не слышал, что в миг тот на языке было — в уме узрел стройную картину будущей книги о Петре. Единым порывом не то вздымалась, не то корчилась на коленях Русь. В толпе лукавых и дерзких царедворцев шествие Петра не было благословенным шествием сеятеля. Головы окровавленные сыпались в борозду его и — ещё не понимал Александр Сергеевич, почему, — вовсе всходов не давали. Безвинная кровь просто в землю уходила... "Без железной руки распалась бы в ту пору Россия!" — прервал себя Пушкин, а сам без умолку говорил, и матовое, как из тонкой лайки, лицо государя теплело каждым его словом. "Очень

хорошо, очень хорошо, — влекло его на быстрых крыльях: — Всё разумеет государь! Видит Бог, дельный царь!”

Как давеча, в начале разговора, влажным затынуло глаза Николая Павловича.

Александр Сергеевич остановился: ему претило так, корыстно почти, пользоваться извинительной вполне слабостью самодержца.

“... в годы оны тоже самое слово в слово мне и Аракчеев говаривал! — до парения пушкинского донёсся вдруг растроганный голос государев... Кончилась книга о Петре-преобразователе. На обжигающий какой-то миг показалось Александру Сергеевичу, что тело его, приобретя разом огромные против обычных размеры, на острых, на режущих контурах своих только и держится, а нутряное всё с грохотом бесшумным рушится вниз куда-то, и последним бьёт по непонятым ухабам алое пустое сердце. Кровь безвинных просто в землю уходила...

Зачем-то попросил Пушкин о допуске в архивы и получил его.

Медлительный в своей колясочке, осторожно исчезал с глаз государь.

В подступившей к горлу пустоте аллеи показалось Александру Сергеевичу, что ползучими тенями облаков высоких вслед царю тронулись и соседние куртины, а с травы понесло злыми зелёными брызгами.

Зябко стало.

4

От окошка к окошку — все глазоньки проглядела Таша, покуда неприметно вовсе катило свои часы густое летнее время. Нет, не несут Имажку! Неужто погибла, бедненькая!

Подошла обеденная пора. Потянула ожидание, потянула — минула; улицею к парку загремели экипажи на вечернее гуляние, вслед им вымершею мостовой процокала цепочка всадников: три дамы и офицер; потом по булыжнику вперевалку водовоз затрусил с огромною бочкой, кричал что-то монотонное, покамест не увидел Ташу в окне, увидевши, — лихой, думать надо, мужик был — улыбнулся ей дерзко из черной бороды своей, хотел

было править к воротам прямо, да угодил в канаву, выворачивая из неё, въехал задом в переулок какой-то — там и пропал. Сконфузившись этим несколько, отошла Таша в глубь комнаты, приказала себе воды сахарной, села в кресла у складного журнального столика. "И Пуш — кина нет! И Пуш — кина нет!" — такало в мозгу у ней. Она сжала виски руками. Всё-таки это бессовестно! Бросить жену, уйти на целый день куда-то! Нет, права была маменька в предупреждениях своих! Виданное ли дело, году нет, как женат, а уже манкирует! И когда, в какое время! Бездушный! "У меня всё сердце не на месте, — шептала себе Ташенька, — Я ведь одна тут... Без Имажки даже, а он..." И очень захотелось ей справедливости, пусть и запоздавшей, но полной. "Вот случилось бы как нынче, только чтоб я в белом лежала на постели. Полог китайский, шитый плотно, задвинут, натоплено в спальне, а мне все дрожится, холодно и пить хочется, — она точно отпила принесенной воды. — Прошу я, стало быть, слабым голосом — никто не слышит. Тут — Пушкин. Опять откуда-то поздно воротился. Услыхал. Что, спрашивает, что, Ташенька? А уж я почти и не дышу. Он за лекарем послал, слуг нагнал. Только ник чему всё это! Поздно! Он к изголовью моему на колени, и прощаю я его! Живи, еле слышно говорю, женись, коли сможешь, меня иной раз поминай... У него — слёзы из глаз..."

Шемящая грусть картины этой печальной как-то освежила Наталью Николаевну. Она отёрла лицо, допила, что оставалось, из стакана и — не смеркалось всё ещё — подвинула к себе со стола какую-то жиденькую книжонку в мягкой жёлтой обложке, озаглавленную по-русски. Запинаясь — худо очень знала Таша грамоту эту — прочитала: Кав - кас - ский пле - нник. Повесть. Сочинение Александра Пушкина. "Ну, это я читала, — вспомнила она тотчас же восторги Ази, — нечто с театра военных действий. Скучно!" — Но поленилась тянуться к столику из кресла опять, класть книгу на место и листнула её вглубь. На странице, оставляя округ себя большие никчёмные поля, плотно сидел столбец коротких чёрных строк. Таша всегда боялась русской азбуки, она казалась ей невероятно трудной. "Одних запятых сколько!". Найденная страница прельстила её тем, что более грешила точками. Приготовя пальчик, Таша осторожно прочла:

”На нем броня, пишаль, колчан, — Кубанский лук, кинжал, аркан — и шашка — вечная подруга... Шашка? В шали, с седыми букольками, как у маменькиной мадам Жоффруа, вечно из табакерки нюхающей...” Передохнув, она ещё наугад открыла. Кажется, нечто любопытнее, так: ”В руках любовника лежала — Её холодная рука...”. ”Верно, руки всегда зябнут. Однако ж, без перчаток, с любовником! Фуй, что за вкус!”. ”И, наконец, любви тоска — В печальной речи излилася: — Ах, русский, русский, для чего, — Не зная сердца твоего, — Тебе навек я предалась?”. Таша прикрыла глаза ладошкой: ”А вот это — хорошо! Совсем, как у меня! Как там!..”. ”Не зная сердца твоего...” ”Злосчастная девица! Доверчивая, прекрасная! Как всё ж таки неблагодарны мужчины! А я? Что я о нём знаю?” Тут слабенький огонёк подозрения мигнул в душе Таши. Она с лихорадочной поспешностью принялась перевёртывать страницы: ”А что?.. А если?.. Нет, прежде надо узнать, кто она! Так... так... так... ааа, ну-ка: ”Впервые девственной душой — Она любила, знала счастье; — Но русский...” Нет, не то! Вот, вроде: ”Люби меня”; — ”Бесстыдница!” — ”Никто доньше — Не целовал моих очей; — К моей постели одинокой — Черкес молодой...”. ”Довольно, даже слишком! — в сердцах едва не разорвав её, Таша захлопнула книжку. Никаких сомнений у ней уже не оставалось: молодая героиня повести все излияния свои обращала к Пушкину, только к нему. ”Говорили же мне — не верила, — казнилась Таша. — Натурально! Что ж ему делать было на Кавказе, как не кружить головы тамошним ”девам”! Служить он не желал... Ах, — она подобрала под себя ноги, припнула головой к коленям. — Пушкин! Пушкин! Зачем ты такой злой!”. В доброте своей незаурядной её ещё как-то прощала Таша — ”Мы девицы — легковёрны!” — его же — никогда!

Воротившийся Александр Сергеевич застал её в слезах.

После прогулки утренней, после встречи с царём — холодно было ему глядеть что на слёзы, что на улыбки. Хотелось только лечь ничком и греть голову. Из вежливости одной обнял он жену, поникшую в кресле, силком поставил её на ноги, попросил:

— Ляг поди, родная, коли нездоровится.

— Сам ляг, — не подымая мокрых глаз, притопнула Таша. Сам!

Пушкин, в момент этот раздумчиво вертевший в руках "Кавказского пленника", об пол хватил злополучную книгу:

— Вот что, матушка моя, — губы его, казалось вот-вот лопнут, — или ты тотчас же идёшь к себе, или более до смерти меня не увидишь! Со всеми псами и мышами к маменьке отошлю!

Не сдерживая рыдания, Таша бросилась к дверям и как раз едва с ног не сбила налезшего в проём не вовсе ловкого Никитушку Козлова с присмирившей Имажкой на груди. Ласковая собачонка сейчас же, скуля, рванулась к хозяйке; Таша подхватила её на лету, припала лицом к белому доброму меху и в голос уже запричитала. Никитушка же Козлов — ровно и не видал, и не слышал ничего — почтительным кругом приблизился к Александру Сергеевичу и заревел, точно на плацу:

— За моську этаго, Александр Сергеевич, ассигнациями требуют!

— Что ты говоришь? — Пушкин готов был его расцеловать. "Ай, умён, шалопай! Чистый громоотвод!" — Сколько?

— Ежели с водкой считать, — в охотку объяснять пустился Никитушка, — так гораздо поболее выйдет, чем на сухую, конечно, но тож изрядно!

— Вот прогоню болтуна! — отсчитал ему что-то Александр Сергеевич и подошёл к Таше.

Та, как в пароксизме каком, истово ласкала бедную свою Имажку; оплела собачонку развившимися волосами, беспрестанно нашёптывала что-то в тёплое лохматое ухо, целовала.

— Голубчик мой, Ташенька, — попробовал было Пушкин руку ей на плечо положить...

— Ведомо вам должно быть, — блеснули ему мокрые глаза, — что такими словами, как наемни, Александр Сергеевич, не бросаются. Сблаговолите позвать ваших людей, и пусть они тотчас же уложат мои вещи: я минуты лишней не могу оставаться с вами под одним кровом!

Александр Сергеевич дал Имажке, в розовую пасть её, палец.

— Вот тебе голова моя, — тихо сказал он, не глядя на Ташу, а видя перед собой лишь серую зелень царскосельскую давешним полднем. — Не надобно, добрая моя! Ведь известно тебе — молодец я горячку пороть! Так не сыпь пороху! К чему это тебе?

Семья одним твоим норовом не окрепнет! Ей из нас двоих расти должно! Ты приметь, я не за прощением к тебе говорю, хоть и виноват, разумеется; нет, здесь — другое! В сердце своём не будь чужой мне! Я что угодно согласен делить с тобой, но согласись и ты, сие возможно лишь при участии твоём! Ну же, Ташунчик!

Имажка, пригревшаяся меж двоими, слабо пискнула.

— Я не понимаю, — глядя её, ровным далёким голосом сказала Таша, — как после недавнего вы еще смеете просить меня о чём-то!

Пушкин, разведя руками, быстро зашагал по комнате:

— Добро! Тогда давай браниться! Чего нам в самом деле огород городить, жалеть друг друга! Давай разъедемся, розно заживём, в мире, в разврате...

— Вы сами, коли помните, это предложили!

— А то как же! Я! Разумеется, я! Кто ж ещё виноват! Я набросился, взойти не успев, я тут бегал и при слугах волосы на себе рвал, с собачонкой целовался! Кругом я виноват! Натуральное, нас ведь двое лишь — стало, я — негодяй!

— Вы позволяете себе недопустимый меж порядочными супругами тон!

— Я всё себе могу позволить! — сорвался-таки Александр Сергеевич и круто остановился перед Ташей. Та отшатнулась. Пушкин мягко высвободил из пальцев её Имажку: — Единственное, что позволяю я себе, так это любить тебя сверх всякой меры! — И внимания не обращая на уклоны Ташины, обнял её: — Люблю! Люблю!

Вечером допоздна они пили чай. Пушкин много смеялся, рассказывал всякие лицейские пустяки, ерничал. Таша — будто и простила всё — однако держалась чуть с прохладцей, жаловалась на головную боль.

— Оставь, душа моя, — утешал её Александр Сергеевич, — у кого нынче головушка не болит!

Но не оставлялось Таше.

Пушкин, рассеяно скользя взглядом по лицу её, вдруг подобрался.

— Знаешь, позабыл я вовсе, — редким каким-то голосом, по слогам почти произнёс он, — новость у меня!

Молчала Таша.

ПУШКИН

— С царём нынче я в парке встречу имел! Чтобы не сказать благополучно, мирно кончилась беседа наша! Но — с сей поры я историограф государства богоспасаемого нашего! Каково?

— Это как Карамзин? — искренне удивилась Таша.

Не любил Александр Сергеевич, когда ровняли его с кем бы то ни было.

— По должности — да, — за трубкой тянясь, подтвердил он.

По направленности же расходимся мы необыкновенно. Николай Михайлович поэтическим пером своим по летам воскресил времена давно минувшие. Явным сделал те тайные законы, коими крепла на Руси государственная и монаршая власти, доказал их необходимость для блага народа. Заметим в скобках, а что ему не на благо? Мне выпали времена не так отдалённые. И потом — главным почту я в работе своей беспристрастность историческую. В том, что сохраняет история потомкам, более случайного, нежели закономерного. Доказывать же полезное только нашему дню, я не имею не токмо охоты, но и умения даже! Будь любезна, дай вон табак в коробке.

— Я так думаю, не сумеешь ты, — покрасневшись радостно, вступила Таша. На зеркальном паркете мелькнул ей разноцветный бал. "Прекрасная новость!".

— Что так? — нахмурился Александр Сергеевич.

— Нет, не сердись, — подавая табак, ластилась к нему Таша. Просто Карамзин умел писать толстые томы, а ты все худенькие... Я правду говорю, не смейся, тяжело будет!

Пушкин, бросив трубку, рассыпав табак, с головою в кресле пропал.

— Ай да, женка! — через слёзы удалось ему, наконец, вымолвить. — Тебе критики надобно начать писать, а не рукодельничать. Вы бы с Имажкой такого понаписали — Булгарин по миру пошёл бы!

— Вот глупый, — тоже смеялась Таша. — Разве не верно? Легко делать, к чему привык! А скажи, Пушкин, — она посерьёзнила, будто припомнив что. — Ты в стихах о себе писал?

— В стихах? — он оттопырил нижнюю губу. — Дай Бог памяти! Право, не скажу! Может и писал.

— А в повестях? — надеялась Таша.

В "Белкине"? — прежде, чем подумал, сорвалось у Александра Сергеевича.

— Нет, в повестях вообще.

— В повестях вообще? А чёрт его ведаёт...

— Не бранись только, прошу тебя!

— Не бранюсь я! Вот те крест — не помню! Ну, попадало кой-куда и от меня, конечно; только, разумеется, вздор всякий, пустяки, мелочь. А к чему тебе?

— Нет, любопытно, — губку поджав, головой покачала Таша. — Устала я, Пушкин.

— И то! Ну, покойной ночи тогда, душа моя! Сделай милость — увидь во сне ангела!

Таша не отвечала.

Уже на липнувшей волне первого сна кольнуло ещё раз её давешнее. "Так не признается, — в подушку шепнула она. — Хитрый!"

5

Думалось — обернуться лишь недостает, и в счастливых майских дождиках предстанет глазам подтамбовская, золотая и зелёная, вотчина. Но не мятою тянуло с полей, а лежалым квелым луком; не податливое, во всю денницу, струилось под маркизы утро, но осклизлый рассветный ветерок пронизывал до костей; не песни сенных девушек теснили в груди дыхание, а на молитву, чуть свет ставил, за завтраком пить учил, а за обедом есть наставлял, как сквозняк вездесущий, голос мадам Дефарж. И потому возвращаться некуда было, и приходилось либо в нынешнем с головою жить, либо из прошедшего выискивать одно о́кольное да потаённое, куда никто никогда взгляда не бросал, где — в саду за беседками, близ детской — в чулане — полумрак всегда густ был, где быстро уставали, смежались веки и откуда, как на неверных упругих крылах, легко несло сердце прочь...

Ещё кузина у ней была. Боже, как невыносимо было следить за приторным её лукавством!

Не в пример Сашеньке, Бубу — это из Варвары-то переделали! — любовью немалой у всех пользовалась; дарили ей все, баловали. Не стерпелось как-то Сашеньке, и умыкнула она у

кузины своей, к именинам той привезённую, куклу. Как нынче, лето было; Сашенька — сад, сквозь малинник и чепец, и юбки в лохмотья — прорвалась, ничком в траву: умаялась, тяжела игрушка оказалась. Едва отдышавшись, под себя ноги поджав, села, куклу в рост перед собой поставила: хороша дама! бомонд! румяные щёчки, синие, раскосые чуть глазки; как смоль чёрные волосы подвиты по моде. Прелесть какая! Взяла ручки её в свои: фи, противные, что масло, мягкие; мгновенно от плеч к талии огладила в шёлк забранную фигуру и отпустила, отпрянув: гадость, труха!

Когда нашли её — переполох из-за куклы и сашенькиной пропажи вышел — сидела она будто в забытии: тёмные глаза на лице недвижимо стояли. Но, как ни в чём не бывало, прошения у кузины попросила, перед мадам Дефарж покаянно присела, сказала, похищенное возвращая:

— Возьми её немедленно! У меня и в мыслях никогда не было играть с ней!

И как бы уверенно ни повторяла после слова эти Александра Осиповна Россет то по-английски, то по-французски, то по-русски — лгала. Алкало её ни детством, ни юностью не утолнённое сердце, встревало потому даже в обыденное и зряшное, путалось из стороны в сторону, в полуночное же бросало не частые, но яркие блики. Так, обыкновенно, свеча в руках у сопровождающего слуги более ему светит, нежели барину. Норовистое сердце своё Александра Осиповна неплохо выучилась прятать, да только в гостиных по вечерам нечем было лица прикрыть и, независимой жизнью живучи, мимовольно влекло оно к себе взгляды, теряться заставляло девицу. Впрочем, нестрашно и успокоительно объяснял это свет правильностью черт одной.

Улыбалась тому Александра Осиповна.

А в улыбке её всегда что-либо от времени года было. Коли зима на дворе — глаза, ровно снег, искрятся; коли осень — робкая на ланитах краска будто в ожидании бледности снежной вянет, и долгая, как ненастный вечер, тянется из-под век тень; весной — смеялась Россет, а летом — как ныне в Царском — ходила, прикусив губку полную: притчилось — персик в зубах держит, не выпуская.

Улыбалась Александра Осиповна.

Тому ещё, чего в Петербурге наслушалась. Будто Пушкин в края отрочества своего лицейского на лето выбрался, поселился в доме Китаевой, вьёт там с юной женой гнёздышко.

Улыбалась Александра Осиповна.

Припоминалось ей: кося жёлтыми своими белками, от свечей подальше ёжится Александр Сергеевич в уголке на пуфике, смеясь просит:

— Уж хоть ты, тезка, Бога для, стишками не мучай! У меня от Капниста в животе урчит! — а сам (знала то прекрасно она) своё прочесть горит. Оттого и весело было ей тянуть в ночь идущее время, оттого и читала она ему едва ли не всего "Ябеду" целиком, с тем и приставала: а этот стих, мол, как? а это вот — мысль или что? а скажите, Александр Сергеевич, вам сейчас никого не хочется подкупить?

Ещё улыбалась: что там за жена такая, что за москвичка, "Москва Онегина прельщает...", или как?

Улыбчиво так, чуть было и не написала Александра Осиповна прямо: сочинителю в дом Китаевой; но перемарала-таки записку, с улыбкой отдала беловик слуге; улыбаясь, у окошка ждать села и не усмотрела: кажется, мгновенно появилась в комнате Пушкин.

Улыбнулась Александра Осиповна:

— Ко мне слетели вы, как некий голубь к отроковице — помните! — невинной, — намеренно отделяя в словах своих привкус размера поэтического, произнесла она.

— Я? — отирая цветным платком лоб, не в раз уловил это Александр Сергеевич. — Мне, уверяю вас, любые крылышки не пристали. Но прежде, чем мучить, дозвоьте к окошку подойти. На улице парит, мочи нет!

— Вы же знаете, что я вам всегда позволяю, — Александра Осиповна уляжистее откинулась в кресле. — Засиживаться позднее всяких приличий, философствовать скорее мало-пристойно, нежели красно; грызть, повсюду соря, орехи и, — помолчала, — нас, бедных дам бранить!

— Вот уж не знаю, смогу ли достойно воспользоваться подобной свободой, — как-то чересчур уж быстро отозвался Пушкин, но в междусловиях и глазах его тотчас же поймала

Александра Осиповна: не ей было сказано это, мимо, просто ближе другого лежало произнесённое и употреблено было из привычной готовности умелого собеседника, без нужды.

— Я нынче не совсем здорово себя чувствую, — клоня взор, попросила она, — мгновением захотела вас видеть... И — вот — клянусь себя. Могла бы и подумать прежде желания. Худо, коли не можешь свои капризы от чужих различить.

Александр Сергеевич так близко к отворенному окну сидел, что на плечи ему ложилась струями колебаемая ветром занавесь. Он попридержал её руками, откинул назад голову.

— Хитра тёзка, — не смыкая губ, медленно говорил он, — хитра. Я именно то в уме и держал, сюда поспешая, дай, думаю, привычками с Россет обменяюсь! Авось, и ничего будет! Свои-то все едино надоели давно!

— А мои?

— Как можно! Нет, вы не робейте представить, я ведь не очи прошу. Мне просто ореолом определённым захотелось разжиться. Таким, знаете, чтоб уж если слово молвить — так стишком непременно; если глянуть куда — так со смыслом подспудным; а, не приведи Боже, сомышленник попадётся — так ледку ему за ворот, ледку...

— На кого вы злы сегодня?

— Я никогда ни на кого, кроме себя, не злился. Но вы промахнулись сейчас, поспешили. Я, Александра Осиповна, чувствую себя преспокойно. А когда к вам шёл, то всюду, где можно, листики с дерев общипывал, точно барашек.

— Ну, а проше?

— Проще — сложнее, сложнее — проще, — Пушкин встал.

Ни жизнь, ни словесность так не мерится! Проще! Извольте: от счастья несчастен!

— Косноязычием своим вы, Александр Сергеевич, меня положительно пленили. — Улыбалась Александра Осиповна. — Но после стихов, право, стоило ли стараться?

— Отчего так? — много спокойнее спросил он и опять достал платок.

— Вы не отходите от окна. Я сейчас скажу воды принести!

— Стихи не хороши, да?

— Кто сказал? — длинно удивилась Россет. — Стихи? Стихи

ваши прелесть! Пейте, вода крыжовником разведена!

Быстро поглядывая на собеседницу, Александр Сергеевич стакан предложенный взял, покрутил на свет, отставил, подошёл к обращённому внутрь комнаты подлокотнику кресла.

— Я, тёзка, — кончиками пальцев он касался её прекрасной, нарочито вялой руки, — стишки скоро, может, и вовсе брошу. Слов более, чем души стало. Что-то меня перекладывать кого угодно тянет — это дурно! От этого сердце коснеет. Намедни Шамфора перечитывал, ума — пропасть, язык — будто серебряный, а всё зараз взять — одно переложение. Там подслушано, здесь подсмотрено... Где ж сам-то?

— Как помню, ранее вы иначе судили.

— И писал, не только судил! Меня нынче какие-то пустяки преследуют... — он сел, как прежде. — Можно?

— Давно жду.

— Ревёт ли зверь в лесу глухом, — досадуя на себя за каждое слово, не чуя созвучий, с мучительною задышкой прочёл тихо Пушкин и остановился.

— Жду! Жду!

Отгораживаясь от просьбы рукой, он молчал и, видно было по пустым глазам его, ничего не слышал.

— Сейчас, — попросил, наконец, кивнув. — Вот: Трубит ли рог, гремит ли гром, — Поёт ли дева за холмом, — и на цезуре этой успокоился; глубоко в груди где-то зазвенел-таки стих, тёплой музыкой потянуло от ударных слогов и — уже не помня как — дочитал единым духом. Осталось в ушах чёткое пощёлкивание согласных и приманчивое, прохлады полное, течение гласных.

— Тебе ж нет отзыва... Таков — и ты, поэт! — распевно повторила Александра Осиповна, а сама не могла отделаться: "Неужели действительно таков?". И чтоб согнать с лица вяжущую ланиты бледность, спросила:

— Недавно?

Давно, тёзка, печально подтвердил Александр Сергеевич. — Зимой где-то..

— Хорошо! — Улыбалась Россет. — Прекрасно. Я слушала — будто к морю спускалась... Верно, замечали, есть такие ступенчатые, пологие берега, едва разгонишься — передышка,

едва разгонишься — передышка... Вот вы обмолвились, пустяк, — вдруг вспомнила она. — Кокетничаете?

— В самом деле хорошо? — недоверчиво тянул Пушкин. — Да?

Александра Осиповная покраснелась.

— Ещё и докажи вам! Что я — журналист? Хорошо, и всё тут! Смотрите мне, в другой раз с такими глазами и на порог не пушу.

— Добро, добро, — кивал он ей. — Коли так — добро. А строки окороченные слух не режут?

— Уж коли об вас не изрезалась, так что о строках поминать!

По углам губ у Александра Сергеевича морщины глубже прорезались:

— Ай да, тёзка! Ну, отменно! Отсмеялся, последнюю смешинку водой запил, вольготно на каблуки ноги откинул, сощурился:

— А ещё, тёзка, у меня нечто величественное давно уж на примете имеется. Сам не знаю в каком вкусе! Ода — не ода, а так — блаженной памяти Гавриила Романовича, что ли, экивок какой. Прельстительнее всего для меня тут, что эпическая строгость литератур древних, цели моей так потребная, нынче преточно накладывается на деяния нашего времени. Я Польшу разумею, — перехватил он рассеянный взгляд Александры Осиповны и, морщась, подобрался несколько из привольной позы своей. — Вы смекайте! То, что в сей провинции нашей ныне происходит, едва ли по духу Бородину уступит! Нас, русских, в Европе, как прежде, варварами почитают, Наполеона простить не могут. В сем случае, Польша делается отменнейшей причиной к объединению всех недругов наших! Я это как-то близко уж больно чую, высказаться тянет, да так, чтоб замысла не притемнить, а, поелику возможно, обнажить. Откровение здесь надобно такое, как в колокольном звоне бывает...

— Или в указе, — кончиком языка вставила Россет.

— Вот, нимало, — будто даже не заметив укола, только ускорил речь свою Пушкин. — Ни на булавочную головку. При чём здесь указы? Это право, голубушка, ещё Цицероном освящено! Что ж, сочинителю, по-вашему вечно в стороне

стоять должно! Пускай, мол, мир своим, как может, мается, пускай глотки друг у дружки рвут, пускай неправда правит? Эдак, вашими глазами глядя, весь ветхий завет похерить надо!

— Зачем же весь ветхий завет? — спокойно переспросила Александра Осиповна. Очарование только что слышанного стиха покинуло её. Изтемна, издалека знакомое накатывало: "Возьмите немедленно это! У меня и в мыслях никогда не было играть с ним!". Брезгливо как-то провела она по лицу сухой своей ладонью, вскинула глаза: — Я из всего сказанного вами сейчас ни слова не поняла!

— Так я ещё не точно говорил, — облегчённо улыбнувшись, загорячился Александр Сергеевич, — мысль моя в работе ещё. Я покамест и сам от чувства к слову потёмками бреду... Напишу — увидите!

— Нет, не увижу! Более того — не захочу увидеть! Скажите откровенно, что вам поляки? Чем перед вами они провинились?

— Ой, тёзка, не мути! — Пушкин крепко перекусил край губ. — Поляки мне, положим, может и вовсе безразличны! Я иное в уме держу. — Единение! Примечали, верно, как чураются ныне друг дружки потомки древнейших родов наших? В каком забросе они? Их не токмо парвеню различные рассеивают, но и собственные заблуждения! Вот я и удумал единение недругов чужеземных для нашего сплочения использовать! Пусть узнают свои своих!

— Зачем же вам о том хлопотать? Дибич итак уже всех во фронт поставил! Объединил!

— Ну, — не понял Александр Сергеевич.

— Там кровь льётся, Пушкин, — тихо своё досказывала Рос-сет. — Неповинная! Там дибичевы полки огнём и мечом мир установить мыслят. А что на сем расти будет, Пушкин?

— Когда государь Пётр Алексеевич сто лет тому закладывал основы государства современного, — сцепив за спиною руки, из стороны в сторону раскачивался Пушкин, — также достаточно голов полетело на плаху. Вы находите — зря! Пусть так! Тогда не пользуйтесь всем взросшим по воле его! Сумейте стать так, чтоб вас дела пращуров — согласен, кровавые — не касались, — голос его набирал силу. — Найдете себе такое место! Неважно, где! Плюньте, коли не терпится, на Россию! По

всему свету белу ступайте! В Америке ищите! Где угодно! Вы увидите — нет чистой земли, нет обетованной, нет! Нет! И быть не может! Закон сие! — он сел. — Простите, тёзка, что покричал: всю неделю сам не свой! От нерв, видно!

Пусто было Александре Осиповне глядеть на его присохшую к стулу, будто выжатую, фигуру. Смежив веки, она криво усмехнулась:

— Я вижу, ничего не доказала вам, Александр Сергеевич. Верно, вправду говорят: у бабы волос долог, а ум... Только уж вы — не ради Бога, а просто для меня — припоминайте иной раз, что закон не более, как сила. Поэтому грех смотреть в эту сторону!

— Отнюдь не собираюсь дневалить подле своих же пиес, али им же флюгером быть, — с каким-то даже высокомерием отнёсся к ней Александр Сергеевич. — То потомков забота разобрать по книгам моим, куда смотрел я. При жизни же я одной свободы хочу. А советов да подсказов у меня вот как навалено, выше лба!

— Я и не навязывалась вам в советницы, Александр Сергеевич!

Пушкин перемолчал, пока не отошла от головы саднящая виски кровь и медленно улыбнулся:

— Я бы вас, тёзка, даже на жалованье взял, будь на то моя воля, да ведь не пойдёте!

Не пойду, вяло поддержала его Россет. Привередлива!

— И бранчлива!

Александра Осиповна улыбнулась:

— Спасибо, что навестили отшельницу!

Возвращаясь к себе, Александр Сергеевич шёл очень быстро; не хотелось думать, хотелось бить в гулкую деревянную мостовую каблуками сильнее и сильнее, казалось, стук этот заглушает — при совпадении — бой сердца. Взойдя домой и столкнувшись у дверей кабинета с Ташей, он пожалел о торцах на пройденной дороге. "А чем они с Россет, собственно, отличаются друг от друга? — коротко мелькнуло ему. — Каждая сама по себе. И я при них также — сам по себе!"

Александра же Осиповна вечер тот тихо дожидла. Разложила

перед собой старые письма, оттуда читала, отсюда; покурила сигарку, пересмотрела два томика Мариво. Молясь на ночь — молила Бога пуще всего о справедливости, ибо прекрасно знала: неравно Творец делит себя меж чадами своими, и к обделённым на подмогу дьявол приходит, антихрист.

(окончание следует)

Георгий Сомов

*

Открывает уста моя страна
Пересохлые, занемевшие,
Половину века не смевшие
Словом сбросить заклятье сна.

После полувека паралича —
Шагов немых в тупик, в темноту
С резиновой грушей — кляпом во рту
Под смрадное дуло палача —

Открывает туго, с трудом уста
Открывает уста страна моя!
Подрастает поросль упрямая,
Подалась гробовая плита.

Ольга Анстей

СВЯТОЕ СЕМЕЙСТВО

Повезло. Литфонд СССР предоставил мне путевку в Дом Творчества "Дубулты" на Рижском взморье. И на август. Это лучший месяц в году. Попасть в августе на взморье — это значит попасть на "бархатный сезон". И тут мне просто, повторяю, повезло, так как обычно в это время сюда едут все наши светила, да еще с семьями. Ну, не самые-самые, но в общем из высшей категории. И конечно уж члены ССП. А я пока член Литфонда и только. Я же из рубрики "начинающих беллетристов", у меня пока только одна повесть напечатана в журнале "Новый Мир", правда, она лирическая ("Звезды падают с небосвода...") и в газете "Труд" на нее дали весьма положительную рецензию.

Черт возьми, может быть, кто-либо из членов правления Литфонда прочитал повесть или рецензию и поэтому мне и предоставили путевку в "Дубулты". А может быть, произошла какая-нибудь путаница. Но факт остается фактом: эти самые "Дубулты" мне стали доступны.

Ну, от некоторых "зубров" я сторонкой узнал, что ехать туда надо с подарками для директора дома, старого большевика, Баумана, и его жены, окрещенной писателями Бауманихой. Мне сказали, что не важно какой подарок, но непременно нужно всунуть ему подарок, что он при встрече смотрит в руки, такая у него привычка. Я купил что-то там, китайскую бамбуковую безделушку, тогда их было полно в столице. Купил что-то и для Бауманихи. В результате, директор определил меня в отдельную комнату в тенистом корпусе, заявив, что в ней обычно в это время живет прозаик Антон Куроедов (знаменитость и вегетарианец), и посадил в столовой за круглый стол в центре, за которым сидели еще четыре известных представителя советской литературы. Словом, он окружил меня почетом, но в меру,

конечно, потому что, как я уже сказал, я из рубрики "начинающих беллетристов". Мимоходом замечу, что я вскоре получил кличку "лирик", тут же всем даются клички (одного юмориста называли "Коликом", потому что его байки-де вызывают в животе колики).

Я наслаждался и пляжем с чудесным песком, и купаниями, и кулуарной трепатней (ее и Чехов приветствовал), и даже начал переглядываться с одной прозаичкой с Урала, кажется, татаркой. Торжественно свидетельствую: кормили нас прилично. И было чисто, без тараканов, а простыни менялись раз в неделю, совсем по-заграничному. Вообще, все было, как выражался "Правдист" Борис Полейкин, "на уровне" (а на каком уровне он никогда не говорил).

Единственным, так сказать, камнем преткновения была, пожалуй, Ева Кудринская. Она, увы, не сходила с уст нашей братии. О ней трещали повсюду и даже на пляже, и даже купающиеся члены ССП в море. Нырнет какой-либо романист под волну, вынырнет и кричит малоформисту на волне: "Слышал, Ева, гадюка, опять ворвалась ночью в комнату к Голгофову!"

Еву Кудринскую я знал как выдающегося литературного критика, регулярно печатающегося в центральной прессе и в "толстых журналах". Кроме того, она была, кажется, членом-корреспондентом Академии Наук и состояла во всяких обществах. Безусловно, каждая творческая единица в Москве мечтала о том, чтобы Кудринская написала о ней, то есть о единице, рецензию, и похвальную, разумеется, это ведь открывало двери в издательства и вообще было чем-то вроде "Аттестата зрелости". Знаком я с Евой тогда не был. А слышал о ней разное. Во-первых, то что она — необыкновенный эрудит и знает решительно все на свете, во-вторых, что она после смерти мужа, поэта Задрыжкина, хотя она это делала и при нем, гоняется за молодыми писателями и заставляет их сожительствовать с нею. Причем, известно, что ее волнуют исключительно блондины. Так утверждали "зубры". Один из них даже сказал мне перед моим отъездом в Дубулты:

— Будь осторожен, дружок! Там обычно в августе живет Кудринская. Ты блондин и она возьмет тебя на прицел. Гарантирую!

Я по своей наивности и душевной широте (я же лирик) не придавал значения этим словам и воспринял их как шутку.

Кроме того, мне говорили, что Кудринская страшно небрежна в повседневности, в быту и что особенно страшно она ест, разбрасывая вилки и ложки, и пищу по всему столу и выплевывая ее от случая к случаю, ибо у нее что-то не в порядке с зубными протезами.

Но какое мне было до всего этого дело! Я не собирался пробивать свою литературную карьеру телом. У меня — талант и я верю в будущее. Так что, еду на Рижское взморье, я не интересовался Кудринской, как я ею не интересовался и уже будучи в "Дубултах". Я, конечно, видел ее там и она произвела на меня удручающее впечатление: жирная тетка лет под шестьдесят, с воспаленными кроличьими глазами, кривым ртом, отвислыми губами, подсеченным снизу подбородком и волосами на голове, которые напоминали выкрашенную в бурый цвет паклю. Я, конечно, заметил, что в столовой Ева сидела за отдельным небольшим столом. Собственно, он был рассчитан на двоих, но второго к ней не сажали. Никто не соглашался, боясь быть незаслуженно оплеванным (а еще, говорили, что она под столом нарочно наступала на ноги соседа).

Однако, повторяю, меня все это не трогало. И поэтому я чувствовал себя в Доме Творчества превосходно. И так продолжалось до середины августа. В середине же августа произошло ЧП (чрезвычайное происшествие). В один прекрасный день я лежал на пляже, принимая солнечную ванну, когда ко мне подбежал взволнованный, с растрепанными волосами Бауман. Он опустился рядом и почему-то, взяв в левую ладонь песок и пересыпая его в правую ладонь, заговорил со мной на "ты", что означало, что я уже вошел в число его друзей.

— Послушай, голубчик. Тут вот какое дело. Я получил телеграмму из Москвы. Приезжает высокопоставленная семья. Очень высокопоставленная. Понимаешь? Я дам им свой коттедж, а посадить в столовой их придется за ваш центральный стол. Так что я должен произвести перетасовку. Понимаешь? Лишних мест ведь нет. Тебе придется сесть за стол с Евой Кудринской. Ты уж извини, голубчик...

Возражать я не мог. Во-первых, я был из рубрики

"начинающих беллетристов", поэтому "капризничать" мне было рановато. Во-вторых, на карте стояла дружба с Бауманом, а я уже планировал приехать в "Дубулты" и на будущий год. В-третьих же, я должен был учесть то, что приезжает высокопоставленная семья.

— Хорошо, ответил я и, вероятно, удивил Баумана, не спросив о том, кто были члены этого прибывающего семейства.

Таким образом я и оказался лицом к лицу с Евой. Появилась она в столовой в то утро одетой в ужасно безвкусную короткую юбку розового цвета и в спортивную майку, которая открывала ее потные и веснушчатые груди. (Фи...) Увидя меня за ее столом, она улыбнулась, что выглядело как гримаса какого-либо Вольтера, и сказала:

— Я Кудринская, а как ваша фамилия? — после того же, как я, вежливо поклонился и назвалсся, она прищурилась и добавила: — Вы кажется блондин. Это приятно. Я люблю блондинов. Они напоминают мне мокриц...

И она засмеялась, посчитав, что отпустила мне комплимент. А потом, безо всякого вступления, и правда, разбрасывая по столу прежде всего вилки, ножи, ложки уже бывшие в еде и демонстративно облизывая жирные пальцы, она стала говорить. Говорила она шумно, но, как это не удивительно, все, что она говорила было правдой. Оказалось, что Ева не умеет врать. Она говорила то, что у нее на уме.

— Значит этот еврей Бауман выкинул вас из-за круглого стола. Вас и всех остальных. О, старый угодник! — она разжевала соленый огурец, но почему-то решила не проглатывать его, а выплюнула перед собой частично на тарелку, частично на скатерть. — Значит, у нас будет жить святое семейство! — добавила она.

"Святое семейство"! Ничего себе сказано...

Уже было известно, что высокопоставленные гости, неожиданно собравшиеся провести "бархатный сезон" в "Дубултах", и которых должны были усадить за круглый стол в центре, были членами семьи Горького. Об этом в Доме Творчества уже шушукались все. И уже было известно, что Бауман с Бауманихой на самом деле переехали куда-то, а высокопоставленной семье был предоставлен директорский коттедж,

находившийся среди дюн. Это было сенсацией.

Словом, мы ждали в столовой появления наследников великого пролетарского писателя Максима Горького. Однако они не вышли ни к завтраку, ни к обеду и вышли лишь к ужину, чинно рассевшись за круглым столом. Собственно, их ввел в столовую и рассадил Бауман. Выражение лица у него было торжественное, и он был в новом чесучовом костюме (который ему привез в подарок драматург Субботкин). В этот вечер, между прочим, на ужин была великолепная жареная курица с цветной капустой и малиновый мусс. (По поводу этого Ева заявила: "Сегодня на ужине наш Бауман со своей Бауманихой, кажется, ничего не заработали". Она была уверена, что Бауман наживается на экономии продуктов).

Святое семейство состояло из пяти человек. Вот перечень: небольшая и квадратная старушка со слезящимися глазами, виноватой улыбкой, и сухими морщинистыми щеками, таких в Малом театре показывают в спектаклях о предреволюционной купеческой Руси; потом высокая чопорная дама лет тридцати пяти с птичьим носом и тонкими пальцами; остальные трое были детьми. Две девочки и один мальчик. Старшей было лет 12-13, средней — лет восемь и мальчику было лет пять-шесть. Все они выглядели очень красивыми и очень здоровыми. Старшая была хорошо развита, стройна, с очаровательным лицом, на котором темные волосы и черные живые глаза сочетались с мягкими славянскими губами. У средней девочки были две тоненькие смешные косички на затылке и она напоминала бутон еще не открывшейся розы. Мальчик же с круглым, как шар, лицом, с большими и тоже круглыми глазами и круглым подбородком, походил на поросенка. Его черты лица, тем не менее, сразу показались мне знакомыми. Но я не мог припомнить, на кого он смахивал. Повторяю, все они отличались здоровьем, упитанностью и были со вкусом одеты, пожалуй, во все заграничное.

По столовой пронеслось: "Правнучки и правнук Горького..."

Что же касается двух женщин, то тут предположения разделились: одни считали, что старушка любовница Горького, актриса Андреева, другие считали, что она вдова Горького, Пешкова; кто-то предположил, что она бывшая

экономка Горького, с которой якобы у того были интимные отношения, по фамилии, кажется, Черткова, а по прозвищу "Чертовка". О высокой и чопорной даме никто никаких предположений не высказывал, но, наблюдая за ее поведением, большинство пришло к выводу, что она не состояла в родстве с Горьким, а была, так сказать, из прислуги.

С этой минуты внимание всех в столовой, естественно, было приковано к круглому столу. Однако Ева Кудринская только один раз посмотрела туда и больше не оборачивалась. На лице ее возникло выражение человека, проглотившего паука. Она сразу же выказала свое враждебное и критическое отношение к "Святому семейству".

Покончив с муссом, который она ела, громко чавкая, отпив чаю и оплевав меня, она сказала:

— Старый хрыч плясал под дудку Сталина. Я это сама видела. Я же работала у него в журнале "Наши достижения". Трус он был. Плакал и благословлял вождя на аресты.

— Это вы о ком? — спросил я, отодвинувшись подальше от стола, чтобы избежать более интенсивного оплевывания.

— Как о ком? Об этом типе из галереи Достоевского. О Горьком. Я о нем никогда не писала, не пишу и писать не буду, — она швырнула на стол обгрызенную булку. — Юродивым был он. А романы его тягучи, как волокно. И баб любил. Туберкулезники они же баб любят. Он даже со своей невесткой путался. Это факт... не верите?

— Верю, — торопливо произнес я и невольно оглянулся по сторонам, не слышал ли еще кто-либо того, что сказала Ева. Я ведь, между нами, сам струхнул. Уж больно она уверенно изрекала еретические вещи. Это же было посягательством на "великие" и "традиционные" ценности! Как можно было говорить такое о Горьком? О великом пролетарском, о буреви́стике, о нашем классике. Чтобы избежать возможных неприятностей, я не доел своего ужина, пожелал Еве всего хорошего, встал и вышел из столовой на террасу.

На следующий день и в течение последующей недели писатели Дома Творчества были увлечены разгадыванием шарады: кем были все же две женщины и трое детей, то есть, как и по какой линии две девочки и один мальчик приходились

правнучками и правнуком Горькому? И опять мнения разделились. Кто-то поклялся, что у "буревестника" было две внучки, Марфа и Дарья. И сразу пронеслась версия, что две девочки и один мальчик были детьми Марфы. А потом версия изменилась, и они стали детьми Дарьи. Но дальше все попали в тупик. А кто же был отцом детей? Если с одной стороны была, как бы горьковская ветвь, то чья ветвь была с другой стороны? Предположений тут не было. И не было потому, что никто ничего не знал. И это не только озадачило нашу братию, но и огорчило ее, так как обнаружило воочию ее неосведомленность.

За обедом я, решив пожертвовать своей физиономией, то есть подставить ее плевкам Евы, в упор спросил ее:

— А известно ли вам что-нибудь о родословной правнучек и правнука Горького? Чьи они? Марфины или Дарьины? И кто их отец?

Кудринская посмотрела на меня так, как смотрят на червей, сказав:

— Смешно, лирик! Как же это может быть мне не известно. За кого вы меня считаете? Я же живу не на луне. Это дети Дарьи. Марфа, до того как она пошла в театр Вахтангова, родила одну дочку, но та значительно старше. А отец этих — Берия.

— Кто?

— Это берьевские отпрыски, — и она, сказав это, наступила мне под столом на любимую мозоль.

Но я не почувствовал боли, так паразитически были ее слова.

— Как? Дети... Берия?

— Да нет же, лирик, не Лаврентия Берия, а его сына...Серго.

— Не может быть...

Тут у меня в голове молниеносно проскользнуло: "А ведь это не случайно, что в мальчике с круглым лицом и круглыми глазами я заметил что-то знакомое. Ба! Это бериевское, это от деда!" Я же помнил Берия, я видел его несколько раз на парадах на Красной площади. Это было лет десять назад, но мне уже тогда было семнадцать. Да, да, конечно, мальчишка копия Берия. Удивительное сходство!

Во рту Евы торчал кусок баранины, по ее подбородку что-то стекало, но она, тем не менее, продолжала:

— Они там, на красном Олимпе, женили и выдавали замуж своих детей промежду собой, как это делают капиталисты, чтобы сохранить миллионы и власть в собственном кругу. Гады! А называли себя марксистами. Вот и молотовская тля за сыном архиорденоносного генерала... как его... Ильюшина... Это у них так было принято. Сановное родство. Да и сейчас так. Чего там. Эх, видел бы Ленин...

Я уже хотел, воздержавшись от баранины, пожелать Еве всего хорошего, встать и уйти на террасу, во избежание неприятностей, как она, заинтриговав меня еще больше, проговорила:

— Сын Берня Серго был полковником технических служб. По ракетам специализировался. И талантливым парнем оказался. Но отец, чтобы укрепить его позиции, женил его на внучке Горького, Дарье. А после того, как его, бандита, нет, не Горького, а Берия, расстреляли, как врага народа, сын под фамилией матери был отправлен в город Горький, как бы в ссылку, работать на военном заводе. Вот он там с Дарьей и живет. Это их дети. Да только, кажется, они там уже разошлись. Кажется, она от него уже сбежала...

Ох, Ева всё знала, всё знала!

— Выходит, что эти дети — смесь горьковской и бериевской кровей, — невольно произнес я и почувствовал, как на мою правую щеку капнула капля подливки от куска баранины, который разжевывала Кудринская.

Да уж, смешали эти две исторические крови и образовалось, вот, ха, святое семейство! — иронически буркнула она и выплюнула на скатерть баранью косточку.

Я посмотрел через ее голову в сторону круглого стола, где восседали дети семьи Горького, со старушкой и высокой чопорной дамой во главе. Дети были такими красивыми, такими здоровыми, такими холеными, ну прямо, как дети какого-нибудь принца что ли или короля.

Я подумал о том, как это величественно звучит: "Королевские дети!"

В этот самый момент в столовой почему-то сделалось тихо и все присутствующие вдруг явственно слышали как эти "королевские дети" заговорили с высокой и чопорной дамой *не*

по-русски.

Что за напасть такая! Я опешил и затем спросил Еву:

— Неужели они шпрехают по-немецки?

Кудринская опять посмотрела на меня, как смотрят на червей.

— Ах, современное поколение, то есть вы, лирик, вы же не можете даже отличить одного европейского языка от другого. Они говорят по-английски, лирик, по-английски. Вы слышали о таком языке? И они говорят очень хорошо, как говорят лондонцы, интеллигентные лондонцы. И это заслуга мисс Меннинг, вот этой худошавой женщины, сидящей с ними за одним столом. Она, между прочим, приехала в СССР восемь лет назад, еще при Сталине, выйдя замуж за шофера нашего посольства в Англии, Баранкина. Родила двух шалопаев. Ну а Баранкин потом уже в Москве бросил ее, поганец. Вот теперь она и зарабатывает на хлеб насущный, работая воспитательницей в домах высокопоставленных вельмож.

О, Ева знала всё, решительно всё!

Итак, правнучки и правнук Горького (они же внучки и внук Берия) бегло говорили по-английски. Пес их знает, а может быть они и играли на рояле, а может быть они танцевали кадрили или мазурку, а может быть они рисовали цветными карандашами, писали в альбомах стихи и обучались "светским манерам"? Во всяком случае вели они себя в столовой и вне столовой как истые "лэди и джентльмены". (Бауман даже сказал: "Вот если бы наши лауреаты вели себя так!")

Засопев по-паровозному (это мое словесное изобретение!) и отерев губы бумажной салфеткой, а затем бросив ее мне в лицо, Ева безапелляционно изрекла:

— А вы все, все лизоблюды! Вы все, все готовы целовать зады этим отпрыскам Горького и Берия. Я же видела, как члены ССП и КПСС бегали на пляже за мячом, чтобы подбросить его этому полуфабрикату с круглым лицом. А романист Дециметров, лауреат премии имени Александра Даля, уже увивается за старшей правнучкой Горького. Он сообщил своему другу, еще одному проходимцу и ловеласу, поэту Семиспицину, что у нее уже начались "месячные".

Это правда, нет не то, что у нее уже начались "месячные", а

то, что наша писательская "общественность" отреагировала на появление "Святого семейства" абсолютно позитивно. Большинство безусловно гордилось тем, что оно вот общалось с членами семьи автора эпохального "Социалистического реализма", Максима Горького. Некоторые старались с ними сфотографироваться и просили автографы, совсем на американский лад (Бауман назвал это "империалистическими замашками"). И все, конечно, улыбались как можно шире, встречаясь с ними.

Я захотел опустить ложку дегтя в бочку с медом и на следующий день разнес по всем "каналам" то, что услышал от Евы, то есть то, что отцом детей был сын Берия, Серго. Я полагал, что это подействует в том смысле, что писатели, помня, что маршал Берия был расстрелян как предатель интересов коммунизма, наложат в штаны и сбегут в кусты — то есть перестанут хотя бы широко улыбаться. Но, увы, ничего подобного не случилось. Нет! Смещение кровей Горького и Берия, напротив, даже заинтриговало наших писателей и показалось им исторически закономерной экстравагантностью. Да, да, исторически закономерной экстравагантностью. Так выразился литературовед Толстобрюхов.

Но за завтраком еще через день, швырнув в меня яйцом, сваренным всмятку, Ева заявила тоном, каким, вероятно, Карл Маркс провозгласил в свое время "Коммунистический манифест":

— Этот мерзавец, Лаврентий Берия изнасиловал меня.

— Как...изнасиловал? — тут уж я сам пролил кофе на свои брюки и обжог ляжки.

— А так. Знаете, как мужчина насилует женщину? Это-то вы знаете, лирик?

— В буквальном смысле...слова?

— Вот именно...— и не дожидаясь моего следующего вопроса, она, засопев по-паровозному, продолжала: — В 1939 году я была арестована. По приказу Сталина. Меня обвинили в троцкизме и в том, что я шпион. И вот Берия, мерзавец, переведя меня в одиночную камеру, в камере меня и изнасиловал. Это был его любимый метод. Он выбирал баб по фотографиям. Я же была красоткой. Вот и насиловал баб в камерах. Слышали о таком?

В тюрьмах. Ему помогали два его телохранителя. Я помню, как он крикнул одному: "Рафощка, задери ей ногу повыше, а то так не удобно!" Мерзавец! Садист! Допросил сначала, заявил, что я японский агент, а потом приказал: "Раздевайся!". И изнасиловал. Да не раз...

Тут Ева вошла в подробности. В глазах ее засветился сладострастный огонек. Она рассказывала, сопровождая рассказ жестами. Она даже перестала на время швырять на стол вилки и ложки, сосредоточив все свое внимание на сексуальных деталях дела. Слушая ее, я ужасался не только страшным поступкам изверга Берия, но и тому, что происходит с женщиной в стадии поздней климактерии. Закончив свою повесть, Ева отдышалась, съела манную кашу, умудрившись как-то языком подкинуть комок к носу и после этого, шепотом, сказала мне:

— Я приду к вам сегодня ночью...не запирайте дверь на ключ.

Мне сразу вспомнилось предупреждение московского "зубра", но я предпочел сделать вид, что я ее не расслышал. А перед тем, как лечь спать, я дважды повернул ключ в замке. Ева часа в три ночи упорно тыкалась в мою дверь, даже постучалась. Мне пришлось притвориться спящим.

На утро я попытался опоздать к завтраку, чтобы прийти уже после того, как Ева съест свои яйца и манку. Но она, съев и то и другое, и оттяпав половину моего масла, ждала меня.

Когда я сел на стул и взялся за яйца, она холодно сказала:

— Вы хотите, чтобы в журнале "Литературная критика" появилась моя статья о ваших опусах, лирик, или вы этого не хотите?

— Разумеется, хочу, — ответил я.

— Тогда не закрывайте ночью дверь в вашу комнату.

Я посчитал, что у меня был только один шанс: сменить тему разговора, то есть перевести ее на "Святое семейство". И я, вежливо улыбнувшись, спросил:

— А что вы знаете о вдове Горького? О Пешковой! Или эта старушка — актриса Андреева?

— Чепуха! Андреева директор дома Ученых в Москве, она еще работает и она толста, как сорокаведерная бочка, а эта...Ах, лирик, вы с каждым часом все глупеете! — и она наступила мне

на ногу.— Это вдова, вдова, Пешкова, Екатерина. Несчастливая баба. Старый хрыч издевался над нею, помыкал ею всю жизнь. У нее всю жизнь бессонница. Не спит по ночам. Но в общем тоже трусиха и приспособленка. Вот теперь подмывает берьевское отродье.

Все, что говорила Ева, как я уже заметил, было достоверно. Я убедился в этом, когда отважился на пляже заговорить с старшей правнучкой Горького и внучкой Берия. Я спросил ее:

—Ваша прабабушка Пешкова?

—Ага.

—А бабушка: Тимоша?

—Ага.

—А мама, Дарья?

—Ага.

—А где вы живете, в Москве?

—М-м-м, — она замешкалась.

—Во дворце Горького, на Малой Никитской?

—Ага.

—А как зовут вашего папу?

Девушка покраснела, смутилась, ничего не ответила и побежала купаться в своем чудесном заграничном купальнике.

К концу моего завтрака, поковыряв ложкой в моей каше, Ева, вздохнула всей грудью и сказала:

— Нет, лирик, не так-то просто выкорчевать бериевские корни, они ушли глубоко в почву. Мерзавец оставил по себе память...

— Жизнь движется вперед! — бодро бросил я.

Ева взглянула на меня, как обычно, точно я был червяком, и деловым тоном напомнила!

— Так ночью не запирайте дверь на ключ. У меня китайский халат. Шик... и ночные туфли с помпонами. Из Парижа...

Она подмигнула мне. А я не послушался ее и запер и на этот раз свою дверь на ключ. А Кудринская и на этот раз ломила в дверь и настойчиво стучала и даже звала: "Лирик! Лирик! Откройте, это я... в китайском халате..." Но я решил обойтись без ее статьи. У меня талант, я пробьюсь, не торгуя телом, — сказал я самому себе. Однако мне пришлось перейти на сухой паек. Я попросил Баумана выдавать мне продукты на

руки — сухим пайком. Это у него практиковалось. Когда кто-либо из писателей или членов семей писателей уезжал на экскурсию куда-либо в Сигулды (в Латвии много красивых мест), на весь день выдавался сухой паек.

На этом пайке я продержался три дня, а потом начал худеть. Поэтому я и пришел к мысли, что лучше вернуться в Москву и попытаться устроиться в Дом Творчества "Переделкино", в 25 километрах от столицы, куда, как мне говорили "зубры", Ева Кудринская принципиально не ездила, поругавшись с тамошним директором. (Он ей в лицо бросил: "Кикимора"!)

Два дня, которые я не появлялся в столовой, вызвали противоречивые слухи. Некоторые считали, что меня довела "до чертиков" Ева. Она же в отместку и отводя от себя удар, публично заявила, оказывается, что я лежу у себя в комнате, потому что у меня на животе появился злокачественный фурункул.

А накануне моего отъезда из "Дубултов" произошел скандал. Романист Дециметров, лауреат премии имени Александра Даля, захотев, видимо, приобщиться к "Святому семейству", заташил поздно вечером старшую правнучку Горького и внучку Берия в кусты и почти лишил ее невинности. Она пожаловалась прабабушке, та немедленно сообщила об этом Бауману. Бауманиха возмутилась и тотчас же позвонила в Ригу. Ну и приехала милиция и романист был арестован.

По этому поводу Ева, как мне передавали, сказала:

— Дециметров впервые сделал то же самое с дочерью Народного артиста СССР Царедворова в 1957 году. Во второй раз он полез на дочку министра среднего машиностроения, в Фаланге в 1958 году, а третий раз он утащил в кусты и лишил невинности дочку президента Академии Педагогических наук Гульгулькина и это было в Крыму, в Алуште, в 1960 году.

Ах, Ева знала всё, всё...

Ю. Кротков

ОЛИМПИАДА

Гордо на стадион
С факелом мчит бегун.
Вот пробегает он
Мимо больших трибун

И по ступеням ввысь!
Факелом прикоснись
К чаше! Легонько тронь
Зашелестит огонь!

Птицы из клеток — вон!
Стаю за стаей взвей!
Хлопает стадион
Крыльями голубей.

Буйствует стадион,
Будто от солнца пьян
В тесном кольце знамен
Дружных участниц-стран.

Сколько цветных шаров!
В небе шары, шары,
Точно других миров
Сказочные дары!

Вот и команд парад
Тронулся из ворот.
В красочнейший наряд
Каждый одет народ.

Двигается клумб поток,
Что ни страна — букет,
Что ни спортсмен — цветок
Через петлицу вдет.

Так из конца в конец
Пересекут стадион.
Сцепленных пять колен
На полотне знамен.

2

Вырвавшийся вперед
 Сверхрекордсмен-бегун
 Аплодисменты сорвет
 Сразу со всех трибун.

Шест на бегу воткнув,
 Взмыл прыгун и повис!
 Планку перемахнув,
 Падает мягко вниз.

Каждым толчком, рывком
 Движет упорство, риск...
 Вот, закрутись волчком,
 Бросил метатель диск.

Бронзово-мускулист,
 Сосредоточен весь —
 Вон богатырь-штангист
 Выжал рекордный вес.

Лучшим спортсменом будь!
 На пьедестале встань!
 Лучшим — медаль на грудь,
 Как восхищенья дань!

Громко оркестр духовой
 Гимн заиграет твой!
 И над твоей головой
 Флаг запылает твой!

3

Беговая дорожка
 Все темней и темней.
 Остается немножко
 Пробежать мне по ней.

Я на треке вечернем
 Знаю каждую пядь,
 Но у финиша первым
 Мне уже не бывать.

Что ж, — и медную славу
Тоже сладко иметь,
Мне не даром по нраву
Больше золота — медь.

... Я пружинисто прыгнул
И, взлетев на шесте,
Тело эллипсом выгнул
И повис в высоте.

Изогнулся над планкой
И остался я так —
А внизу, как приманка,
Недоступный туюфак.

Человека и птицы
Я какая-то часть:
Ни на землю свалиться,
Ни на звезды упасть.

Точно я переломан,
Раздвоившийся весь,
Ни в гостях — и ни дома,
И ни там — и ни здесь.

От игры и от риска
Отказаться пора.
Нет, не бросить мне диска,
Не толкнуть мне ядра.

Сколько лез я из кожи,
Думал — я гиревик...
А у книг моих тоже
Вес не так уж велик.

Нет, я веса не выжал
И победой не горд.
Просто выжил. Я выжил:
Это тоже рекорд.

Только этим едва ли
На параллель блеснуть.

Никакой мне медали
Не навесят на грудь.

И написано строго
Было мне на роду,
Что торжественно в ногу
Я ни с кем не пойду.

До седьмого мне пота
Надрываться опять,
Пьедестала почета
Никогда не видеть.

Ну, а если удача
Мне помашет рукой
Музыкантам задача:
Гимн исполнить какой?

Я случайный бродяга,
Человек без корней,
И ни гимна, ни флага
Нет у музы моей.

Иван Елагин

ПРОКЛЯТЫЙ ПОЭТ ПЕТЕРБУРГА

Посв. Н. Я. Рыковой

В каждом великом и во многих малых городах расцветают свои мифы, узнать которые никогда не хватит ни человеческой памяти, ни жизни. Мифы живут подспудно, как бы в плоти времен, и когда мы приходим, они остаются — самовластные, неотделимые от теней всех когда-то переживших здесь молодость, любовь, свои забытые стихи, свое время, и, наконец, самих себя — в эхе отдающихся шагов, в шепоте, звучащем между стенами, в небе, плававшем в их глазах.

Петербург. Георгий Иванов. Имена, звучавшие в эмиграции почти синонимами. Но удивительнее то, что связь эта ощутима и в нынешнем городе, чье имя старательно покрывается теперь другим, ощутимо теми, кто лишь наслышан о зарубежной славе поэта, кто терпеливо стучит на машинке или просто переписывает его стихи со случайных списков, ходящих по рукам.

Поэт унес в изгнание город с незакатными ночами, кадетским корпусом на Васильевском острове, "Бродячей собакой" близ Михайловского дворца, и Невский, и Павловск, и громадный залив — все, что было увидено "улыбающимся юношей с грустными глазами и пухлым ртом" (Ю. Анненков). Георгий Иванов никогда не вернулся, но город принял его навсегда в созданном им волнующем мифе. Никто не поверил бы в это тогда, когда он писал многочисленные эпигонские, хотя и, по замечанию Блока, безукоризненные по форме стихи, когда бледная тень Петербурга едва проступала в собрании поэт "Отплыть на о. Цитеру" и в сборниках "Горница", "Памятник славы" и "Вереск". Но, отраженный и в этих книгах, все так же:

Загадочен стоит и пышен
Огромный опустелый сад,
И не понять — то шорох слышен
Знамен, иль ветки шелестят.

И: "Опять на площади Дворцовой блесит колонна серебром", а "Адмиралтейства белый циферблат на бледном небе кажется луною", "и снова тишь как будто над Невой прекрасная столица позабыта..."

Этот ранний город поэта уже отмечен неповторимыми штрихами, убеждающими деталями, вообще красками и тонами, отличающими петербургскую культуру в целом. У молодого Иванова вдруг прорываются дорогие лично ему оттенки, часто смешанные с фантастическим миром его любимого художника:

Но тех красот желанней и милей
Мне купы прибрежных топей,
Снастей узор и розовая пена
Мечтательных закатов Клод Лоррена.

Этим он убеждает: тайна города была ему знакома, он увидел ее не только из далеких уголков Эрмитажа, но и через сопереживание, — пусть поверхностное и архитектурно отвлеченное в первых своих опытах — культуры западной и русской, что так запечатлел на себе лик Северной Пальмиры. Георгий Иванов ответил нам, родившимся уже не в России, а в СССР, той верной нотой ностальгии по былой петербургской славе, по той жизни и людям — вплоть до любви к Лоррену и Ватто. Но, как сказал другой поэт: "Лицом к лицу лица не увидать — большое видится на расстоянии", — и поэтому, чтобы ТАК любить Петербург, Иванову нужно было смотреть из Берлина, Парижа, Биарица, Йера, а не с Троицкого моста.

Самые первые опыты Иванова кажутся совсем безличными, они несут на себе очевидные влияния: И. Северянина ("Луна взошла совсем как у Вэрлена..."), А. Ахматовой ("Мертвую девушку в поле нашли..."), М. Кузмина ("Письмо в конверте с красной прокладкой...") и других. Правы были ранние его критики, говоря, что "стремление к красивости неизбежно приводит поэта к ретроспективизму и описанию произведений искусства" и что, "читая его, мы точно находимся в антикварной

лавке", а "иные его стихи хочется не в книге видеть, а поставить на этажерку как фарфоровые хрупкие безделушки". Но в человеческую суть стихов этого периода заглянул по-настоящему только А. Блок: "Он спрятался сам от себя, а хуже всего было лишь то, что, мне кажется, не сам спрятался, а его куда-то спрятали жизнь, и сам он не знает куда".

Колорит времени зримо и точно запечатлен в раннем творчестве Георгия Иванова, колорит того затейливого времени, когда женщины превращались в Коломбин, а юноши — в любовников Арлекинов или мечтательно-неудачливых Пьеро. "В вихре Коломбин и Пьеро тогда упоительно носились все," — вспоминал один из современников. Это было подобно карнавальному шествию, столь неподражаемо отраженному в стихах Александра Блока, в "Поэме без героя" Анны Ахматовой, в эротических видениях Константина Сомова и позже — уже в прозе — самим же Ивановым, в его "Петербургских зимах". В каждом из современников поэта можно найти отсветы странной жизни: у Ахматовой — ее поэтические любовные романы, inferнальные упражнения — у Брюсова или навьи чары мелкого беса — у Сологуба. С этой точки зрения карнавал, представленный ранним Ивановым, кажется даже одушевленное, чем у Северянина, и разнообразнее, чем у Кузмина. Истина для него не слишком важна:

В наших песнях много чуши, —
Правда — ложь, правда — ложь,
Затыкай, коль хочешь уши —
Ну так что ж, ну так что ж!

И на каждом шагу при этом столь удивительное в той эпохе восприятие жизни, как зрелища в разнообразнейших видах — от церковной службы до уголовного романа. Последнее существенно для нас. Тяга к разбойному, запретному ("Но финский нож за голенищем скрыт...", любование им ("А с земляного пола осколком девочка выскребывает кровь...") не только слегка грешат против вкуса, но и намекают на установку во взгляде на жизнь. Эта направленность впоследствии вызовет громогласные нарекания в цинизме, имморализме, безобразии... Но а в начале это было просто приятное разнообразие в связях, инфантиль-

ный романтизм и — еще одним общим местом времени.

Кадет Иванов полон томлений и прозрений, характерных для его возраста: "При свете ламп — не видим тьмы", — но свет ламп ненастоящий, он лишь временно озаряет легкий танец, а когда исчезнет — не поможет "тайный круг — слиянье уст, пожатые рук!.." Устремление в сомнительность определяет раннего Иванова и, как нам кажется, не стоит уж так игнорировать этот его период во имя прославления Иванова позднего. Личность художника всегда соединяет в себе предмет и время в развитии, — даже если поздний Толстой отрицает ценность "Войны и мира", а больной Кафка просит уничтожить его рукописи. В поздних стихах Иванова мы обнаружим лишь необычайное углубление — ранних его свойств.

В самом начале "Горницы" характерна интонация поэта — неожиданная и отнюдь не игровая, но звенящая своей подлинностью:

Я не любим никем! Пустая осень!
Нагая ветки, средь лимонной мглы...

Это он чувствует истинно, хотя лишь одно мгновение. Уже четырьмя строками ниже поэт вдруг скажет, рисуясь, в манере Кузмина:

Я щеточкою ногти полирую
И слушаю старинный полифон.
Фальшивит нежно музыка глухая...

Так чувственный зачин первых строк стирается в последующих, что не видно даже и следов его. Иванов только нащупывает пути, составляющие интонацию целого, все еще вращаясь в заколдованном круге прежнего опьянения.

Похмелье после "отплывий", "островов", "празднеств" и "старомодных пейзажей" пришло не сразу. Как ни странно революции и террора оказалось недостаточно. Поэт предстает вовлеченным в пафос любовных отношений, и на сей раз — невыдуманных, хотя и написанных размером Северянина:

И разве мог бы я, о посуди сама,
В твои глаза взглянуть и не сойти с ума...

И за плечом твоим глядит любовь моя
На этот снежный рай, в котором ты и я.

И опять подлинность интонации, но уже иной, углубленной значительно.

"Сады" являют нам новую ступень отточенности формы, но теперь качественно новое, личностное начало впечатляет в их образной системе. "Драгоценные плечи" возлюбленной — образ, найденный именно здесь, — будут повторяться и повторяться в лирике Иванова вплоть до самой его смерти. В "Садах" же возникают первые намеки на тему конечного исчезновения человеческого Я, тема ужаса и необратимости грядущего часа, который явится где-то за горами, а пока преобразается в поэтически упоительную радость, в наслаждение летучим мигом. "А любовь — семицветною радугой станет она", даже если "темный луч озаряет унылую грудь" и "прекрасное тело смешается с горстью песка". Но в этом эмоциональном смятении становится очевидным тяготение к образности тютчевского масштаба:

И тихо, выступив из тени,
Плащом пурпуровым повит,
Гость неба встанет на колени
И сонный мир благословит.

Слово "печаль", хотя и переходит из строки в строку, уже не выражает беспричинный сплин незанятого денди и новое умонастроение много сложнее (приводим стихотворение без первой строфы):

По листьям золотым — моя дорога.
О сердце, увяданию внемли!
Пурпурные, плывите корабли
И меркните у синего порога!

Нет, смерть меня не ждет и жизнь проста
И радостна. Но терпкая отравы
Осенняя, в душе перевита

С тобою, радость, и с тобою, слава!
И сладостней закатной нет дорог,
Когда трубит и умолкает рог.

Автор этих строк уже навсегда соединен с почти радостью, почти печалью, почти болью, его чувствования закономерно сплетаются в некий многомерный диалектический клубок, однажды так магически запечатленный в блоковской формуле: Радость-Странанье.

Раскованный стих эмигрантского Иванова, интонация его, удачно названная исследователями "пришептыванием", искусная небрежность выражения и общая элементарность, уживающаяся с неожиданной страстностью, резкими контрастами, с постоянным настроением отверженности и даже загнанности, — все это, при общей российской своеобычности, ассоциируется с поэтическим настроем французских "проклятых поэтов" — Верлена и Рембо, как справедливо отметил в своей блестящей и проникновенной статье о творчестве поэта Роман Гуль еще в 1958 году. Сам Иванов подчеркивал эту связь в строках (мы приводим это стихотворение целиком):

Я люблю безнадежный покой,
В октябре — хризантемы в цвету,
Огоньки за туманной рекой,
Догоревшей зари нищету...

Тишину безымянных могил,
Все банальности "Песен без слов",
То, что Анненский жадно любил,
То, чего не терпел Гумилев.

Последнее признание тем более ценно, что Гумилев был друг, учитель и мученик. А "Песни без слов" это, разумеется, верленовские "Chansons sans paroles" (1874). Вряд ли стоит отрицать, что в эмиграции Иванов явился и оставался в ней всегда инородным телом, даже при наличии известного признания, а иногда — и читательских восторгов. Это изгойство овеществилось и в грустном конце поэта, как известно. То же справедливо для Верлена и для Рембо: и в период поклонения им со стороны современников они оба оставались отделенными от остальных некой невидимой стеной, зачарованным кругом одиночества.

О Георгии Иванове сложилось много злых легенд, мнения о нем возникали самые полярные. И. Северянин в обращенном к нему язвительно-блистательном сонете усмотрел лишь "ковар-

ного пажа", "верного эпигона", "бессердечного пшюта", обвинив поэта в обладании пером, "на котором вдосталь гноя"... А. Ахматова, негодуя на воспоминания Иванова, впоследствии неизменно отзывалась о нем с оттенком презрения. Для нее, пожалуй, он оставался всегда персонажем полночной гофманианы. Артистическая эмиграция говорила о нем, как о человеке, стоящем по ту сторону добра и зла. Этот же оттенок определяет образ его и у многих других, не всегда доброкачественных мемуаристов. Можно, разумеется, назвать и поклонников и даже апологетов — но важно иное: откуда же вся эта полярность в суждениях, эта горечь и непримиримость, порой — прямая злость? Нас этот вопрос подводит к проблеме именно отторженного, "проклятого" поэта, психологии его мирозерцания. Тут необходимо постижение всех направлений выражения личности поэта, его творческого облика, стиля поведения и событийной канвы его жизни, его предпочтений и отталкиваний, страстей и одиночеств, и более того — не только самовыражения, но и потенциальных возможностей его. Вопрос: "что было бы, если?" — может оказаться более чем уместным. Личность балансирует на грани бездны и катастрофы, дозволенного и запретного. Творчество провоцирует, соблазняет и отталкивает. Что случилось бы, если случился бы не Петербург, а Париж, и несколькими декадами раньше, не "Бродячая собака" — а "Ротонда", и если бы седовласый вселитературный патриарх назвал бы восходящую звезду "малюткой Шекспиром", со всей обстановкой тех годов — озарениями и эросом, психодрамой и эпатажем, уголовщиной и бесславным концом в абиссинском приключении?

В Петербурге было по-другому, но, в сущности, на тот же манер. Властителями дум кадета Жоржа Иванова были то Игорь Северянин, то Николай Гумилев. В лице Михаила Кузмина он нашел верленовский вариант эротико-метафизического соблазна, правда, не надолго, хотя Абиссиния, с легкой руки творца "Жемчугов", представлялась ему несколько картинно. Характерно, что в Петербурге десятых годов был сходный литературный полусвет со своими психодрамами и скандалами, легкомыслием и острословием, катастрофами и самоубийствами, впрочем, быстро исчезающими из памяти, но лишь

затем, чтобы всплыть позже, муча и тревожа. Среда задала и ритм и тон творчеству Георгия Иванова, и сам поэт погрузился в этот иллюзорный мир, слился с ним, став его частью.

В русской литературе в смысле поэтической "проклятости" есть, пожалуй, один пример похожей яркости — пусть и иной окрашенности таланта — Лермонтов, изначально отверженный — пусть в собственном воображении — в окружении своей веселой компании. Недаром Иванов так любит этого поэта, и позднее он, не без прозрачной иронии, нарисует незабываемый образ:

Проходит тысяча мгновенных лет
И перевоплощается мелодия
В тяжелый взгляд, в сиянье эполет,
В рейтузы, в ментик, в "Ваше благородие",
В корнета гвардии — о, почему бы нет?..

Туман... Тамань... Пустыня внемлет Богу.
— Как далеко до завтрашнего дня!..

И Лермонтов один выходит на дорогу,
Серебряными шпорами звеня.

Необоримая напряженность между Я и духом отмечает "проклятых" поэтов. Трудно сказать, что они прокляты Богом, поскольку Бог воплощает милосердие и прощение, но что они так думали — несомненно. Проклял ли их мир — для них не столь существенно. Старинная и драматическая коллизия "поэт и чернь" — нечто вполне знакомое романтическому сознанию, но отнюдь не причина для экзистенциальной трагедии. Но определенно поэту следует игнорировать чернь с ее многовидными реакциями, проклятиями и обожанием. Тяжелее, если сознательно или нет — поэт сам проклинает мир. И ощущение это, в принципе, не менее парадоксальное, чем предположение о проклятости Богом. Художник, проклиная мир, проклинает и самого себя, сам становится мучимой душой и чем более велик его дар, тем пронзительнее и глубже это переживается читателями, вызывая в них ужас, боль и сострадание.

Справедливо мнение, что в "Розах" Георгий Иванов осуществил прорыв в "страдающий космос". А возможности

этого прорыва в нем существовали изначально. Мучительно-саркастично самое название книги при сопоставлении с ее содержанием: роза, назначенная на поправление или просто на свалку и овеществленная поэтом в бесчисленных образах. Интонация отчаяния и конечной безнадежности становится преобладающей в творчестве Иванова отныне раз и навсегда. Вот несколько выразительных примеров:

Холодно бродить по свету,
Холодней лежать в гробу.

Ты еще читаешь Блока,
Ты еще глядишь в окно,
Ты еще не знаешь срока
Все неясно, все жестоко,
Все навек обречено.

В другом стихотворении читаем:

И что же делать? В Петербург вернуться?
Влюбиться? Или Орега взорвать?
Иль просто — лечь в холодную кровать,
Закрыть глаза и больше не проснуться...

В третьем:

Душа черства. И с каждым днем черстей.
— Я гибну. Дай мне руку. Нет ответа.

Еще пример:

И вижу огромное, страшное, нежное
Насквозь ледяное, навек безнадежное.

Книга завершается тяжелыми траурными аккордами, невольно приводящими на память многократно повторяющуюся апокалиптическую тему из второй части "Немецкого реквиема" Брамса или эфирное звучание труб архангелов в "Реквиеме" Верди:

Все розы, которые в мире цвели
И все соловьи и все журавли,
И в черном гробу восковая рука

И все паруса и все облака...

Так сердце твое оборвется когда-нибудь — так
Сквозь розы и ночь, снега и весну...

Здесь и в последующих сборниках поэта нашему зрению становится доступной и обратная сторона медали: в голом отрицании мира нет трагедии. Трагедия лишь тогда, когда отрицание заключено в любви или — любовь в отрицании.

Напрасно пролита кровь
И грусть, и верность напрасна
Мой ангел, моя любовь,
И все-таки жизнь прекрасна.

Во взаимоотношении "я и мир" торжествует начало двуединое: любовь-ненависть. И конечная судьба художника — земная и метафизическая оказывается сопряженной с конечным выбором — в плюс или минус. А пока — он ненавидит любимое. В знаменитом стихотворении январский ветер, вея разрушением, уничтожает его прошлое:

Где Олечка Судейкина, увы!
Ахматова, Паллада, Саломея?
Все, кто блистал в тринадцатом году, —
Лишь призраки на петербургском льду.

Своего предела это отрицание достигнет в не менее знаменитых строках из другого стихотворения — панихиде по невозвратной родине, по былой душе, щемящей декларацией боли:

Хорошо, что нет Царя.
Хорошо, что нет России.
Хорошо, что Бога нет.

Отрицание тотальное, равноценное прославлению даже не просто пустоты, а экзистенциальной "черной дыры":

Хорошо — что никого,
Хорошо — что ничего,
Так черно и так мертво,
Что мертвее быть не может

И чернее не бывать,
Что никто нам не поможет
И не надо помогать.

И все это отнюдь не было эпатирующим приемом. Лишь глухой не услышит в этих строках отчаяния. "Ох, эта пропасть ностальгии, — напишет Иванов позднее в "Распаде атома", — по которой гуляет только ветер, донося оттуда страшный интернационал и отсюда туда, жалобное, астральное, точно отпевающее Россию, "Боже, Царя верни"...

В момент невыносимого страдания не мог сдержаться и великий Тютчев:

И нет в творении Творца!
И смысла нет в мольбе!

Для Георгия Иванова противопоставление мира и Бога теснейшим образом соотносено со взаимоотношениями любви-ненависти между миром и Я.

Отличительной чертой русской национальной духовности является извечный крестный путь в поисках божественной справедливости — мученичество теодицеей. Особенно ярко это запечатлено Достоевским в метафизическом бунте Ивана Карамазова, пожелавшего "возвратить билет", ибо все величие и красота мира не стоит одной слезинки страдающего ребенка. Карамазовский крик: "Пожалейте мальчика!" — отозвался в веках незабываемым эхом. В случае с Георгием Ивановым нарушение равновесия в сторону Я окончательно обострило кризис. Для него в карамазовском призыве — мальчик он сам. Это ему не сдержал Бог обещания, воплощенного в раннем взлете сладкой жизни, честолубивых мечтаниях и "Цехе поэтов". И отсюда личная, биографическая мука, не без отроческой наивности, переносится на вселенную: красота творения, о которой кто, если не он, знал все и которая сквозит в каждом его стихе, затмевается персональным отражением, невыносимым испытанием эго, усугубляясь чувством потерянного рая — прошлого, казнящего "скукой мирового безобразья".

Мука и гибель Я равнозначны муке и гибели мира. Поэт не задумывается об умонастроении самого мира, взывая к Богу: "Что же ты робеешь?" — и когда с той же трагической

инфантильностью требует божественного уничтожения всего космоса:

Разможжи его одним ударом,
На осколки звездные разбей!

Отрави его горчичным газом
Или бомбами испепели —
Что угодно — только кончи разом
С мукою и музыкой земли!

Мука и музыка определяют драматическое существо ивановской поэзии: мир должен погибнуть, если нечеловеческое напряжение муки и музыки больше не под силу ему — поэту, который сказал однажды:

Я верю не в непобедимость зла,
А только в неизбежность поражения.

Не тайное ли это понимание своей сути и мировых взаимоотношений? Зло победимо. Поражение неизбежно. И поражение единичного — моего Я.

К примеру — родина. Нет сомнения, что Георгий Иванов страстно любил Россию. Многие стихи его до сердечного трепета исполнены тоски по ней. Боль воспоминаний — Петербург, Нева, Таврический сад — нередко посещает его. Но Россия все-таки существует для поэта лишь постольку, поскольку существует он сам, отношение к ней полностью сопряжено со взлетами и падениями его душевной жизни. Когда ему плохо и он медленно летит в пропасть, поэт признается с прекрасной искренностью, делающей его поэзию незабываемой:

И вашей России не помню
И помнить ее не хочу.

Можно сопоставить Иванова и Ахматову — с ее поистине физиологической любовью к России и сопоставление это оправдано, ибо оба они начинали сходно (поразительное поколение, попавшее из рая прямо в ад, минуя чистилище). И Ахматова испытала вкус славы и вкус реальных и воображаемых (то есть более чем реальных) любовных драм. Психологический облик ее, воссоздаваемый по "Вечеру" и "Четкам", не

так уж далек по многим чертам от обольстительного кадета с челкой. Даже сама эта челка Иванова, которую, по словам мемуаристов, изобрел сам Судейкин, напоминает знаменитую ахматовскую. Вспомним, что один из друзей Иванова создал в нескольких словах портрет его молодого:

Но я боюсь, что раньше всех умрет
Тот, у кого тревожно-красный рот
И на глаза спадающая челка.

И хотя он ошибся и погиб первым в архипелаге ГУЛag, но у него были все основания бояться ранней смерти друга с его тягой к запретному.

Оставшись в Петербурге, Ахматова выстрадала немногим больше, чем Иванов в Париже и, вырвавшись темой "Реквиема", ее личная боль воплотила всю боль громадной страны, ибо страна эта преобладала над ее личностью, как поэтической, так и человеческой. Для нас естественно, что через негромкий голос ее, слышен крик стомиллионного народа: мука России существует, если рот этот зажат, а ее, как поэта, не станет. По сравнению с этим мука женщины и матери теряет космическую свою значимость. Ахматова страдает Россией, как страдают недугом, дорогой ценой обретая божественное величие. Ибо вслед за Россией, источником притяжения, возникает вечность:

Здесь все меня переживает,
Все, даже ветхие скворешни,
И этот воздух, воздух вешний,
Морской свершивший перелет.

И кажется такой нетрудной,
Белея в чаше изумрудной,
Дорога не скажу куда...

Там средь стволов еще светлее,
И все похоже на аллею
У царскосельского пруда.

И тем же летом 1958 года, когда Анна Ахматова написала это стихотворение в Комарово, теми же тропинками блуждала мысль и Георгия Иванова, в то время уже умиравшего в доме

для престарелых на юге Франции — умиравшего так страшно и одиноко:

О, если б мне немного нежности
И вид на Царское в окно,
На солнечную ту аллею,
Ту, по которой ты пришла.

Вот аллея. А вот ветер:

Как за тобой струились тени
И ветра ласковый размах
Играл твоими волосами
И теребил твой черный бант...

Но возврат заповедан. И детская горечь упрека:

— Но объясни, что стало с нами
И отчего я эмигрант?

Много уже писалось о том поэтическом взлете Георгия Иванова позднего, совершившего прорыв из, казалось бы, непреодолимых стен камерной поэзии к высотам обнаженного духа. И это обстоятельство подтверждает лишний раз правоту известной мысли, что несчастье — пробный камень для произведения искусства. Интересно отметить, что современник и друг поэта, мастер словесных образов О. Мандельштам, властно заявивший о своем даровании первыми своими сборниками, художественно сдал к "Воронежским тетрадам". Драматическое столкновение с реальной жизнью, с реальной отверженностью и проклятостью привело его к очевидному крушению, ибо: "Как человек культурный и книжный, — писал еще В. Жирмунский, — он не мог вдохновляться самой жизнью, а только переработкой этой жизни в сложившемся до него культурном и художественном творчестве". Кроме того, Мандельштам никогда не был лириком, он не только не знает лирики любви или природы (естественные предметы большинства переживших время стихов), но вообще никогда не рассказывает о себе, о своих душевных движениях, о своем непосредственном восприятии жизни внешней и внутренней, но как бы сочиняет всегда на заданные темы. И потому вся его поэзия, за исключением трех-четырех стихотворений, суть

опосредованная. Восторженная реакция на творчество поэта сегодня, почти канонизация его (а всякая канонизация портит облик и значимость поэта: канонизация Маяковского испортила понимание его творчества) является, как ни парадоксально, порождением советской действительности: это слава поэта-мученика и реакция людей, 60 лет пребывавших в духовном ничтожестве, за пределом культурно-исторического процесса, истосковавшихся по красивым западным именам, идеям и образам — наяву более недоступным.

Другое дело Георгий Иванов, совершивший почти невысказанный взлет. "Посмертный дневник" его есть творение потрясающее в художественном и именно человеческом смысле, и не только в русской, но, пожалуй, и в мировой поэзии. Он писал стихи до последнего дня и чуть ли не часа своей жизни, прекрасно сознавая, что не позже чем на следующей неделе умрет. Мало можно вспомнить произведений, где с такой отчаянной выразительностью, обнаженной безнадежностью воплощено столкновение трепещущей живой реальности, мыслей сердца — даже не со сверхреальностью, но с нереальностью — с самой смертью. И это столкновение один на один, лицом к лицу — потрясающий документ всей культурной эпохи. Были случаи диалога с вечностью в разных обликах — от древнеегипетской "Беседы разочарованного со своей душой" до Верлена и Вячеслава Иванова. Однако не припоминается подобного прощания и подобной агонии, когда физическое умирание с такой ясностью отражается в сознании. Это та песня, о которой сказал Жуковский в своем "Царскосельском лебеде" незадолго до собственной смерти:

Раз среди их шума раздался чудесно

Голос, всю пронзивший бездну поднебесной...

Сколь далек этот задыхающийся шепот "Посмертного дневника" от прощально-торжественных хоралов Ахматовой. Его не забудешь, он навеки обличение ленивых сердцем, упрек покою и просветленности, даже справедливым и заслуженным страданиям. При всем любовном ненавистничестве Иванов помнил цену жизни, лишь разделяя, может быть, само понятие "жить" на два. Но жить он был готов на любых условиях, отнюдь не возвращая врученного билета:

Если бы жить... Только бы жить...
Хоть на литейном заводе служить.

Хоть углекопом с тяжелой киркой,
Хоть бурлаком над Великой Рекой.

Страх смерти — всегда подспудная, а часто явная, доминанта его поэзии. Не случайно поэт воплощает его в беспощадном образе рыцаря-крестоносца:

У сердца прижата стальная перчатка
И на ухо шепчет ему лихорадка:

Зароют, зароют в глубокую яму,
Забудешь, забудешь Прекрасную Даму,

Забудешь все Божье и все человеческое...
И львиное сердце дрожит как овечье.

Предошущение нелегкой грядущей смерти не оставляло его и он стремился его обойти, заговорить стихами, найти облегчение в ссылках на великие примеры:

...Такой же Гоголь с длинным носом
Так долго, страшно умирая...

Или:

Они ныряют над могилами,
С одной — стихи, с другой — жених...
... И Леонид под Фермопилами,
Конечно, умер и за них.

Еще образ:

Как в Грецию Байрон, о, без сожаленья,
Сквозь звезды, и розы, и тьму,
На голос безмысленно-сладкого пенья...
— И ты не поможешь ему.

И самое страшное — Екатеринбург:

Про Россию, про свободу,
Про последнего Царя.

Как в него прицеливали,
Как его расстреливали.

Как ребята баловали,
Как штыком прикалывали...

Но смерть привораживала его, как бы не сводила с него оловянного своего взгляда. И последним из великих, к кому он обратился прямо уже незадолго до конца, был Пушкин:

Александр Сергеевич, вам пришлось ведь тоже
Захлебнуться горем, злиться, презирать,
Вам пришлось ведь тоже трудно умирать.

Если "Посмертный дневник" с медленной агонией человеческого (не творческого!) умирания не являет нам просветленного умиротворения, слияния с Богом, то исповедальное и искупительное звучание его, при всей пытке взлетов и падений, придает этому поэтическому завещанию всечеловечность, глубочайшую и обнаженную патетику, напоминающую всем своим внутренним строем завещание другого художника — Шестую симфонию Чайковского. В "Посмертном дневнике" мы находим целые строфы и отдельные стихи, после которых пресловутые обвинения поэта в нигилизме сами по себе кажутся порождением цинического восприятия. Вот стихотворение XXXIII:

Если б время остановить,
Чтобы день увеличился вдвое,
Перед смертью благословить
Всех живущих и все живое.

И у тех, кто обидел меня,
Попросить смиренно прощенья,
Чтобы вспыхнуло пламя огня
Милосердия и очищенья.

Достоевский, как известно, верил в то, что мир спасет красота, и в этом видел разрешение теодицеи. Подлинная и высокая поэзия немыслима без ответа этой красоты. И вот Георгий Иванов пишет неожиданные в преддверии смерти слова, исполненные особого смысла и значения минуты:

А что такое вдохновенье?
— Так... Неожиданно, слегка

Сияющее дуновенье
Божественного ветерка.

Красота, спасающая мир, спасет и "проклятого" поэта, отрицавшего ее, бывало, в младенческом эгоизме. Впрочем, он и сам уже знает:

Мне говорят — ты выиграл игру!
Но все равно. Я больше не играю.
Допустим, как поэт, я не умру,
Зато, как человек, я умираю.

Для Георгия Иванова тот факт, что он — человек — обречен небытию, был источником нестерпимой муки, как для многих и многих художников. Эта мысль подвигала его предавать мир проклятию, роптать на Бога, играть в опасную сомнительность, грезить об ужасах и катастрофах.... Во искупление смерть его была воистину и долгой, и горькой, и одинокой. Но близость высокого, неповторимого искусства озарила его кончину. С гордой скромностью оценил поэт противоречивое великолепие своего творчества. И еще поэт оценил жизнь:

Так, занимаясь пустяками —
Покупками или бритьем —
Своими слабыми руками
Мы чудный мир воссоздаем.

И поднимаясь облаками
Ввысь — к небожителям на пир —
Своими слабыми руками
Мы разрушаем этот мир.

Вспомним слова Блока о Георгии Иванове, приведенные в самом начале этого очерка. Как изменилось все для поэта с тех пор: теперь совсем не жизнь спрятала его куда-то, но он сам, и теперь он слишком хорошо знает куда, платя за это знание самой дорогой ценой. И все-таки Я поэта не приковано к этой жестокой реальности и в одном из последних своих стихотворений поэт освобождает его — навечно:

..... И совсем я не здесь,
Не на юге, а в северной, царской столице,
Там остался я жить. Настоящий. Я — весь.

Нам привелось услышать немало противоречивых мнений о прозе Георгия Иванова. Говоря вообще, проза — не дело поэта, а лишь то, как было уже сказано о прозе М. Цветаевой, что остается от стихов и поэм, то, что накапливается за их границами. И оттого проза поэтов так непохожа обычно на писательскую, так странна и неожиданна. Ее задача — освободить поэта от перегрузки, от материала никак не вкладываемого в стихи.

"Петербургские зимы" Георгия Иванова — книга в первую очередь мифотворческая и уже потом мемуарная. И как заметила та же Цветаева: "Мифотворчество: то, что быть могло и быть должно, обратно чеховщине: тому, что есть, а чего, по мне, вовсе и нет". "Петербургские зимы" — это петербургские мифы и мало с чем можно сравнить эту книгу. А по признаку противоположности ее антипод — "Роман без вранья" А. Мариенгофа, то есть как образец бездумного, псевдогонкуровского бытописания и натурализма, пример того, как мемуары писать не надо. Ибо, пользуясь пушкинской формулой, художнику надлежит помнить, что "тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман". Именно в этом смысле книга Иванова может быть поставлена в ряд с лучшими прозаическими опытами русских поэтов этого века. Впечатление от нее огромно. Как никто другой, именно Георгий Иванов убеждает, что был серебряный век нашей литературы и жили такие живые и ни на кого непохожие Н. Гумилев, Ф. Сологуб, Л. Каннегисер, Н. Клюев, С. Есенин, А. Блок и даже никому сейчас не известный А.К. Лозина-Лозинский (1886 - 1916), о трагической судьбе которого сообщает поэт. "Бродячая собака" под пером Иванова обретает самые реальные очертания, скамейка Анненского в Царском все еще манит воображение... И вот многими мифологизированный Петербург обогащается новыми мифами и сам автор закономерно вписывается в его головокружительный ансамбль.

"Распад атома" — явление совершенно иного порядка, это книга прежде всего исповедальная и покаянная, "история души и история мира", как Иванов сам сказал о ней. Это книга, созданная на одном дыхании, иногда с режущими глаз деталя-

ми, но плотная и как бы густая в своей человеческой сущности. Все то, что с обывательской точки зрения есть перверзия и грубый натурализм, — лишь броская оболочка, за которую заглянуть удалось далеко не всякому. Опубликованный более сорока лет назад "Распад атома" дает впечатляющий психологический срез личности, причастной и озабоченной русской культурой и, что характерно — в нее влюбленной.

Современная русская поэзия представляет пугающее зрелище — некий пустынный, безотрадный и угнетающий пейзаж. И это, понятно, не грех России, но грех ее детей, времени, кризиса извечных духовных и культурных ценностей. Исключая суррогатное официальное стихосочинение, нам видятся три главенствующих направления, по которым русская поэзия НЕ РАЗВИВАЕТСЯ.

Первое — нарочитая ломка традиционных форм, убогий словарь, разудалое игнорирование всего опыта прошлого при, как правило, незнании его, жонглирование словами и смыслами, звучанием и синтаксисом — без культурного и эстетического права на то. Авторы этого круга как бы тянут руку к карандашу Матисса и Пикассо в наивной уверенности, что беглые линии их рисунков даются без изнурительной работы со слепками и совершенного знания анатомии тела, то есть без элементарной азбуки искусства.

Черты второго направления сугубая прозаизация, натягивание случайных рифм и ассонансов на громоздкие смысловые каркасы, боязнь темных, необъяснимых логически мест и любых проявлений романтизма (органически свойственного русской культурной традиции), умышленное огрубление языка и неоправданное использование иноязычных слов — некая неожиданная неонадсоновщина, раздраженная очевидной тайной и чудом джокондовой, например, улыбки, желающая рационального разъятия, разоблачения, наименования обиходным словом, то есть конечного упразднения ее как таинства.

И наконец, третье — явное или полуявное эпигонство, которое разнится лишь качествами самих стихов и качествами тех теней, под которые авторы осторожно подвигают свою — бледную. Их и теперь еще можно напугать "Поэмой Конца" Марины Цветаевой.

Как водится, все три направления имеют свою публику, поклонников и подражателей. Но все три все-таки не пользуются ни настоящей популярностью, ни признанием, ни любовью русских, чьи взгляды сейчас, как всем очевидно, обращены назад, в богатейшее вчера и позавчера нашей поэзии, уходя по дорогим именам, будто по лестнице, в прошлое. Тем не менее, эти направления объединяет характерное отсутствие главных признаков, создающих национальную поэзию: реальной связи с мастерами прошлых поколений, со всей культурой, историей, религией и фольклором России, без которых не было ни одного пережившего время поэта. Поэтому эти авторы объединены отсутствием лица и интонации и потому стихи их так часто представляются переводными — с какого-то иностранного языка на русский. Исключения из этого потока и в Сов. Союзе и в эмиграции единичны и хорошо известны.

Один из молодых представителей последней эмиграции, имевший в прошлом и стихи и свой круг друзей-поклонников в Ленинграде, обронил как-то походя и многозначительно замечание, что жили-де мы без малых акмеистов и дальше проживем. Трудно по тону не усмотреть намек на ту исчерпывающую близость, в которой его автор жил и намерен жить с большими акмеистами, но точка зрения здесь явно определена.

Для Иванова, как и для других поэтов на чужбине, его одиночество было его избранничеством и крестом, и свою муку, "своей тоски — навеки одинокой", как сказал Волошин, он, вероятно, не променял бы ни на что.

Довольно пальцев одной руки, чтобы перечислить тех больших русских поэтов, смерть которых приходится на середину нашего века — десятилетием раньше, десятилетием позже. Анна Ахматова умерла у себя на родине, в благословенном соседстве финской хвой и города ее поэзии и жизни — в 1966 году. За восемь лет до этого на чужбине, в приюте для престарелых, в "богомерзком Йере", задыхаясь от убийственной для его сердца жары и одиночества, умер самый трагический из больших поэтов Петербурга, его вечно облаченный в траур разлучения Гамлет — Георгий Иванов.

В черной шинели, с погонами синими,
Шел я, не видя ни улиц, ни лиц.

Видя, как звезды встают над пустынями
Ваших волнений и ваших столиц.

Однажды, в одном из лучших своих стихов, поэт сказал своим отторгнутым соотечественникам и себе:

Четверть века прошло за границей
И надеяться стало смешным.

И здесь же:

Но поет петербургская вьюга
В занесенное снегом окно...

Есть разные качества, разные высоты надежды. И надежда Георгия Иванова была высочайшего ранга трагедии — надеждой безнадежности. Поэтому в реквиеме по самому себе, в своем "Посмертном дневнике", он успевает сказать:

Хождение по мукам, что видел во сне —
С изгнанием, любовью к тебе и грехами.
Но я не забыл, что обещано мне
Воскреснуть. Вернуться в Россию — стихами.

Иванов не дописал свой дневник, его остановила смерть, подобно тому, как не дописал своего "Реквиема" Моцарт, который пел со своей последней постели, окруженный друзьями (не так Иванов!), *Lacrimosa*, когда сорвался его голос...

Посмертный возврат поэта совершается на наших глазах. Трудно забыть, как совсем недавно, уже в нынешнем Петербурге, одна седовласая современница его, знаток русской и мировой литературы, повторила наизусть (при решительной невозможности добыть настоящую книгу) из услышанного где-то:

Эмалевый крестик в петлице
И серой тужурки сукно...
Какие печальные лица
И как это было давно.

Какие прекрасные лица
И как безнадежно бледны
Наследник, императрица,
Четыре великих княжны.

Имена трех Ивановых ярко означены в наследии русской культуры — Александр, Вячеслав, Георгий.

Валерий Блинов, Нью-Хейвен.

ГЕОРГИЙ ИВАНОВ

*

В огнях полно́чи и передутра
вы — отплывавший на Цитеру
в густых шелках Ватто.
В руинных кручах гаваней Лоррена
вы — пивший праземли лобзание-дыханье
в глазах овец, сивилл и Аполлона,
при помавании сновиденных дерев.
А после вы — невиданный Назон,
из Рима злачного молящийся о То́мах,
о грешных взглядах васильков, о варварах
на варварских сугробах...

Всех сборов последние —
кротче и строже: из прóстыни белой —
и в белые ночи, где Павловска тропы
у окон вагонных и вьюга слепая
несется Невою, проходит Фонтанкой,
клубится над Царским, и лица в ней молча
минуют друг друга.

Александр Радашкевич

11. XI. 1980. Нью Хейвен

БРЮССЕЛЬ УТРОМ

Полотно загрунтовано густо,
Город эдак повёрнут и так —
Серебристая дымка искусства
Проступает сквозь старый чердак.
Пробуждается голубь и школьник,
Мостовые дрожат серебром
И бельгийская готика колет
Облака заострённым пером.
Этот голубь, воркующий гулко,
Дописал очертания крыш.
И на каждом углу переулка
Сквозь Брюссель проступает Париж.
Каждый угол меняет картину,
И любой насыщается вкус —
Эй, художник, ломай перспективу,
Покажи небывалый ракурс.
Но Брюссель остаётся Брюсселем
Под любым небывалым углом —
Он на дальнюю точку нацелен
И в бессмертье, как рыцарь влюблён.

СКЛОНЫ ПАРНАСА

Громадного пейзажа переливы —
Седой нарцисс и синий кипарис
И жёсткий блеск серебряной оливы,
Вздымаясь вверх, соскальзывает вниз.
Там с облака Кастальский ключ сбегает,
Как молния на пыльную траву,
И там Парнас гранёными зубами
Жующий снег — уходит в синеву.
Там боги-грозы серебрятся в небе,
Гнездятся в камне фебовы орлы,
Там гребень скал, как петушиный гребень,
Сквозь облачные светится валы.
Там Пан себя пасёт и нимф, себе послушных,
Коровы спят в светящейся тени,
Находит грот Дельфийская пастушка
И Пифия вешает искони.
Там козы скачут по гранитным плешам
И синий склон туманами повит
И осенён кустарником ослепшим
Заворожённый мифами гранит.

1980.

Олег Ильинский

Л.Н. ТОЛСТОЙ И Н.Ф. ФЕДОРОВ

ИЗ ЛИЧНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ

Среди друзей Толстого Федоров пользовался авторитетом и уважением едва ли меньшим, чем Толстой, а во многих отношениях перед ним преклонялся и сам Лев Николаевич. Я, как живой свидетель начала их дружбы, а потом размолвки, считаю любопытным посильно осветить этот период.

Николая Федоровича я знал в то время, когда он уже был преклонным старцем. Ему, по-видимому, был на исходе седьмой десяток лет.

Мне, совсем зеленому юноше, еще не сошедшему со школьной скамьи, его старость, казалась еще более глубокой. И в то же время меня с первого же раза поразила какой-то избыток жизни в этом, казалось бы, уже изнурённом старике: подвижной, живой старик, звучный голос, быстрая и оживленная речь, богатство, разнообразие и острота мыслей всё говорило в Федорове не о старости, а скорее о расцвете сил этого необыкновенного человека.

С годами я не замечал в нём никакой большой перемены, и каким я помню его при первом знакомстве, таким же он представляется мне и в самые последние дни своей жизни. Он точно застыл, кристаллизовался в том виде, как я впервые узнал в

Эту рукопись мы получили из СССР. Ее автор, Григорий Петрович Георгиевский (1866 - 1948) был археограф, книговед, хранитель отдела рукописей Московского Публичного и Румянцевского музеев. *РЕД.*

Москве этого замечательного, благообразного старца.

Николай Федорович никогда не говорил о своих годах и не любил отвечать на вопросы любопытствовавших о его возрасте, о прошлом, о происхождении. На эти вопросы он умел давать остроумные ответы, нисколько, однако, не просвещавшие вопрошавших по предметам их любопытства. На вопросы же наивные или навязчивые он или совершенно отмалчивался, или же с неудовольствием принимал удивленный вид и в свою очередь спрашивал:

— А зачем это вам нужно? Уж не пишите ли вы некролог мой? А может быть, вас подослали?

Николай Федорович во всю жизнь никому не обмолвился о самых интересных моментах своей биографии: о родителях и родных, о воспитании, о детстве, сверстниках, о молодости и начале службы, и очень мало об образовании своем в Ришельевском Лицее в Одессе... Что всё это означало? Как будто самая жизнь Николая Федоровича началась только с того времени, как он пришел в Москву. Да, именно *пришел*, пешком, на Серпуховскую заставу, в 1863 году.

Эта безвестность целой половины жизни Николая Федоровича и самого происхождения его по временам как будто близки были к разгадке. Однажды на Пасхальные каникулы Николай Федорович уехал в Петербург, куда никогда не ездил. Поездка заинтересовала всех его знакомых, и волею-неволею ему пришлось дать объяснение. По его словам, он ездил в Петербург потому, что там умер его родной *брат*, присяжный поверенный.

Это откровение еще более удивило всех. Он жил таким безродным и одиноким, таким философски равнодушным ко всякому родству, что в нем не предполагалось и самого чувства родственности, а тем более наличия каких-то близких родственников.

Когда Николай Федорович уже скончался, на панихиду и на погребение его приезжала маленькая старушка, из заслуженных отставных классных дам. И эта почтенная старушка объявила себя его родною сестрой. Но кто она, и кто он?.. Никто не решился спросить ее и тем открыть завесу, так тщательно опущенную и плотно прикрывшую всё прошлое Николая Федо-

ровича... Потом от покойного Ю.П. Бартенева я слышал, что Николай Федорович был сыном, кажется, Пензенского помещика, князя Г.* Когда князь служил на Кавказе, он влюбился в молоденькую грузинскую красавицу, ради любви бросил службу, вернулся в имение и здесь прожил с нею несколько лет. Плодом этой любви и был Николай Федорович... Его мать была потом в замужестве за директором первой Московской гимназии.

Осенью и зимой его мало кто встречал на улицах. Он ходил только в начале и в конце дня, когда не совсем рассвело и не совсем смерклось, но когда в сумраке, и часто в тумане, нелегко признать даже хорошо знакомого человека. Летом и весной он ходил по улицам в том же самом костюме, в котором круглый год проводил время дома и на службе. Это не было рубище, а тем более это не была рвань. Костюм Николая Федоровича не был оборван. Он просто был ветх, даже очень ветх, но нисколько не нарушал общего привлекательного впечатления, какое производил своею внешностью этот благообразный старец. О ветхости костюма можно судить, например, по тому, что за два десятка лет, последних в жизни Николая Федоровича, я помню его только в двух переменах. Сначала, очень недолго, на нём и зиму и лето был белый пиджак, а потом лет 12 - 15, и тоже круглый год, он ходил в летнем однобортном пальто, застегнутом на все пуговицы, цвета серовато-темного. На шее неизменно был повязан платок, кажется, полотняный, а когда Николай Федорович простужался и хрипел, то на шее у него откуда-то появлялся шерстяной шарф. Зимой и осенью поверх этого костюма он одевал ватное пальто, настолько ветхое, что у него уцелела только одна пуговица. Поверх головы и шеи он закрывался пледом, а на голове носил или большой теплый картуз, или круглую, кажется, валеную шапочку.

В канцелярии Румянцевского Музея, вероятно, уцелели многократные запросы уездных исправников о личности предъявителя канцелярского отпускного билета. Очевидно, в уездном городе, где появлялся Николай Федорович на летних

* По некоторым сведениям, Н.Ф. был незаконным сыном князя Гагарина.
РЕД.

вакациях, он производил немалое смущение среди чинов местной полиции. По билету он оказывался носителем довольно значительного чина по табели о рангах, а по костюму... он казался исправнику чем-то странным. И вот, почти каждое лето, едва Николай Федорович выезжал на каникулы к кому-нибудь из приятелей, как в канцелярии Музея появлялись полицейские запросы о нем.

Даже сам Лев Николаевич Толстой не всегда оставался равнодушным к костюму Николая Федоровича. По-видимому, ветхость костюма, но благообразная, удивляла Толстого, а даже, м. б., вызывала у него "зависть". По крайней мере, Николай Федорович со смехом говорил об этом всякий раз, когда новое лицо засматривалось на его костюм. Это ему очень не нравилось, и он желая остановить любопытство, говорил:

— Что вы на меня засмотрелись? Толстой, вон, тоже не спускает с меня глаз, так тот из зависти.

А однажды Николай Федорович очень резко остановил и любопытство Толстого. Вообще он не церемонился с ним, но на этот раз он был даже раздражен. Они оба стояли за каталожным столом, мирно беседуя. Что-то в костюме Николая Федоровича привлекло внимание Толстого, и Толстой подошел к Николаю Федоровичу и, прищурив глаза, как говорил Николай Федорович, "смерил его с головы до ног". Это усиленное внимание не понравилось Николаю Федоровичу, и он запальчиво заметил Толстому:

— Что вы смотрите? Не хотите ли превзойти меня в своем опрошении?

Толстой был очень сконфужен, извинился и ушел. Самым привлекательным в Николае Федоровиче было, конечно, его лицо. Открытое, продолговатое, с совершенно правильными чертами, обрамленное белевшей бородой и увенчанное большим лбом, оно всегда светилось и оживлялось черными блестящими глазами, детски ясными и необыкновенно пронизывающими. На голове его не было волос, но кругом головы был значительный кружок их, вьющихся, длинных, так как он никогда не стригся.

К сожалению, Николай Федорович не позволил при жизни снять с себя фотографический портрет. Изображение лица он

признавал только в иконописи и только в иконописных целях. Поэтому, на все просьбы позволить сфотографировать его, Николай Федорович отвечал решительным отказом. А когда однажды один из его почитателей принес с собой ручной аппарат и хотел тайком сфотографировать его за работой, Николай Федорович вдруг заметил это в последний момент и, очень огорченный, присел за стол и долго не хотел выходить из своей засады, пока не убедился, что вероломного приятеля уже нет в музее.

После кончины Николая Федоровича с него была снята маска, и известный художник Пастернак напечатал в "Весах" рисунок этой маски. Тут Николай Федорович как живой, только глаза закрыты. Есть еще портретный рисунок, сделанный Пастернаком, довольно удачно.

Заслуживает внимания и еще одна черта в безызвестности прошлого Николая Федоровича. Очень мало кто знал его фамилию. Имя и отчество его пользовались необыкновенной популярностью и в очень широких кругах русского образованного общества, особенно общества наших обеих столиц. Но по фамилии его никто не знал при жизни. Даже в самом Румянцевском Музее, где он служил, не все знали его фамилию. Когда я спросил фамилию Николая Федоровича у старого его сослуживца, последний очень неуверенно ответил мне:

— Кажется, Федоров, а впрочем Бог его знает... справьтесь в канцелярии.

На такой мой вопрос к музейному швейцару, я получил более оригинальный ответ:

— Какая фамилия? Николай Федорович — и боле ничего. У них нет фамилии.

Когда я пошел к Николаю Федоровичу на квартиру в первый раз и разыскивал его жилье, мне пришлось обратиться к помощи неизвестного господина, шедшего по двору, где я предполагал найти интересовавшую меня квартиру.

— Где живет Федоров? — спросил я.

Мой собеседник, обитатель этого же дома, оказался в большом затруднении.

— Федоров?... Кажется, у нас такого нет. Да это кто такой, Федоров?

— Николай Федорович...

— Ах, Николай Федорович, — перебил меня он и сейчас же указал, где мне найти его.

Квартира Николая Федоровича была еще скромнее его внешности. Он жил в Молочном переулке, в старом деревянном доме.

По узкой темной лестнице надо было подняться на крышу, где был крошечный мезонин, разгороженный пополам. Этот мезонин нанимали какие-то две старушки, занимавшие первую у входа половину. Вторую нанимал у них Николай Федорович за 5 рублей в месяц. Эта была комнатка, с маленьким окошечком. Вся мебель в ней ограничивалась столиком и сундуком в аршин длиною. Этот сундук служил Николаю Федоровичу и стулом и креслом, и... постелью. На этих шестнадцати вершках Николай Федорович умудрялся спать, конечно, без подушки и без какого-либо признака постели. Больше никакой мебели и вообще имущества у Николая Федоровича безусловно не было, и самый сундук всегда стоял пустым. Всё имущество Николая Федоровича исчерпывалось несколькими листами бумаги, на которых он записывал свои мысли и которые всегда носил с собой в боковом кармане пальто, или просто за подкладкой пальто, вследствие чего полы его были всегда оттопырены. Впрочем эти тетради оставались у Николая Федоровича до тех пор, пока он не находил верного и восприимчивого слушателя, особенно если последний владел пером. Тогда Николай Федорович читал ему ту или другую тетрадь, смотря по интересовавшему слушателя вопросу и, прочитавши, дарил эту тетрадь, в надежде, что посеянное вырастет и даст плод свой.

Потребности Николая Федоровича были до крайности ограничены. Никакого стола он никогда себе не заводил и не пользовался ни завтраком, ни обедом, ни ужином. Всё продовольствие его ограничивалось чаем, который он пил утром и вечером, с баранками; и за этот двукратный чай он платил своим хозяйкам особо 3 рубля в месяц. Вот и все его потребности и траты на себя: 5 р. за квартиру и 3 р. за чай, всего 8 рублей в месяц.

Таким образом казенного жалованья, которого он получал 33 р. в месяц, ему хватало с избытком. Остаток жалованья он в

тот же день, в который получал, распределял своим пенсионерам, которых у него было слишком достаточно и которые неизменно являлись *в музей* по 20-м числам и терпеливо дежурили у дверей канцелярии, ожидая, когда выйдет Николай Федорович с жалованьем.

Любопытно, что одного пенсионера к Николаю Федоровичу направил Л.Н. ТОЛСТОЙ. Какой-то бедняк обратился к графу за помощью. Это было в 1896 - 1897 гг. Граф не отказал бедняку, но вручил ему письмо к Николаю Федоровичу, в котором просил Николая Федоровича помочь подателю письма.

Николай Федорович несколько месяцев носился с этим письмом и громко читал его своим знакомым. Оно иллюстрировало его убеждение в лицемерии Толстого и толстовства.

Любопытно, что ненужные ему деньги Николай Федорович раздавал в тот же день, и если какой-нибудь пенсионер приходил за своей долей на другой день, то уже ничего не получал: Николай Федорович никогда не держал денег.

Когда он лежал уже на смертном одре в Мариинской больнице и ему принесено было жалованье, он не сумел в тот же день раздать все свои деньги: одна золотая монета пятирублёвого достоинства осталась у него и лежала на столике у его постели. Как она беспокоила Николая Федоровича! Всех навешавших его он убедительно просил освободить его от этого ненужного ему бремени и взять от него с собою, и на неизменный отказ каждого, раздраженно отворачивался и едва выговаривал свое нелестное мнение о деньгах:

— Проклятые!..

II

Мало я знаю людей, которые отрицательно относились к Николаю Федоровичу. Это были исключительно узкие чиновники, которые не одобряли всё, что не вмещается в рамки уставов и инструкций. На этой почве у Николая Федоровича в жизни было довольно недоразумений. Достаточно сказать, что, получив высшее образование в Одессе и сделавшись педагогом, он не мог подолгу ужитья ни в одном учебном заведении. С 1854 года по 1868 год он был учителем истории и географии в разных уездных

училищах, в Липецке, Богородицке, Угличе, Одоеве, Богородске, Подольске. Прибыв в Москву и посетив Чертковскую библиотеку, где в то время служили П. И. Бартенев и Н.П. Барсуков, Ник. Фед. был замечен ими и остался здесь на службе, получив затем должность дежурного чиновника при Читальном Зале Румянцевского Музея. На этой должности он неизменно служил в течение 25 лет, разумеется, потому, что здесь его ценили и любили, хотя в нем и не укладывалось обычное понятие о чиновнике. Отсюда-то и являлись иногда недоразумения, которые отнюдь не свидетельствовали об отрицательном отношении к самому Николаю Федоровичу и его работе. Чаше всего недоразумения происходили по поводу открытия Музея. Николай Федорович всегда являлся к восьми часам утра на службу, а двери Музея были закрыты, потому что смотритель проспал. Николай Федорович принимал закрытые двери за намёк на ненадобность его работы, огорчённый уходил домой, а ко времени прихода других чиновников уже посылал прошение об отставке. Потом стоило больших трудов убедить его вернуться к своей должности, которая без него не исполнялась.

Если Николай Федорович не держался строго правил, которые мешали ему трудиться сверх нормы, то, с другой стороны, он был беспощадным исполнителем и контролером за точностью в исполнении всех правил, которые оберегали общественное достояние и обеспечивали его наилучшее использование. Так, во всю жизнь он не только никому не дал на дом ни одной музейной книги, но и сам ни разу не воспользовался этим своим правом. Когда же он увидел, что новый библиотекарь Музея, профессор Н.И.С., широко пользовался сам музейными книгами и не препятствовал другим брать их домой, Николай Федорович, не находя на привычных местах самых необходимых книг, ушел в отставку с пенсией в 17 р. 51 к.

Лица, посторонние Музею, знакомились с Николаем Федоровичем через посредство своих занятий. Изучая какой-либо вопрос, посетитель Музея находил в кипе потребованных им книг еще 2 - 3 книги, которых он совсем не требовал, о существовании которых и не подозревал. А между тем содержание этих неожиданных книг прямо отвечало на поставленную им себе задачу. На вопрос посетителя, кому он обязан присылкою этих

книг, получался ответ:

— Это вам прислал Николай Федорович.

Новые книжки освещали вопрос с новых, часто неожиданных, непредвиденных сторон. Вопрос углублялся, изучение затягивалось, требовались и присылались всё новые книги, и наконец совсем зарывшийся учёный непременно получал приглашение:

— Вас просит к себе Николай Федорович.

Тут уже завязывалось личное знакомство с Николаем Федоровичем с тем, чтобы потом никогда не прерываться и служить постоянным и неисчерпывающим источником не только для всестороннего изучения тех или других специальных вопросов, но нередко и для выработки и создания целого мирозерцания.

В сущности обязанности Николая Федоровича в Библиотеке были очень скромны. Он должен был подыскивать по каталогу Музея те книги, которые по требовательным листкам выдавались потом в читальный зал. Николай Федорович должен был прочитать все эти листки и по каталогу отметить на них места требуемых книг. Таким образом мимо Николая Федоровича не проходило ни одно требование на книги и без его предварительного просмотра не выдавалась ни одна книга в читальный зал. Ему известно было каждое требование, но, разумеется, в число его служебных обязанностей вовсе не входило определение по этим требованиям вопроса, интересовавшего читателя, степени его подготовленности к занятиям этим вопросом и характера его осведомленности в нем.

Николай Федорович по всем требованиям на книги, какие подают в читальном зале посетители, сразу узнавал серьезного работника, и тогда уже он заглазно всею душою привязывался к этому человеку и старался быть полезным ему чем только мог.

А содействие его в этом отношении было беспримерно драгоценным. Он был прямо исключительным библиоманом и библиографом. Он знал, как свои пять пальцев, всю библиотеку Румянцевского Музея, и очень часто для него было легче и скорее взять нужную книгу прямо с полки, чем отыскивать ее при помощи каталога. Но знанием книг тут дело не ограничивалось: Николаю Федоровичу известно было и содержание книг Румянцевской библиотеки. Он перечитал их, кажется, все, и всё прочи-

танное держал в своей колоссальной памяти. Этому содействовало и то, что не было вопроса, которым он бы не интересовался. Он всё изучал, для него ничего не было нового и незнакомого. Во всём он всегда шел впереди общепризнанных авторитетов и специалистов, и буквально не было вопроса, к которому, даже самому, на первый взгляд, маленькому, он не относился бы с таким же интересом и с такой же теплотой, как и к самым коренным основам знания и веры. Ник. Федорович говорил: — Не надо забывать, что под книгою кроется человек... Уважайте же книгу из-за любви и почтения к человеку. — Тут крылась целая философская теория, и отношение его к книгам и библиотечному делу вытекало из его мировоззрения и взглядов на книги. По его взглядам, все книги одинаково ценны в библиотеке. Здесь не должно быть важных и неважных, любимых и презираемых, ходячих и вышедших из употребления. Он говорил, что "библиотека не гражданское общество, которое исключает умерших из своего списка. Она, как и церковь, не "юридическое учреждение". Книга — это постоянное звено между прошедшим, настоящим и будущим.

В горячих речах Николай Федорович выражал негодование веку дешевых фабрикатов и фальсификации за то, что, тратя тысячи на рекламы, этот век не стыдится выгадывать гроши на чернилах и бумаге, настолько теперь непрочных, что память об эпохе ненасытной наживы исчезает с изумительной быстротой.

— Уважение к книге фальшь, а презрение — действительность, — так характеризовал он отношение к книге в XIX веке.

Я не буду приводить примеров необыкновенного уважения Николая Федоровича к книгам и того разнообразия вопросов, в которых он мог руководить работать даже специалистов. Эти примеры я уже приводил в печати, хотя и не под своей фамилией. Здесь ограничусь приведением одного факта, свидетелем которого я был. В начале девятисотых годов ехала партия инженеров на изыскания Сибирского железнодорожного пути и, проезжая мимо Москвы, заглянули в Румянцевский Музей, конечно, для очистки совести, а вовсе не уверенные в возможности найти что-либо для себя новое и интересное. В подобных случаях, когда кто-нибудь обращался в библиотеку с просьбой указать книги, имеющиеся по известному вопросу, его неизмен-

но направляли к Николаю Федоровичу. К нему же привели и инженеров. После очень недолгого разговора инженеры услышали название такого описания Сибири, о котором раньше и не подозревали. А когда инженеры показали Николаю Федоровичу проект предполагавшегося пути, то Николай Федорович сразу заметил два упущения на карте: в одном месте была неверно показана высота горы, а в другом совсем пропущен большой ручей. Инженеры, хотя неуверенно, но все-таки поспорили и стояли за верность своей карты. Однако на возвратном пути, года через два, они прислали одного своего сочлена к Николаю Федоровичу засвидетельствовать ему свое уважение и сказать, что он был безусловно прав.

Обширные знания и беспримерная осведомленность в текущей литературе и в состоянии Румянцевской библиотеки, какими обладал Николай Федорович, давали возможность Музею ежегодно составлять такие требования на иностранные издания для пополнения библиотеки, которыми восхищались даже за границей. Однажды директор Дашков, будучи за границей, зашел в книжный магазин постоянного музейного поставщика. Когда в магазине узнали посетителя, то стали настойчиво упрашивать поскорее прислать списки новых изданий, необходимых для пополнения Библиотеки. Дашков очень заинтересовался побуждением, заставившим фирму просить об ускорении требования, и узнал, что по списку Румянцевского Музея фирма рассылает новые издания всем своим клиентам, среди которых главное место занимают университеты и другие ученые учреждения за границей.

Эти богатые знания были добыты Н.Ф. путем непрерывного тяжелого труда. Он начинал трудовой день со светом и со светом заканчивал его, иронизируя над современными заботами об установлении восьмичасового рабочего дня, или, как он выражался, "шестнадцатичасовой праздности", он всю жизнь только расширял свой труд. Первым придя в Музей, он подыскивал затребованные книги, рылся в каталогах и библиографических пособиях, бегом, несмотря на свои 70 лет, шагал он по библиотеке за книгами, пополнял свои знания и читал новые книги. Замечательно, что для чтения на дому он всегда подписывался в платных библиотеках, вносил ежемесячно там положен-

ную сумму и оттуда брал книги для себя: книги Румянцевской Библиотеки были для него неприкосновенны, и ими он пользовался только в помещении самой библиотеки.

Сам по себе больной старец, он не знал усталости за работой. Вот замечательный факт: начавши свой трудовой день, он ни разу во всю жизнь не садился до окончания своего рабочего дня. Когда же болезнь ног вынуждала его искать посторонней опоры, он позволял себе подставить к больной ноге стул. Другая нога в это время должна была продолжать свою службу стоя.

Всё это, и личный аскетизм, и беспримерное бескорыстие, и сверхурочный добровольный труд, и исключительная начитанность, лишь одна сторона в замечательной жизни Н.Ф. Правда, она самая заметная и всем доступная, а потому и самая популярная. Но рядом с этим Н.Ф. был и глубоким мыслителем, философские воззрения которого приводили в восторг и Достоевского, и В.С. Соловьева. Перед жизнью его, перед единством мысли и дела, которым всегда отличался Н.Ф., преклонялся и граф Л.Н. Толстой.

III

Николай Федорович уже давно стал определенной и яркой личностью. Его мировоззрение сложилось в стройную и законченную систему. Его жизнь не знала и не имела других форм, кроме строжайшего следования своим убеждениям, кроме полного и беспрекословного воплощения и осуществления руководящих взглядов его философии, воплощения во всем, до мелочей, суровости аскетической нищеты и самозабвения. Это был глубокий мыслитель, мудрость которого оправдывала себя не только в логической стройности системы, но и в высоте его взглядов и в безукоризненной чистоте его жизни... Его жизнь была точным зеркалом его убеждений. Достаточно было видеть Н.Ф. и наблюдать его жизнь, чтобы узнать его философию, оценить достоинство руководящих им идеалов и преклониться перед единством мысли в этом необыкновенном человеке, перед постоянным взаимодействием его убеждений и жизни. Всё в нём отображало его идеалы, вся жизнь его была неустанным служением им, и он не знал иных поступков, кроме тех, которые вызы-

вались его высокой моралью. "Святой старец" — вот общее признание, невольно создававшееся даже при поверхностном знакомстве с Н.Ф.

В это время граф Л.Н. Толстой только приступил к выработке своего собственного мировоззрения. Не обладая глубоким и разносторонним образованием, Толстой не испытал и жгучей, неодолимой потребности в коренной ломке всего строя своей жизни. Поэтому процесс выработки миросозерцания у него шел особым, рассудочным путем, без влияния на жизнь и без взаимодействия с ней и с таким слабым отражением идей в поступках, что весьма нередко жизнь его противоречила его словам и его учению. Процесс мысли и процесс воли у него не всегда совпадали, а иногда и резко противоречили друг другу.

Неудивительно, что в Н.Ф. Толстого прежде и больше всего поразили цельность личности и единство, неразрывность мысли и воли. Вот почему Толстой после первого же знакомства своего с Н.Ф. в 1881 году, записал в дневнике удивление Н.Ф. по поводу призыва Толстого к исполнению заповедей:

— "Исполнять? Это само собою разумеется".

В том же дневнике Толстой так передал первое свое впечатление: "Н.Ф. — святой. Каморка. Нет белья, нет постели. Не хочет жалованья".

Тогда же в одном из писем своих Толстой так охарактеризовал Н.Ф.: "Он по жизни самый чистый христианин. Когда я говорю ему об исполнении Христова учения, он говорит: "да это само собою разумеется", и я знаю, что он исполняет, всегда весел и кроток".

Своему другу А.А. Фету (Шеншину) Толстой говорил о Н.Ф.: "Я горжусь, что живу в одно время с подобным человеком". Эти отзывы чрезвычайно характерны для самого Толстого. Они обнаруживают, что Толстой в Н.Ф. прежде всего замечал и ценил то, что действовало на чувство — наружность и образ жизни Н.Ф.

Завязавшееся знакомство повлекло за собой частые и продолжительные, а иногда и очень горячие беседы в крохотной "каморке" Н.Ф. Сюда по вечерам, к гостеприимному хозяину собиралось иногда человек 4-6 гостей, среди которых были и Толстой и В.С. Соловьев. Разговоры обычно переходили в

споры. Центром их бесед и споров был, конечно, Н.Ф. Его глубокомысленная речь, рассыпавшиеся мысли, как водопад, брызги, его остроумные сближения и выводы, его беседы, поражали учёностью и образованностью решительно во всех отраслях знания такой удивительной осведомленностью во всем, что собеседники называли Н.Ф. энциклопедистом в самом широком смысле. И рядом с ним сейчас же, как на весах, обнаруживалось достоинство и внутренний вес его знакомых.

Н.Ф. очень скоро заметил, что Л.Н. Толстой не блестал ни широтой образования, ни глубиной мысли.

Сколько раз, занимаясь, собственным переводом Евангелия и выработкой своей веры, Толстой своими наивными вопросами, обращенными к Н.Ф., обнаруживал перед ним свою элементарную неосведомленность. Даже уже после того, как Толстой закончил печатание своих вероучительных и нравоучительных сочинений, был такой случай. Однажды Толстой пришел к Н.Ф. и с полной откровенностью обратился к нему с просьбою:

— Н.Ф., кто такой был Коперник? Говорят, у него была даже целая система. Правда ли это? Дайте мне что-нибудь почитать о нем...*

Надо было видеть Н.Ф. в такие минуты. От изумления он буквально замирал и несколько мгновений был недвижим. Однако и в такие минуты сознание долга и желание служить людям превозмогали все другие чувства, и Н.Ф. бегом бросался отыскивать нужные книги.

Н.Ф. в своей жизни не знал ни непоследовательности, ни компромиссов. Очень не одобрял он, когда замечал их и в других. Толстой в этом отношении давал ему богатую пищу для остроумия.

Проповедуя заповедь о мире с людьми и о прощении обид, Толстой старался дать пример в собственном поведении и выполнял эту заповедь самым примитивным и общепринятым способом. Пospорив, например с Н.Ф., даже поссорившись с ним вечером и уйдя от него в раздражении, он на другое утро сам приходил к Н.Ф. и искал примирения. Н.Ф. всегда шёл навстречу

* Мы не думаем, что этот рассказ-анекдот соответствует действительности. РЕД.

такому проявлению дружелюбия, но сам находил такое обнаружение любви и смирения весьма неглубоким, поверхностным и не достигающим цели. Он говорил: — "Мнимое примирение увековечивает вражду, скрывая ее. Такое учение и проповедует Толстой: поссорившись накануне, он идет мириться на другой день; он не только не предпринимает никаких мер к предупреждению столкновений, но, по-видимому, выискивает их, может быть, для того, чтобы потом заключить непрочный мир".

По поводу "животного критерия", Толстой говорил, что птица так устроена, что ей надо летать, клевать, ходить, соображать, и когда она всё это делает, тогда она удовлетворена, счастлива, тогда она птица.

Н.Ф. очень не одобрял этой философии и говорил: — Таково ново-языческое мудрование Толстого, достоинство которого выразится несравненно яснее, если мы возьмем вместо птицы свинью: свинья так устроена, что ей необходимо постоянно жрать, предаваться сладострастию, пожирать даже своих детей, поросят, и когда она всё это делает, она удовлетворена, счастлива, тогда она свинья...

Также непонятна была для Н.Ф. и непоследовательность Толстого в отношении к изображениям живописным и фотографическим: изображения, например, святых или иконы Толстой отвергал со всею силою своего отрицания, доходившего почти до ненависти, а свои собственные изображения не только допускал, но и содействовал их появлению и распространению, позируя и перед художниками и фотографами. По этому поводу Н.Ф. писал: "Наиболее почитаемое — наиболее ненавистно Толстому. Он ненавидит чтимые русским народом иконы, а наибольшую ненависть питает к иконе, которую наиболее почитают, — к иконе Иверской Божией Матери, называя ее даже злою, и, конечно, потому, что, признавая за собою только право на всеобщее почитание, он не хочет с кем-либо делить его; отсюда и то, что отвергая почитание икон, священных изображений, свои изображения, свои иконы Толстой распространяет повсюду, так что если бы собрать все разнообразные иконы Толстого, — а это и будет когда-либо сделано, получится громадный иконостас".

Уже после того как Толстой выработал свою веру, напечатав

свое сочинение "В чём моя вера" и осудив и отвергнув клятву и присягу, однажды он пришёл, совсем не в урочное время, к Н.Ф. в каталожную Румянцевского музея. Н.Ф. редко бывал один, и на этот раз с ним были его сослуживцы, и между ними Д.П. Лебедев. Неожиданное появление Толстого и какая-то торопливость в его приемах обратили на себя внимание. Толстой объяснил, что пришел за последними справками, так как уезжает в свой уездный город. — Зачем? — резко спросил удивленный Н.Ф. Толстой как всегда наивно и искренне ответил: — Вот прислали повестку, меня выбрали присяжным заседателем... должен ехать судить...

Н.Ф. не выдержал и засыпал его вопросами. — Как!.. вы отрицаете присягу, и едете присягать?.. Вы отвергаете суд, и будете судить?... — Как же мне быть?.. Ведь я не по своей воле... Меня заставляют. Полиция отобрала подписку, что я явлюсь... — пробовал отговориться Толстой, понимавший двусмысленность своего положения.

На выручку явился Лебедев, доставший свод законов и подыскавший статью, по которой налагался штраф за неисполнение обязанности присяжного заседателя. Толстой был очень рад узнать такой простой и легкий выход из своего затруднительного положения и, примирившись с мыслью уплатить штраф, ушел.

Через несколько дней после этого случая вся Россия читала телеграфные сообщения из Тульской губернии о том, что Толстой отказался исполнить обязанности присяжного заседателя, как противоречившие его вере.

Не останавливаясь далее на частных случаях, выясняющих отношение Н.Ф. к Толстому, я перейду к изложению границы в их мировоззрениях. Л.Н. Толстой отрицал способность разума достигнуть познания и не признавал способности воли проявиться в деле. Н.Ф., горячий проповедник бесконечных возможностей, сокрытых в разуме и воле человека, остроумно называл ученье Толстого призывом к недуманью и неделанию. Он предусмотрительно провидел, что отрицание практического разума неизбежно вело к наукоборству. Н.Ф. верил в силу ума и силу воли человека и всю жизнь свою отдал неустанному и добровольному труду, проповедуя всеобщий труд со всеми и для

всех... Естественно, что он не мог примириться с отрицанием того дела, которое он признавал единственным для всех, и резко осуждал всё учение Толстого. По его взгляду, Толстой не понял призыва к миру и, прикрываясь учением о непротивлении, — "этой самой злой насмешкой над христианством и над здравым смыслом", — обратился к призыву не платить податей, не исполнять воинской повинности, что порождает нестроения, восстания, вражду, т.е. прямо противоположные цели. "До сих пор, — писал Н.Ф., — неделание было теорией, но в забастовках оно переходит в дело и становится величайшим преступлением, ибо под неделанием, как и под непротивлением, скрывается восстание молодого против старого и господство худшего, нестесняющегося никакими средствами, над лучшими, желающим трудиться". Поэтому Н.Ф. часто называл Толстого "Яснополянским фарисеем" и даже высказал чрезвычайно оригинальный взгляд на него. "В Толстом, — писал он, — который был другом крепостника Фета до самой смерти последнего и восхищался произведением этого писателя "Из деревни", — в Толстом является мститель за отмену крепостного права: он жаждет разрушения государства и под маской крайнего либерализма призывает к отказу от воинской повинности, к неплатежу податей, без которых государство существовать не может..."

В итоге Николай Федорович считал всю философию Толстого лицемерием. По его словам, "обесценение жизни составляет основу философии Толстого, а лицемерие — вторую её основу. Лицемерие составляет силу Толстого, как это было и у фарисеев. Наш век в лице Толстого имеет такого представителя, какого он достоин и с которым он вместе лицемерит, будто бы не замечая того, что скрывается под проповедью непротивления".

Последний вывод всего учения Толстого приводил, по оценке Николая Федоровича, как раз к противоположному всему тому, что в начале и на словах ставилось целью. "Когда, говорил он, к требованию разъединения, этому требованию Толстого и вообще нашего времени, кроющемуся под вопросами о свободе мысли, о свободе совести, то есть о свободе бесконечных блужданий, создающей чрезвычайно множество философских учений, одно другое опровергающих, — если к требованию о разъединении присоединить еще требование Толстого об

объединении на недумание и неделание, прямым приложением которого было приглашение к забастовкам, обращенное к студентам, а наконец и ко всем, — к забастовкам, как "единственному средству спасения", как это говорится в заглавиях приглашения или прокламации, — тогда станет очевидным, что Толстой, сознательно или бессознательно, требует уничтожения труда как умственного, так и физического или механического, требует, следовательно, уничтожения разума, воли; и это согласно, конечно, с учением о нирване — уже не трансцендентной, а имманентной, т.е. самими создаваемой. А это и есть полное отрицание разума, воли, вообще — жизни. Вот явился, наконец, искупитель, спаситель, который хочет жизнью жизнь поправить и всем смерть даровать!"

Столь резкое расхождение в мировоззрениях, доходившее до взаимного исключения друг друга, делало самый разрыв между мыслителями уже только вопросом времени, но неизбежным. И этот разрыв между Ник. Фед. и Л.Н. Толстым, наконец, наступил, разрыв окончательный и бесповоротный, после которого и Толстой не пришел на другой день искать примирения.

Дело было в 1892 году.

Голодный 1891-й год Толстой провел среди голодающих, устраивая столовые и всячески помогая голодным пережить бедствие. Николай Федорович очень сочувствовал помощи голодающим, но не верил искренности Толстого и опасался того, что Толстой принесет в деревню не мир, а вражду. Но и Николай Федорович не ожидал, что Толстой открыто выступит с призывом к восстанию и междоусобию. А именно такой призыв к мятежу и междоусобию он усмотрел в известном письме Толстого о голоде, напечатанном в Лондоне. Тягчайшего преступления, чем братоубийство и призыв к нему, Николай Федорович не знал, и прочитав Лондонское письмо Толстого, Николай Федорович в ужасе выкинул автора его и из своего сердца и из своей памяти.

Вернувшись в Москву, Толстой поспешил зайти в Музей к Николаю Федоровичу.

Уже был четвертый час на исходе, и московские сумерки уже царили по залам и коридорам Музея. Солдаты уже затворили

большинство ставней, и Николай Федорович пригласил меня, остановившегося с ним в каталожной, закончить занятия и уходить. Едва мы повернули по коридору налево, как в глубине коридора я отчетливо увидел фигуру Толстого, торопившегося навстречу Николаю Федоровичу. Я передал Николаю Федоровичу свое наблюдение и сразу же был поражен неудовольствием, которого не скрыл Николай Федорович. Заложив руки за спину, он резко остановился, сказав:

— Что ему надо?

И сейчас же предупредил подходившего к нему Толстого вопросом:

— Что вам угодно?

— Подождите, — отвечал Толстой, — давайте сначала поздороваемся... Я так давно не видал вас.

— Я не могу подать вам руки... Между нами всё кончено...

Николай Федорович нервно держал руки за спиной, и, переходя с одной стороны коридора на другую, старался быть подальше от своего собеседника.

— Объясните, Николай Федорович, что всё это значит? — спрашивал Толстой, и в голосе его тоже послышались нервные нотки.

— Это ваше письмо напечатано в ...

— Да, моё.

— Неужели вы не сознаете, какими чувствами продиктовано оно и к чему призывает? Нет, с вами у меня нет ничего общего, и можете уходить.

Николай Федорович, мы старики, давайте хотя простимся...

Но Николай Федорович остался непреклонен, и Толстой с видимым раздражением повернулся и пошел...

Г. Георгиевский

С ИТАЛЬЯНСКОЙ АРМИЕЙ НА УКРАИНЕ

В Италии никто в войну не верил. Еще накануне ее объявления я убеждал профессора, у которого работал, что Италия в войну не вступит. И когда, через двадцать четыре часа после моих "доказательств", была объявлена война, слова моего профессора были: "Надеюсь, Муссолини знает, что он делает." Произнёс он это голосом, в котором было мало надежды.

В то время я только что получил итальянское подданство после шести лет ожидания. Я был вновь испечённым итальянцем и меня почти сразу же призвали на военную службу. Послали меня в Павию в военную школу, чтобы сделать из меня второго лейтенанта и телеграфиста. Ничего не вышло. Командовать я так и не научился за все шесть месяцев и, когда я во всё горло орал неправильную команду, часто слышал голос сержанта: "Бедная Италия!"

С телеграфированием было не лучше. После недели обучения нас, новых рекрутов, разделили на две группы. После месяца упражнений разделили еще раз. Я попал в третью группу и к концу курса был предпоследним в последней группе. Курс кончился. Я должен был купить себе саблю и научиться стоять с ней по команде "смирно." Саблю нужно было держать в левой руке, вытянутой вниз и повернуть так, чтобы она была почти параллельна шеренге. В детстве я сломал левую руку. Сросшись, кости стали чуть толще, чем им следовало быть, и при повороте руки не совпадали одна с другой как следует. Поэтому я мог скрутить руку только на девяносто градусов, а не на все сто

восемьдесят. По команде "смирно" все сабли шеренги послушно поворачивались налево и вниз, только одна торчала вперёд. Это была моя.

Сержант был в отчаянии. Что делать на параде, завершавшим наш курс? Он даже нашел мне место в ряду, которое он мог защитить своим телом от строгого взгляда полковника. Но война спасла его. Оказалось, что в военное время на параде сабли не требуются, а только ружья.

По окончании курса я был послан в Рим в военные радиотелеграфные мастерские. Так я начал свою военную карьеру. Напротив меня, за таким же большим столом сидел такой же как и я второй лейтенант. Мы были представлены друг другу, но ни я не понял его имени, ни он моего.

Просидев тут две недели за пустым столом, я получил наконец занятие. Я был включён в группу, которой было поручено испытание и оценка новых типов полевых радиостанций. Группа состояла из майора, лейтенанта и меня, — второго лейтенанта. Во время испытаний станций первые двое оставались вблизи Рима с инженером фирмы, поставляющей станцию, и с одной станцией подвергавшейся испытанию. Мне фирмой был дан лимузин с шофёром и отличный техник, хорошо знающий испытываемые аппараты.

Техник оказался весёлым и остроумным парнем. У него были даже свои философские воззрения. Например, он утверждал что глупость человеческая создана Богом для того, чтобы дать людям хороший пример бесконечности. Как-то раз, прислушиваясь к патристическому разговору в таверне, где один из говорящих убеждал других, что войну с Англией очень просто выиграть, бросая на английские города и флот большие бомбы с итальянских аэропланов, мой техник спросил: "А что вы думаете, англичане будут бросать на нас конфеты?"

Со второй станцией и этим техником я ездил по окрестностям Рима, стараясь установить радиосвязь с первой группой. Станцию мы ставили в разных местах, чтобы проверить её работу в разных условиях.

Когда станция была готова, мне удалось почти сразу же установить связь. На другом конце я слышал голос лейтенанта, который сказал, что слышит меня очень хорошо. Не слыша

майора, я спросил лейтенанта, почему говорит только он, а не майор? "Майор не вернулся ещё с обеда", — был ответ.

Дня через три, мы снова поехали со станцией. В этот раз заехали гораздо дальше от Рима. Связь не удавалась. Было глупо, что до полудня мы не нашли подходящего высокого холма, с вершины которого мы наверное установили бы связь.

Вдруг, на вершине очень высокого холма, мы заметили дорогу. Минут двадцать прошло, прежде чем мы нашли как туда проехать. На вершине холма мы увидали забор из колючей проволоки. У ворот стоял солдат, вытянувшись, точно проглотил аршин. Он держал ружьё на караул.

Пока автомобиль останавливался, я с удивлением спросил техника: "Почему он так стоит?"

"Наверно на солнце был слишком долго", — ответил тот.

Я вышел из автомобиля и, подойдя к окаменевшему часовому, дал команду: "вольно." Команда позволяла солдату принять более удобное положение, но он не пошевелился. Пока я соображал, в чем тут дело, из автомобиля, кряхтя, вылезли шофёр и техник. Подойдя к часовому, техник сказал ему голосом, каким говорят с больными: "Успокойся, успокойся, больше никого там нет."

Солдат покосился на автомобиль. И увидев, что в нём никого не осталось, вдруг размяк, опустил ружьё и смущенно сказал: "Я думал, что приехал генерал."

"Почему же только генерал, а не маршал?" — передразнил его техник.

Через сто метров, объехав самую вершину холма, дорога круто повернула направо. За поворотом стояла вся рота на вытяжку и отдавала нам честь. Капитан — впереди, держа руку у козырька. Я выскочил из автомобиля, ответил на приветствие капитана и спросил, что это значит.

"Генерал приехал?", — спросил неуверенным голосом капитан.

"Какой генерал?"

Капитан вдруг обозлился: "Мы ждём генерала, который должен произвести смотр нашей батареи, а тут ты приехал. Кто ты такой?"

Я стал объяснять.

“Покажи документы от твоего начальства.”

Документов у меня не было.

“Я тебя арестую, ты знаешь — теперь война, ты может быть английский шпион?!”

Нас арестовали, меня отвели на балкон рядом стоявшего домика, а моих товарищей куда-то в другое место. Со мной на балконе остались два лейтенанта. Они дружественно, но очень подробно расспросили меня, кто я такой и зачем пожаловал. Я понял, что заехал в зенитную батарею.

Разузнав от меня, что им было нужно, один ушёл, а другой остался болтать. Рассказал, что батарея ждёт генерала. И часовой, увидя роскошный чёрный автомобиль, решил, что это генерал, и дал знать капитану.

Настоящий генерал приехал через четверть часа после меня в маленьком автомобиле и уехал, не подозревая, что на балконе сидит “шпион”. Ему ничего не сказали. Через час, лейтенант вернулся и сказал, что полевой телефон испорчен и с Римом договориться ему не удалось, но что он оставил у телефона капрала, чтобы тот дождался соединения.

Через пять часов телефон наладили с римскими военными властями, договорились и нас всех отпустили.

Война в это время была довольно странная. На французском фронте французов уже не было. Франция сдалась Германии, так что Италия воевала только в Африке с Англией. Войск там с обеих сторон было немного и снабжение недостаточное. Обеим странам было почти невозможно снабжать войска на большом расстоянии. Благодаря этому, когда Италия решила начать наступление от Бенгази, английские войска уселись на грузовики и уехали на восток. Они так быстро ехали по мокрому песку пляжа северного побережья Африки, что, вероятно, даже чайки удивлялись лёгкости их движения. Итальянцы запыхались гнаться за ними и отстали. Попасть в Африку и воевать с англичанами мне казалось нелепым; да и беготня по песку становилась всё более опасной.

Когда началась война с Россией, я подал прошение об отправке меня на русский фронт. Россия была моя страна и я хотел знать, что там на самом деле происходит. Через два дня я получил известие, что назначен в полк, посылаемый в Россию,

как переводчик. Положение у меня было трудное, потому что семья, моя жена и сын, оказались без денежного вспомоществования в течение двух или трёх месяцев. А я поехал в Румынию, так как полк был уже там.

Перед отъездом мы с женой сговорились о способе шифровать письма так, чтоб ничего не говорящее цензуре письмо, говорило мне то, что надо.

Из Италии поездом я доехал до румынского города Плоешти и оттуда, попросившись на грузовик автомобильного отряда, поехал в Батосани, где стояла дивизия. Дорога шла через Карпатские горы. Многого я видеть не мог, потому что ехали ночью, но что запомнилось, это две ярких звезды, Юпитер и Марс, горевшие всё время перед нами. В Батосани я легко нашёл штаб дивизии. Там мне сказали, что я назначен в штаб 81 полка.

"А как найти этот штаб? Батосани ведь очень большой город", — спросил я.

"Сейчас по городу проходят мулы 81 полка — спросите кого-нибудь."

Ни погонщики, ни мулы не знали, где находится штаб, и мне пришлось долго его искать. Штаб полка помещался в маленьком домике с верандой, заросшей диким виноградом. С веранды я вошёл в комнату, где стоял накрытый стол. Меня встретил довольно толстый лейтенант. Ему я сказал, что назначен переводчиком в их полк. Он пригласил меня обедать, но как только я проглотил первую вилку макарон, меня вызвали к полковнику.

Когда я рассказал ему всё, полковник ответил: "У нас уже есть переводчик, мне второго не нужно."

Я был сбит с толку. Выйдя от полковника и попав в столовую, где на столе всё ещё стояла моя, полная макарон тарелка, я обернулся к сидевшим за столом, поднёс руку к козырьку и вышел. На улице я пошёл в неправильном направлении, намереваясь вернуться в дивизионный штаб. Но вдруг услышал быстрые шаги. Кто-то звал меня по имени. Обернувшись, увидел толстого запыхавшегося лейтенанта и с ним солдата.

"Господин полковник велел мне позвать тебя назад", — сказал он.

Увидя меня, полковник просил показать бумаги о моём назначении в полк. Бумаг у меня не было.

“Кто вас прислал сюда?”

Я назвал имя полковника дивизионного штаба.

“Почему же вы пришли без провожатого? Вы не могли знать, как сюда пройти.”

“Я не знал, но и в дивизии тоже никто не знал и мне советовали идти за мулами.”

Полковник подумал и, обратясь к толстому лейтенанту, приказал взять грузовик и вместе со мной ехать в штаб дивизии. В дивизионном штабе всё выяснилось. Бумаги о моём назначении были посланы в полк, но где-то застряли. Мой спутник, лейтенант повеселел, полковник подобрел и меня накормили сохранным для меня обедом. С тех пор всё пошло гладко. Я стал переводчиком при капитане, который снабжал полк провиантом. В Бессарабии мы ездили по сёлам, покупая коров на убой, мёд и вообще всё, что можно было купить съедобного.

Многие люди не понимали меня и капитан стал немножко подозрительно относиться к моим способностям переводчика. В его голову никак не входило то, что молдаване не русские.

Уже в Бессарабии начались жалобы на солдат. Когда же перешли в настоящую Россию, которую наши героические войска считали побеждённой страной, этим жалобам не стало конца. Все жалобы стекались ко мне, потому что население скоро узнавало, что со мной можно было говорить. Абсолютное большинство жалоб было на воровство. Больше всего воровали кур и часы, но также и бабьи платки, скатерти, простыни, иконы, дробовые ружья, овчинные выделанные кожи, одним словом всё, что можно было унести.

В детстве я видел и испытал воровство красной армии, петлюровцев и др. Не лучше оказались солдаты и в особенности офицеры “просвещенного Запада”. Мне редко удавалось помочь и всё же население шло ко мне, думая, что непонимание было причиной обид и что справедливость где-то существует. Все мои попытки дойти до этой справедливости, встречали полное неодобрение у низших чинов и полное равнодушие у высших. За курами бегали с ружьями вдвоём, втроём, рискуя

подстрелить друг друга.

Как-то на стоянке я отошёл от полка и, пройдя по деревне, хотел вернуться через поле. Я подходил к двум большим стогам сена, как вдруг за ними раздались выстрелы. Одна пуля пролетела где-то близко от меня, её хорошо было слышно. Вслед за этим из-за стогов выпорхнула курица и, кудахтая, понеслась полуполётом по полю. За ней появился солдат с ружьём. Увидев меня, он наскоро отдал честь и бросился за курицей, но та была уже далеко. "Пора научиться отличать лейтенанта итальянской армии от курицы", — заорал я ему вслед.

Другой раз, сидя у своей палатки, я вдруг услышал вблизи отчаянную стрельбу. Стреляло, по крайней мере, два пулемёта и очень много ружей. Никаких врагов не было на сотни километров. Удивлённый, я пошёл по направлению стрельбы. Не успел я дойти до места, где она происходила, как она стихла так же внезапно, как началась. Идя по прямой линии, я скоро дошёл до большого искусственного пруда, сделанного местным колхозом для разведения гусей и уток. На поверхности его плавали триста или четыреста убитых птиц. Какая-то женщина почти истерически пыталась говорить что-то майору, шедшему от пруда с ружьём. "Нипуниваю", — отвечал он, улыбаясь. Оказалось, что штаб полка устроил охоту на "буйволов" в американском стиле.

Поход продолжался. Дня через три вдруг полк остановился. Меня вызвали в отряд, шедший впереди полка. Лейтенант, командир взвода стоял перед стариком, старавшимся что-то ему объяснить. Подойдя ближе, я понял, что старик остерегал нас не идти прямо по дороге, а свернуть в поле и обойти место, где канава по трубе пересекала дорогу. Он говорил, что дорога над трубой минирована, и хотел показать, где заложены мины. Лейтенант, старик и я медленно пошли вперёд.

"Он, чего доброго, хочет, чтобы наши автомобили в поле завязли?", — полувопросительно сказал командир взвода.

Пройдя ещё шагов десять, старик остановился и палкой осторожно показал на дорогу. Ветер сдул пыль с дороги в этом месте и обнажил маленькую часть какого-то металлического предмета. Оглянувшись, я заметил, что метрах в пяти поверхность дороги была не совсем нормального вида. Взяв

тонкую ветку с листьями, я осторожно стал смахивать пыль с того места. Обнажился металлический предмет, такого же цвета, как первый. К нам присоединился наш полковник. Я рассказал в чём дело. "Это могут быть мины, — произнёс он и прибавил, — надо позвать сапёров."

Сапёр положил поверх подозреваемой мины маленькую ручную гранату, вынув из неё оба предохранителя, и отойдя шагов на десять, выстрелил в неё из ружья. Огромный столб земли, взлетевший вверх, показал, что загадочный предмет был противотанковой миной.

В будущем мне было поручено ехать впереди полка и собирать сведения о минах, если такие будут попадаться. Я сел в автомобиль и как только мы тронулись, сказал шофёру, чтобы он как можно точнее вёл машину, чтобы оба её колеса катились по наезженным телегами колеям. Так ехали мы около десяти дней. Во многих местах население предупреждало меня, что дорога минирована; иногда я сам догадывался об этом, заметив что колеи, по которым мы катили наши передние колёса сворачивали в поле. Доехав до подозрительного места, мы вылезали из машины и, смотря куда ступаем, шли вперед пока нам не удавалось достоверно установить присутствие мин. Найдя одну или две, мы втыкали в дорогу палки около мин и, написав на дорожной пыли "мины" в трёх или четырёх местах, продолжали путь.

Почти каждый день, через час или больше после нашего проезда мимо минированного места, со стороны тыла, доносился глухой гром. Это солдаты нарывались на мину. Происходило это так: сапёры почти никогда не вызывались, чтобы обезвредить все мины найденного минированного места и полк просто обходил мною поставленные палки. Постепенно палки расшатывались и падали или выдёргивались солдатами для их всевозможных нужд. Невидимые мины опять дожидались неудачника. За десять дней мы потеряли шесть человек, двух мулов и одну маленькую пушку.

Как-то раз вечером в офицерской столовой, я узнал, что на следующий день полк выступит в поход не рано утром, как обыкновенно, но только после обеда — около полудня. Я решил воспользоваться этой долгой стоянкой и хорошеньковымыться,

ибо погода была всё время жаркой и вымыться давно было нужно. У меня были две фляжки для воды, у моего денщика тоже две, да я занял одну в соседней палатке. Я попросил денщика налить все пять фляжек с тем, чтобы завтра, как только станет тепло, я мог бы хорошенько вымыться. Утром я спросил денщика, наполнил ли он фляжки, и, получив положительный ответ, уселся среди кукурузы перед палаткой, ожидая, пока солнце согреет утренний воздух.

Когда стало тепло, я разделся и, взяв одну фляжку, облил себя и хорошо намылился. Затем, чтобы смыть мыло, взял другую. Но она была пуста, такими же оказались третья, четвёртая и пятая. Я был зол. Внизу у дороги, где был колодец, я увидел длинную очередь солдат, ожидающих очереди, чтоб получить воду. Но как я не злился, я был совершенно беспомощен. Я понимал, что редко можно найти что-либо смешнее, чем голый, злой, намыленный лейтенант среди кукурузного поля. Только через полтора часа, очередь у колодца почти исчезла. Неизвестно откуда выскочил мой денщик и, схватив все пять фляжек, помчался к колодцу.

Мой дурацкий денщик был не так виноват, как казалось. Накануне, исполняя мое желание, он пошёл к колодцу, чтобы наполнить пять фляжек, но когда наполнил только одну, пришли три высших офицера, чтобы побриться. Ему пришлось уступить. А так как бритьё продолжалось слишком долго, он с фляжками вернулся к палатке и потом забыл о них. Только когда, придя случайно к палатке, он увидел, что я намылил всего себя и видя бесконечную очередь у колодца, он решил исчезнуть.

В то время к нам на обед в штабе полка стала часто присоединяться какая-то очень надоедливая группа. Она состояла из генерала, полковника, подполковника, лейтенанта и второго лейтенанта. Каково было их назначение никому не было известно. Они назывались группой связи между полком и штабом дивизии. Но такая связь существовала и без них, так что их функция никому не была ясна. Они были очень разговорчивы, развязны и шумны. Наш полковник посадил их за отдельный стол, но и оттуда они своим смехом и перекликиванием мешали всем. Их любимой темой были их воображаемые будущие любовные похождения и успех у голодных комсомолок. Я

зился, но приходилось слушать. Мы, низшие офицеры, считали их просто бездельниками, которые очень хорошо спрятались от военных опасностей. Никто из нас тогда не мог себе представить, что не пройдет и шести месяцев, как все они, за исключением одного, будут убиты.

Наш поход кончился. Мы подходили к Днепру. Однажды движение полка продолжалось несмотря на наступающую ночь. Ночь была безлунная, небо облачное. Было почти совершенно темно. Дорога медленно поднималась вверх и поэтому первые десять-пятнадцать метров её можно было отличить от черноты окружающего поля. Но вот дорога стала положе и почти перестала быть видной. Перед нами открылась чёрная ночь. Мы остановились. Далеко, далеко налево, в расстоянии восьми-двенадцати километров, был виден пожар, два других, поменьше, горели перед нами.

"Стоило идти полтора месяца по пыли и жаре, чтобы прийти сюда", подумал я.

Перед нами был фронт.

От русских нас отделял Днепр, но в темноте реки не было видно. Дорога шла вниз. Мы прошли ещё километр и остановились среди садов большой деревни. Было уже светло, когда мы кончили ставить палатки.

На Днепре

На следующий день мой капитан снабжения вызвал меня. Он сказал, что немецкие власти ему советовали обращаться к старосте села по поводу снабжения полка. Немцы везде назначали старост, посредством коих проводили в занятых сёлах мероприятия, какие находили нужными. Старост они выбирали без особого разбора, так что многие из них были бывшие коммунисты к большому недоумению населения.

Мы с капитаном нашли старосту и спросили, может ли он поставлять мясо и хлеб для полка. Немцы, стоявшие до нас в этом селе, перед отходом, сказали капитану, что староста поставлял им всё что было нужно, но ответ старосты был совсем иным. Пшеница в зерне у него была; её как раз начали собирать, но молоть её он не мог, потому что мельница была взорвана советскими перед отходом. Он мог дать четырнадцать голов

скота, если мы дадим удостоверение с печатью полка, что скот реквизирован итальянцами. Больше скота у него не было. Этого скота нам могло хватить на неделю, а мы ожидали, что будем стоять здесь, по крайней мере, месяц. Капитан начал кричать, он был уверен, что староста его обманывает. У итальянцев была мания, что их недостаточно уважают и недостаточно боятся. Очевидно кто-то врал, но кто? Капитан начал грозить, что будет брать частный не колхозный скот. Староста ответил, что это немецкими властями запрещено и что он, староста, этого делать не смеет.

Ответ на вопрос "кто врал", я понял позднее. Дело было в том, что наш полк в четыре тысячи человек, был поставлен на часть фронта, которую прежде держала одна немецкая рота, т.е. сто пятьдесят человек. Эта рота была вооружена до зубов, моторизована и умела драться, и её хватало, тем более что враждующие войска разделял Днепр. Староста мог снабжать сто пятьдесят человек, но не четыре тысячи. Во время разговора со старостой, я этих, чисто военных сведений не имел, но стал на сторону старосты, решив, что немцы просто ввали капитану, чтоб он не надоедал. В то время немцы часто хвастали и ввали, потому что им самим ввали их старшие. Например, говорили, что скоро их автомобили будут употреблять воду вместо бензина. Это враньё имело научное начало и всё же было совершенным враньём. Колхозный скот был эвакуирован красной армией, но в некоторых сёлах, по ошибке, оставалось несколько голов. В областях, лежащих на запад от Днепра, которые германские власти рассматривали как часть Германии, частный скот не подлежал конфискации.

Чтобы кончить бесполезный спор, я спросил старосту, где мне взять человека, который знал бы, где можно искать колхозный скот. Староста вызвал молодого парня и я с ним договорился поехать завтра в поисках колхозного скота.

Мы встретились с ним рано утром. Он приехал на телеге, запряжённой одной лошадёнкой. Поехали по главной дороге в направлении Днепра. Он рассказал мне, что он был в красной армии и что очень добросовестно отступал с ней от самой Румынии, а вот как дошел до родного села, "задержался" и через Днепр не пошёл.

Проехав около двух километров, я увидел огромный советский танк, стоявший посередине дороги. Его никто не пытался сдвинуть, а просто объезжали справа и слева. У танка не было видно никакого повреждения. Из любопытства я соскочил с телеги, чтобы найти, что разрушило его. Ничего ненормального не было видно, только спереди, где броня особенно толста, виднелась будто проплавленная труба, не больше как в четыре сантиметра диаметром. Я и сейчас не знаю, что могло прожечь такое отверстие в броне и была ли эта оплавленная дыра смертельной раной танка. Заглянув в полуприподнятую стальную заслонку, через которую водитель смотрит на дорогу, я увидел водителя. Он сидел на своём месте и обе руки его были на механизме управления, который он держал своими желтыми пальцами. Кожа плотно обтягивала кости суставов. Голова его была слегка наклонена вперёд. На подбородке небритая борода. Исподлобья его пустые глаза смотрели навстречу идущему врагу.

Скоро мы свернули с главной дороги и, проехав ещё километров пять, добрались до деревни, которую искали. Мой возница был прав, и я сговорился со старостой, чтобы он пригнал нам несколько голов скота.

Я часто ездил с моим провожатым, но под конец месяца, находить скот становилось все труднее и труднее. Один раз мы уехали с ним так далеко, что выехали из района нашей дивизии и попали к венгерцам, которые нас, конечно, арестовали. Я начал привыкать к арестам. В них была своя прелесть: меня всегда хорошо угощали сигаретами.

Не больше как через час, венгерцы меня отпустили, посоветовав держаться своей дивизии и не подъезжать так близко к Днепру, но коров я так и не достал. На обратном пути, мой проводник сказал: "Я знаю, где много скота можно найти, только туда проехать нельзя." — "Где же это?", спросил я. "В деревне, что лежит прямо под вашим полком, у самого берега Днепра, километрах в шести от нас. Эта деревня со всех сторон окружена бахчой, так что с какой стороны не иди, нужно пройти три или четыре километра по открытому полю, видимому как на ладони с другого берега. Днём по этому полю идти опасно из-за снайперов и пушек, а ночью опасно подходить к селу. Селяне

могут убить и сказать, что убили по ошибке, думая, что русские переплыли Днепр. Кроме того, ночью русские отряды часто переплывают Днепр и входят в село.”

Приехав в полк, я рассказал обо всём капитану. В это время полк был совсем без мяса.

”Сколько солдат вам нужно?” — спросил он.

”Одного солдата на двух коров.”

”Хорошо, берите четырех солдат.”

Я рассчитывал пройти в деревню засветло и взяв коров, повести их назад, когда будет темно. До заката оставалось часа два.

Взяв четырёх солдат из полкового штаба, я с ними пошёл к Днепру. Два или три километра прошли лесом и кустами, и наконец дошли до бахчи. За три километра стояла деревня. Мы разошлись шагов на пятьдесят друг от друга и пошли под гору у деревни. Мои солдаты чуть не плакали, что приходилось проходить мимо больших, зрелых арбузов. Когда мы были за один километр от села, пушечный снаряд упал в село на перекрёсток двух улиц. Мы остановились.

”Что это? Они по нас стреляют?”, — спросили солдаты.

”Не думаю, — ответил я. Не могут же они промахнуться на целый километр”.

Подождав, мы пошли дальше. Не прошло и одной минуты, как второй снаряд упал недалеко от села, метрах в двухстах от первого. Мы опять остановились. Наконец, убедившись, что стрельба была совсем случайной, пошли дальше и без приключений вошли в село.

В селе старосты не было. Вместо него была женщина лет пятидесяти. Она из приречных зарослей выгнала восемь коров и, получив расписку, сказала, что мы должны вести коров сами, потому что никто нам помогать не будет.

Стало темно и жители начали выходить из подвалов. Узнав, что я говорю по-русски, одна женщина стала просить меня помочь. Её шестнадцатилетний сын был прострелен в грудь пулей. Пуля, кажется, ничего серьёзного не задела, но прошла близко от спинного хребта и вызвала паралич, так что он не мог делать своих нужд. У него был вздутый огромный, твёрдый живот и жар.

Я посоветовал доставить его к нам в госпиталь, обещая поговорить с военным врачом. Я назначил, где их встречу вечером, потому что иначе их могли подстрелить наши солдаты. Доктор смог оказать временную помощь больному и сказал, чтобы его принесли через два-три дня.

Увидев меня, лейтенант-медик сказал: "Не знаешь, что делать с такими больными. Моей помощи хватит на три дня и потом опять на три дня, но если он не попадёт в настоящий госпиталь он же умрет, а жаль, пуля прошла довольно далеко от хребта, так что в хорошем госпитале он наверное выздоровел бы.

Через день-два, мой капитан опять вызвал меня. В этот раз ему нужен был не скот, а кислород. Командир нашей автомобильной роты должен был срочно починить несколько грузовиков, а у него не было кислорода для сварки. Я должен был доставить кислород. Я позвал парнишку с рыжей лошадкой. Тот сказал мне, что кислорода в селе нет, но можно попробовать поехать на железопрокатный завод в Днепропетровске. Он весь разбит и его часто обстреливают, но в его развалинах возможно осталось несколько кислородных баллонов. Я хотел ехать сразу же.

"Сейчас завод как раз под обстрелом — слышите?, — сказал мой проводник, — лучше подождать."

Я настаивал и мы уговорилась подождать, когда подъедем ближе к заводу.

Во время поездки, длившейся около часа, он рассказал мне, что завод расположен на берегу Днепра и, что как раз в этом месте отряд СС переправился через Днепр и укрепился на противоположном берегу и что поэтому советская артиллерия обстреливает завод по два или три часа каждый день. Было непонятно, почему советские обстреливают уже разрушенный завод, а не СС, сидящих на другом берегу.

Шум становился всё ближе и ближе. Это далеко не был "ураганный огонь". Снаряды пролетали приблизительно один в минуту.

Найдя группу деревьев на границе города, мы остановились. До завода оставалось около километра.

"Они стреляют, обыкновенно, два или три часа, — сказал

возница, — полтора часа прошло, наверно скоро кончат.”

Мы закурили и стали ждать. Из-за угла показался маленький немецкий солдат. Он выглядел странно и ходил странно. Казалось, он был не совсем уверен, что во время ходьбы следует сгибать ноги в шиколотке и поэтому смешно переваливался с одной ноги на другую. В руках у него был котелок, покрытый крышкой. Увидя нас, он остановился и, дружески поздоровавшись, объяснил, что ходил за кофе в кухню, потому что за Днепром кухни нет. Прибавил, что стрельба это большое свинство, но их группа осталась без кофе, вот почему пришлось за ним идти и, улыбнувшись, быстро, по-утиному, заковылял к заводу и скрылся в его развалинах.

Не больше как через полчаса, стрельба кончилась. Только в северную часть завода изредка, каждые десять минут, продолжали лететь очень большие снаряды. Мы поехали к заводу. Оставя лошадку с телегой спрятанной за домами, направились к заводу пешком.

По дороге подбежала к нам женщина в совершенно невменяемом состоянии, так что мы не сразу поняли её. Когда обстрел прекратился, она оставила трехлетнего сына в подвале и побежала к какой-то знакомой за крупой, чтобы сварить ему кашу. За это время он вылез из подвала в кухню, влез на стол, упал со стола в окно и стеклом распорол себе живот так, что все кишки вывалились наружу. Она просила нас помочь. Мы помочь не могли: 1) я был послан за кислородом, а не за больными детьми, 2) везти ребёнка на телеге восемь вёрст, было делом безнадежным, 3) наш полковой доктор серьезных операций не делал, он или пересылал тяжелораненых дальше или звал капеллана. В случае ран в живот, всегда звал капеллана. К нашему счастью женщина, видя что с нас толку не будет, побежала дальше.

Дорога вся была засыпана разорванными снарядами так, что мостовой было не видно. Наконец мы добрались до завода и через обрушившуюся стену, забрались в него. Взорванный при отступлении, разбитый ежедневным артиллерийским огнём, завод представлял из себя абсолютный хаос. Крыши и полов не было, стен тоже. Всё это лежало, перемешавшись с частями машин. Прокатные вальцы, брошенные кверху, висели на

выбитых из бетона прутьях арматуры.

Два часа мы рылись в этих развалинах. К счастью, мой проводник знал, что кислородные баллоны имеют красные крышки, а баллоны с углекислотой синие. Последних было очень много, ибо их употребляли для приготовления лимонада в столовой. Кислородных баллонов было очень мало и за два часа, мы нашли только три.

Наконец решили ехать назад. Три баллона было больше, чем ничего, а в крайнем случае, завтра можно было вернуться сюда опять. Когда я их отдал командиру автороты, он был очень доволен.

На следующий день работы у меня не было и только около двенадцати часов дня, я вылез из палатки и пошёл на обед. Моя дорога проходила мимо автомобильной роты. Ко мне подошёл её командир первый лейтенант и, похлопав меня покровительственно по плечу, сказал: "Мои молодцы решили сами съездить в Днепропетровск и, посмотри, они привезли целый грузовик баллонов, а не три как ты привёз".

С удивлением я спросил, где они их нашли.

"Просто на улице, в городе."

Я начал понимать. Подойдя ближе к грузовику, я ясно увидел, что у всех баллонов крышки были синие, т.е. баллоны содержали углекислый газ, годный для лимонада, но не для сварки.

Я повеселел, но не показал этого и, пожелав моему собеседнику удачной сварки, пошёл на обед. Минут через двадцать пришёл на обед командир автомобильной роты. Подойдя ко мне он спросил:

"Ты небось знал?"

"А что, как сварка?"

"Почему же ты не сказал мне сразу?" — спросил он.

Я объяснил, что мне жаль было нарушать его счастье и прибавил, что он так и так бы мне не поверил.

Чувствовалось, что мы недолго будем стоять здесь. Отряды военной полиции и группа снабжения были как-то всеми забыты. Молодые офицеры тактического командования полка, ходили с таинственными физиономиями, более старшие офицеры с

озабоченными. Вдоль главной дороги вытянулись длинной веренищей немецкие танки.

После обеда меня позвал наш майор. Он был старый вояка, участвовавший, как он говорил, в первой мировой войне. Он не любил немцев, русских, фашистов и "теперешних солдат." Он очень гордо рассказывал, как во время первой мировой, он две недели жил в одном доме с австрийцами. Дом стоял на горной дороге, которая, круто поднимаясь, образовывала петлю вокруг дома. Дорога проходила сначала на уровне первого этажа дома, а после петли мимо второго этажа. Австрийский отряд жил в первом этаже, а итальянский во втором. При удобном случае они стреляли друг в друга. Мне он казался просто глупым.

Когда я подошёл к этому герою первой мировой войны, он заявил, что ему нужны восемь телег с восьмью лошадьми. К вечеру я должен их доставить.

Задача была лёгкая: достать их было нельзя. За месяц нашей стоянки, кроме рыжей кобылки, на которой возил меня мой русский "задержавшийся" проводник, я не видел ни одной лошади. На всякий случай я побежал к старосте. Как я и ожидал, рыжая кобылка была единственным представителем лошадиного рода в селе. На эту кобылку староста возлагал все свои надежды, привезти хоть сколько-нибудь яровой пшеницы с полей. Дать её мне он совершенно не мог. Услышав это, я посоветовал старосте спрятать рыжую редкость так, чтобы сам чёрт не мог её найти и выдумать какую угодно историю о её пропаже.

"Не найдут, — ответил староста, хитро смотря мне в глаза, но затем прибавил, — всех моих лошадей забрали два немецких капитана. Они занимаются агрикультурой за восемь километров отсюда. У них двенадцать моих лошадей, да наверно и ещё какие есть."

Я быстро вернулся к майору и рассказал, где можно достать лошадей. Мне нужен был автомобиль, ибо солнце уже заходило.

"Берите автомобиль, шофёра и четырёх солдат. Скажите немцам, что лошади нужны итальянскому командованию", — приказал майор.

Я и солдаты вскочили в машину и мы поехали. Приехав, я увидел колхозный дом. Всё хозяйство вокруг него было в

блестящем порядке. Несколько женщин работали на поле граблями. Один русский ехал куда-то на советском тракторе, другие двое разгружали мешки с телеги и т.д.

Я подошёл к двери дома и постучал. Изнутри раздался голос. Что он крикнул, понять было нельзя, но я принял это за разрешение войти. Два моих солдата, испуганные тоном голоса за жизнь своего лейтенанта, последовали за мной. Двое остались снаружи.

Немец зло уставился на меня. Я гордо произнёс магические слова майора о военном командовании и лошадях, как мне было велено. Эффект был совсем не магический.

“Никаких лошадей”, — крикнул немец.

Я начал объяснять, но в ответ немецкий капитан заорал: “Никаких лошадей!” так, как будто тяжёлый утюг упал ему на мозоль. Дверь в соседнюю комнату отворилась и из неё выскочил другой капитан. Не обращая на меня никакого внимания, он спросил у первого, в чём дело. Получив ответ, он отрицательно повертел головой и, не сказав ни слова, исчез за дверью.

Приехав в полк, я, при солдатах, рассказал всё майору. Тот начал орать: “Ты настоящий штабной офицер фашистского воспитания! Тебе велено было достать лошадей, ты должен их достать!”

“Что же мне войну с Гитлером начать? — огрызнулся я. Но тут осенила меня мысль. — Дадите мне восемь солдат и грузовик ночью?” — спросил я майора.

“Берите солдат сколько хотите, сегодня к полночи мне нужны восемь подвод!”

Когда совсем стемнело, мои восемь солдат и я поехали к немецкому колхозу. Мы остановились за километр до него и пошли пешком к конюшне. Перед конюшней стоял русский парень. Я послал четырёх солдат за конюшню, чтобы не позволить никому из конюшни убежать. Я разрешил им стрелять только в ответ.

Вытащив мою большую пистолю, которую в этот раз нарочно взял с собою, я подошёл в темноте почти вплотную к сторожу. Я сказал ему, что рисковать своей шкурой не стоит из-за немецких лошадей. Нас девять вооруженных человек, а их

только три или четыре и без оружия.

Он согласился тревоги не поднимать. Вместе с ним я вошёл в конюшню и выпустил четырех солдат, которые были перед конюшней. Разбудив остальных четырёх конюхов, которые спали в конюшне, я попросил их помочь нам запрячь восемь лошадей в восемь телег. Я сказал, что возьму всех пятерых конюхов с собой и увезу их на два километра и только тогда отпущу идти назад, так, чтобы у них было оправдание перед немцами.

Русские очень весело меня выслушали, запрягли лошадей и, сев на телеги, поехали с нами. Они сошли после километра езды и скрылись в темноте, а мы быстрой рысью покатили к нашему полку вслед за грузовиком. Майор нас ждал, ничего не сказав, он принял лошадей и все мы пошли спать.

Проснувшись на следующее утро, я был удивлён тишиной. Вылезши из палатки, я увидел, что все другие палатки пусты, ни солдат, ни офицеров не видно. Я пошёл к штабу. Там меня встретил мой старый знакомый толстый лейтенант. От него я узнал, что полк ушёл за Днепр. Ушли также и все немецкие танки. Бой должен был начаться часа через два. Среди солдат, которым толстый лейтенант давал скорые приказания, были два участвовавших в моей вчерашней конокраже и слыхавшие, как майор распекал меня. Получив распоряжение от лейтенанта, они вышли из здания, но на улице поджидали меня.

Я последовал за ними. В штабе я никому не был нужен. Когда я вышел, эти солдаты, смеясь, рассказали приключения майора с лошадьми.

Он нагрузил телеги амуницией, чтобы её подвезти полку во время боя, ибо, по его мнению, грузовики, хотя и очень маленькие, были заметнее и легче повредимы. Нагрузив телеги, майор с двадцатью солдатами, в том числе и этими двумя, повёз амуницию к Днепру. На расстоянии каких-нибудь двух километров до Днепра, к майору с краю дороги подступили два немецких капитана и, угрожая револьверами, приказали все телеги разгрузить. Все его протесты не повели ни к чему. Телеги пришлось разгрузить.

Немцы посадили русских возниц на подводы и уехали в свой колхоз, а майору пришлось доставать грузовик, который всё

время был готов к его услугам и который он презирал, будучи героем первой мировой войны. Солдаты, с которыми я говорил, были посланы майором с другими пятью за грузовиком. Грузовик уже был послан майору с пятью солдатами, а двое, с которыми я говорил, остались дожидаться второго грузовика, который был в починке.

Должен сказать, майору очень повезло, никакого боя не произошло, потому что русский, вернее украинский, полк, оказавшийся против нашего полка, после начальной перестрелки, сдался без боя. Но майор, разгружая амуницию, этого не знал и как он мог позволить двум клоунам с пугачами, остановить обоз, везущий амуницию полку, идущему в бой, непонятно.

Часа через три пополудни начала слышаться далёкая пушечная стрельба. Она становилась все сильнее.

Делать мне было нечего и я через лес пошёл к арбузному полю, с которого виден был на десять километров весь низкий левый берег Днепра. Когда я туда дошёл, начало смеркаться и левый берег был уже в тени. Из многих мест далёкой, потемневшей степи левого берега летели по направлению к реке ряды белых искр. Они походили на нити светящегося бисера, по которым десятки светлых бусинок скользили в направлении реки. Это были светящиеся пули русских пулемётов, которыми они обстреливали что-то у реки. В некоторых местах на поле вспыхивали тёмно-красные огоньки. Это был оружейный огонь. Скоро нити светлого бисера перестали быть параллельными, а стали сбегаться в отдельные центры. Нити иногда прерывались и исчезали, затем вновь появлялись. Три или четыре нити сбегались в каждый центр. Эти центры медленно перемещались от реки навстречу скользящим светлым точкам. Иногда центры переставали двигаться и тогда в них вспыхивали один за другим, один, два, а иногда и три красных огонька. Обыкновенно одна из нитей бисера исчезала и центр скрещения оставшихся нитей снова начинал двигаться. Наконец нити стали совсем короткими и тогда, вместо красного огонька из центров, стали появляться длинные, жёлтые языки пламени. Всё чаще и чаще жёлтые языки лизали нити светлого бисера и всё меньше нитей оставалось. Наконец они все исчезли. Артиллерийская стрельба стихла.

Немецкие танки, вооруженные огнемётателями, были не под

силу плохо вооруженной русской пехоте. Страшно было думать о тех людях.

Медленно шёл я через лес к штабу, когда меня встретил солдат и сказал, что меня ищут. Войдя на поляну перед хатой, в которой помещался штаб, я как будто оказался в лагере русских. Русские солдаты были везде. Они группами стояли, сидели и лежали на траве без всякой стражи. Итальянских солдат было просто не видно. Сквозь эту толпу я пробрался в штаб. Здесь мой старый знакомый толстый лейтенант был в отчаянии.

"Полковник ведь знает, что у меня только семьдесят солдат и из них двенадцать отосланы за шесть километров! Он прислал мне четыре тысячи пленных! Они могут передуть нас всех голыми руками и т.д."

Наконец он сказал мне более толковую фразу: "Скажи им, что они получают все по хлебу и потом их отведут на ночь в помещение, где все смогут спать под крышей."

Хлеб был роздан, что было единогласно одобрено пленными. Затем вопрос поднялся, кто их поведёт и куда. Вести их должен был я, только я не знал как. Я получил карту, на которой был обозначен колхоз, где пленные должны были провести ночь; но никто не мог мне сказать, как туда идти прямо без дороги, а по дороге было слишком далеко. Наконец, обратясь к пленным, я спросил, знает ли кто, как пройти в этот колхоз. Нашлись два или три человека. Мой толстый лейтенант, с виноватым лицом полусказал, полуспросил, обратясь ко мне: "Я не могу дать тебе больше двенадцати солдат." Я ответил, что мне хватит и шести, потому что, если четыре тысячи человек хотели идти со мной, мне солдаты не нужны, а если не хотели бы, и пятьдесят солдат не хватило бы.

Итак мы пошли. Уже было темно. Мы шли по оврагам, по рошам, обошли болото и наконец дошли до колхоза, где я встречен был двенадцатью итальянскими солдатами.

Мы завели пленных в огромную колхозную конюшню и я сказал им, что мне придется запереть их там для вида. (В конюшне было много окон и почти все они были выбиты). Я попросил пленных не выходить ночью, чтобы солдаты не подстрелили их. Итальянским солдатам я посоветовал уйти в колхозный домик, поставить двух часовых и на конюшню

внимания не обращать. Если кто хочет убежать, пусть убегает.

Взяв с собою данных мне шесть солдат, я вернулся с ними в штаб совсем ночью.

Следующее утро, мой денщик получил приказ собирать мою палатку и грузить её для перевоза через Днепр. Толстый лейтенант предложил ехать с ним. Я, поблагодарив, отказался, сказав, что доберусь сам. Я прошёл пешком четыре или пять километров, когда у края дороги увидел грузовичок обоза нашего полка, обставленный бочками со всех сторон. Среди этих бочек сидел "маршал", т.е. маршал нашего провиантного снабжения. В Италии чин маршала может иметь два довольно различных значения: один маршал это главнокомандующий итальянской армии, другой маршал даётся старым, заслуженным солдатам. Они в офицеры попасть не могут за неимением образования и по разным социальным причинам. Быть солдатами они тоже не могут, потому что слишком стары, а выгнать их неловко, потому что они спились бы, не умея ничего делать и не зная чем заняться. Такие маршалы сидят в местах где делать нечего, но которые пустыми оставить неудобно.

Этот маршал заведовал раздачей спиртных напитков, чаще всего коньяка. Я подошёл к нему. Оказалось, что его грузовик сломался на ухабе и при этом повредил одну бочку. Остальные бочки пришлось выгрузить, чтобы чинить грузовик: но наибольшей заботой маршала была повреждённая бочка. Она немножко текла. Явно было, что течь прекратится, когда в бочке останется меньше коньяка. Его заботой было спасение излишнего коньяка. Он подзывал кого мог и угощал коньяком. Видно было, что сам он спас довольно много.

Увидев меня, он обрадовался и предложил налить коньяка в мою солдатскую фляжку. У меня фляжки не было. Тогда он налил свою жестяную кружку и сказал, что если мне столько коньяка слишком много, я могу оставить, чего не смогу выпить, до другого раза. Это было добрых четверть литра дешевого коньяка, но в словах маршала чувствовался вызов. Я выпил всю чашку. Видя чашку пустой, мой маршал предложил мне остаться с ним, чтобы на его грузовике переехать Днепр. Это в мои расчёты совсем не входило. Я поблагодарил и пошёл к Днепру. Я торопился найти кого-нибудь, кто бы перевёз меня по понтон-

ному мосту. Идти по нему было бы очень глупо, по нему никто пешком не шёл. Подойдя к реке, я заметил обозный грузовик нашего полка. Место рядом с шофёром было свободно и шофёр охотно меня принял.

Нам пришлось ждать и за это время коньяк начал давать себя чувствовать, так что когда мы стали переправляться, мне всё казалось, может быть даже более беспорядочным, чем было на самом деле.

На мосту движение шло в двух направлениях, что создавало страшную толкотню, только толкались не люди, а всякого рода повозки: автомобили и телеги, арбы и какие-то маленькие самодельные тележки, на которых везли русских раненых. Многие из них были без сознания. Даже в пьяном виде, на них страшно было смотреть, потому что никакой помощи они получить не могли и были обречены на верную смерть. Переехав Днепр, я распрошался с шофёром и смешался с толпой итальянских, немецких и кажется мажарских солдат, которые ждали чего-то, а пока сидели или лежали на земле.

Пробродив так часов пять, я, сам не знаю как, попал на ужин нашего штаба. Я совсем трезвел и за столом слушал победные и для меня грустные рассказы итальянских офицеров. Один старый капитан, который бывал в боях первой мировой войны и привык видеть в русских больше союзников, чем врагов, говорил, как он был удивлен силой огня со стороны русских и тем, что он не приносил совсем урона.

“Они стреляли в воздух, только чтобы показать своим офицерам, что стреляют”.

Итальянцы потеряли пятнадцать человек и, убив около восьмидесяти, взяли в плен четыре тысячи человек.

С горечью капитан рассказал, что среди убитых видел молодую женщину, одетую как красноармеец, заколотую штыком. “Это какой-нибудь наш дурак с перепугу сделал”, сказал он.

На следующий день полк двинулся дальше.

(Продолжение следует)

Юрий Соколов

ГАСТРОЛЬНАЯ ПОЕЗДКА НА МАНГЫШЛАК

Оказавшись на Западе, бывшие советские люди день за днём с удивлением открывают для себя нечто новое — прежде никогда невиденное, неслышанное и, порой, непредполагаемое.

Это касается не только экономических и научно-технических достижений капиталистического мира, поражающих бедное воображение воспитанных при социализме граждан. Может быть, куда больше, чем изобилие, сервис, свобода и прогресс во всех областях жизни, изумляют их публикации сведений об истинном положении в СССР. Ошеломляющим открытием для бывших советских граждан является правда об их родине.

Много разъезжая по стране Советов, я многое видела. И тем не менее, я, оказывается, почти не знала советской действительности. А, казалось бы, мне жизнь была представлена во всех её ипостасях — где только ни приходилось выступать: не считая театров, дворцов культуры и клубов, я не раз "радовала своим искусством" аудиторию конференц-залов всевозможных академий, научно-исследовательских институтов, номерных почтовых ящиков; я веселила дозволенными цензурой сатирическими памфлетами рабочих заводов, фабрик, различных комбинатов и стройбригад; отлично видела со сцены "Агит-пункта" лица зрителей, пришедших отдать свой голос на выборах. Могу смело сказать, что я видела все слои общества — побывала где только можно и где нельзя: от студенческих общежитий, строительных бараков и военных городков до Колонного зала и гостиной ВТО; от Большого и Малого зала ЦДРИ до клуба МВД и клуба Милиции — вплоть до психиатрических лечебниц, будь то Кашенко, Белые Столбы, Люблино или им подобные.

И каких только "забавных" случаев мне ни приходилось

наблюдать! К примеру, до сих пор отчётливо помню, как в коридоре психиатрической больницы на Каширском шоссе один из пациентов — мужчина среднего возраста, с лицом бледным, невыспавшимся, сплошь покрытым желтоватыми пятнами и трещинами морщин, в казенной линиялой пижаме и шлёпанцах на босу ногу — остановил главврача, добродушную на вид, румяную и грудастую женщину. Под мышкой у психа была картонная папка, чрезмерно набитая листками бумаги с рукописным текстом. Преградив путь врачу, больной, явно нервничая, принялся уговаривать её взять у него и прочитать то, что он так судорожно держал под мышкой.

— Тогда вы всё поймёте, — говорил он. — Тогда вам всё станет ясно.

Главврач, легонько отстраняя его с пути пухлой ручкой, с врезавшимся в палец обручальным кольцом, говорила:

— Потом, потом! Завтра покажете. Вы же видите, что мне сейчас некогда — к нам артисты приехали, сейчас "концерт ставить" будут.

Он, заискивающе называя её по имени-отчеству, странным взглядом поглядывая на нас, артистов — может быть ища нашего заступничества — продолжал с вежливым укором настаивать:

— Вы и вчера говорили, что вам некогда, и позавчера, и год назад. Но я же не прошу, чтобы вы сейчас это читали. Вы только возьмите, а когда будет время — прочтёте.

Но главврач кокетливо твердила "потом, потом", пока не дошла до дверей комнаты, приготовленной для артистов; тут она грациозно, несмотря на полноту, шмыгнула за порог, переступить который докучливый псих не посмел. Кто-то спросил, что это за тип? Она охотно пояснила:

— Это наш старый больной, много лет уже у нас... был когда-то инструктором райкома партии...

Ни на кого, однако, из присутствующих эта сцена не произвела особого впечатления. Бывший инструктор был не таким уж колоритным психопатом. Кто-то из артистов обратился с просьбой к главврачу:

— А нельзя ли посмотреть отделение буйно помешанных?

— Отчего же нет? Пойдёмте! Только вот, я вас лично прошу,

— глядя на меня, сказала врач, — снимите, на всякий случай, шарфик с шейки...

Посещение палаты буйных никого не оставило равнодушным и, надо полагать, надолго осталось в памяти посетителей. Образ тихо помешанного инструктора померк на фоне этого зверинца. Ведь никому и в голову не могло прийти, что инструктор-то может быть, говоря словами Гамлета, "вовсе не безумен, а лишь умён безумно", то есть может никакого психического нарушения в его мыслях вовсе и нет, а есть одно нарушение стандартного мышления.

Теперь я склонна думать, что именно так оно и было, что бедный инструктор просто *иначе мыслит*.

Как уже было сказано, я фактически не знала страны, в которой жила. Не так давно — в газете "Новое Русское Слово" от 3 февраля 1980 года — была опубликована статья директора Центра исследования тюрем, лагерей и психотюрем в СССР Авраама Шифрина. В этой статье автор сообщает о местонахождении сорока одного лагеря смерти в СССР. Некоторые из перечисленных Шифрином районов мне знакомы — была я в Житомире, в Житомирской области, изъездила чуть ли не весь Ставропольский край, выступала в городе Грозном, в Новосибирске, Челябинске... Но, конечно, я и не догадывалась, что в этих городах и областях добывают урановую руду, что районы эти имеют повышенную радиацию, опасную для жизни.

Правда, я помню, что всю неделю моего проживания в Челябинске я себя скверно чувствовала, несмотря на присущее мне здоровье и молодые годы. Помню, как вся труппа жаловалась на недомогание, и вечерами во время концерта "мастера искусств" — люди в возрасте — придя со сцены за кулисы, хватались за сердце, а молодёжь, вдруг почувствовавшая по приезде в Челябинск сильное переутомление, проклинала администратора гастролей за невероятно тяжёлые условия поездки.

Сама я, зная, что у мене низкое давление, объясняла напавшую на меня вялость, безразличие к окружающему и небывалую сонливость условиями местного климата. Сейчас я подозреваю, что виной тому был не горный уральский воздух, и даже не большое количество промышленных предприятий этого

города, а та самая атмосфера повышенной радиации, о которой пишет Шифрин. На это можно возразить, как же, дескать, коренное население Челябинска спокойно переносит повышенную радиацию?

Я не медик и, насколько остры симптомы постоянного облучения, мне не известно. Могу только предположить, что точно так же, как человек постепенно привыкает к недугам старения, челябинцы не замечают ускоренного процесса одряхления и отмирания своего организма и, преодолевая физическую слабость, полусонными толпами идут по утрам на заводы и фабрики отдавать свой ударный труд на благо социалистической родины — ведь город Челябинск крупный промышленный центр страны.

Посчастливилось мне увидеть и полуостров Мангышлак. Маршрут гастролей был извилист: Западная Украина, Северный Кавказ, Каспийское море — полуостров Мангышлак.

На Мангышлаке нам предстояло прожить пять дней, чтобы, как говорят, подкрепить искусством морально-боевой дух советских воинов. Это значит, что мы должны были выступать в воинских частях, находящихся на этом полуострове в изрядном количестве.

Нас привезли в какой-то посёлок, расположенный на самом берегу Каспия; разместили в двухэтажной гостинице. Всё вокруг имело вид новостройки социализма — дома, включая гостиницу, в смысле архитектурного стиля были модернизированными бараками; не было ни улиц, ни площадей — пустырь и на нём скучный ряд застеклённых с двух сторон блочных параллелограммов.

Гостиница была свободна от "командировочных", и артисты с удовольствием заняли каждый по отдельному номеру. Да и в самом посёлке не было видно ни одного жителя: городок казался совершенно безлюдным — то ли вымершим, то ли ещё не заселённым.

До начала концерта оставалось достаточно времени, и мы решили, что неплохо было бы искупаться в такую жару. Стали спрашивать, далеко ли до пляжа. Кто-то из служащих гостиницы сказал, что никакого пляжа тут нет, а купаться тут вообще не

рекомендуется.

Это нас ни мало не смутило, мы отправились к морю и, не взирая на прибитую к столбу дощечку с надписью "купаться воспрещается", попрыгали с визгом в воду. Потом долго валялись на раскалённой прибрежной гальке, подставляя испепеляющему солнцу свои распластанные тела. Кроме нас, других купающихся не было. Побережье, как и само селение, казалось безжизненным. Всё на этом полуострове было необычным и ни на что не похожим. Местность эту нельзя назвать ни степью, потому что — куда ни глянь — ни травинки, ни кустика, ни пустыней, так как под ногами не песок, не камни, не засохшая и потрескавшаяся от зноя земля, а какая-то мёртвая пыль непонятного образования.

В такой на вид безлюдной пустоши мы должны были по плану гастролей ежедневно давать по три-четыре выступления для военно-строительных батальонов.

Эти, так называемые, стройбаты были расположены друг от друга на расстоянии тридцати, иной раз шестидесяти километров, так что мы успевали, начав первое выступление в 3 часа дня, прибыть в следующую часть к пяти, третье выступление предстояло начать в семь, и последнее — в девять. А в воскресенье на Мангышлаке, начав первый концерт в 12 часов, мы успели чудом объехать и выступить в течение дня в восьми различных военных соединениях этого полуострова.

Мне и до этого много раз приходилось выступать в воинских частях и военных городках. Все они имеют стандартный внешний вид, начиная от ворот, крашенных защитно-зелёной масляной краской, с припаянной к ним пятиконечной звездой, и кончая солдатской столовой, с мерзким запахом пищи, приготовленной на комбижире, с вызывающими чувство тошноты, даже у лишённого брезгливости, липкими алюминиевыми ложками, искарёженными и погнутыми о трудно переваримое месиво солдатской еды.

В каждой воинской части есть клубный зал, с допотопным, никогда не работающим микрофоном, и наспех вымытой перед началом представления сценой. Воинские размещения на Мангышлаке отличаются от всех других виденных мной гарнизонов. Зелёных ворот с красной пятиконечной звездой там

нет. Забор, которым обнесён объект, больше чем в два раза, выше обычного, плотно сколочен из гладко отёсанных брёвен. Венчают это боевое укрепление сторожевые вышки. Пограничная полоса здесь не проходит, но верные защитники родины бдительно несут службу: не спуская глаз с территории, и без того надёжно защищённой стеной забора, они посменно топчутся на шатких мостках сторожевой площадки.

Что касается сцены и зала, то на Мангышлаке клуб или хотя бы красный уголок имеется далеко не в каждой части. Чаще всего нам приходилось выступать на досчатом помосте, при нас спешно доколачиваемом, на отгороженном канатом квадрате строевого плаца, на платформах тесно притеревшихся друг к другу откинутыми бортами грузовиков... Впрочем, для тех, кто ездил с концертами на целинные земли, и это было не в диковинку. Поразило нас совершенно другое: до чего же не похожи были мангышлакские солдаты на обычных солдатских зрителей!

Любая солдатская аудитория одинаково восторженно относится к выступлению артистов. Как бы ни был плох концертный номер, солдатская публика всегда реагирует с детским восторгом и награждает исполнителя шумными скандированными аплодисментами, сопровождая их ритмичным топанием сапог и выкриками "бис". Мангышлакские зрители не проявляли такого подъёма чувств. Можно даже сказать, они вообще никак не реагировали. Ни одна из острот конференсье не вызвала у них и тени улыбки, хотя обычно солдаты заливаются хохотом от всякой глупейшей шутки. Точно так же мангышлакцы не проявляли никакого интереса к появлению на сцене актрис, и даже балерин, на которых всегда с восхищением смотрят не только новобранцы, но и командный состав.

Один из концертов был устроен особо. Он предназначался не для чернопогонников (так называют солдат стройбата), а для сотрудников и обслуживающего персонала посёлка.

На этот раз нас привезли в какой-то клуб. В публике было много женщин. Время от времени кто-нибудь из зрительниц, стараясь не очень скрипеть стулом, поднимался с своего места и, согнувшись в три погибели, чтобы не мешать другим следить за

происходящим на сцене, покидал зал.

Закончив своё выступление, я вышла в фойе. Три молодых женщины, облокотясь на задрапированную красным кумачом тумбу, служившую постаментом для гипсового бюста, тихо о чём-то беседовали. Я не выдержала и обратилась к ним:

— Почему же вы в зал не идёте? Вам концерт не нравится?

— Да, нет! Почему же? Хороший концерт, — вялым голосом ответила одна из них. — Но только там жарко... Вы не смотрите, что мы молодые... нам вот по тридцать лет, а нас уже приливы мучают...

— Климат тут такой, — пояснила вторая. — От такого климата у нас и детей быть не может, тут у нас все бабы бездетные.

— Да вы не беспокойтесь, — сказала третья, — мы сейчас опять в зал пойдем, вот только отдохнимся маленько.

После разговора с этими женщинами, мне впервые пришла мысль, что я и в самом деле не видела на этом полуострове ни одного ребёнка. Отсутствие детей и делало, должно быть, эту местность такой унылой и безжизненной.

На другой день я со своей подругой, балериной нашей группы, заглянула в буфет гостиницы. Было томительно жарко, и нам захотелось лимонаду.

Толстая, похожая на молочницу, буфетчица заговорщицким шепотком сказала:

— Возьмите, девочки, лучше кефирчик. Лимонад-то тёплый, противный. Пейте лучше кефир.

И вдруг, совсем уже до еле слышного понизив голос, забормотала:

— Кефир, девочки, пейте! Кефир! Без кефира тут нельзя!

— Почему?

— Местность тут такая, хорошие мои! Без кефира тут быстро пропадёшь!

— Так зачем же тут люди живут? — простодушно спрашиваем мы.

А она, хитро прищутив глазки, поджав выразительно губы, после многозначительной, но короткой паузы:

— Ну, кто зачем... кому велено... а кто за длинным рублём погнался. Тут ведь многим, милые мои, хорошо платють! Иной, глядишь, за три-то года на машину "Волгу" заработает. Правда,

апосля-то трех лет не многие из них отсюда уезжают...

— Почему?

— Да как, почему... три года — большой срок для этого места, их прожить ещё надо! А есть такие, что и попривыкнут к такой жизни... и "Волгу" эту самую не хотят — интерес у них к ней пропадает... А вы — девочки молодые. Вы кефир пейте! Кефир это очень хорошо.

Поговорив так с буфетчицей и выпив по её настоянию по стакану кефира, мы пошли к морю.

Поплавали, поныряли. О том, что нам довелось только что услышать, не говорили — да и не думали вовсе.

Как ни странно, но я до сих пор отлично помню лицо этой сердобольной женщины, так усиленно пытавшейся нам внушить нечто важное и заповедное, помню интонацию ее голоса, когда она повторяла: "кефир, девочки, пейте, кефир". Но тогда почему-то всё, что она говорила, прошло мимо моего разумения. Мы и кефир-то с подругой выпили только, чтобы зря хорошего человека не обидеть, а не потому, что поверили и поняли суть сказанного.

На обратном пути к гостинице мы встретили похоронную процессию. Она, как и всё в этой местности, выглядела странно. Не было ни траурных маршей, ни венков, ни катафалка, ни других погребальных атрибутов. Но что самое удивительное — не было вдовьих и сиротских слёз. Люди шли молча, мужчины несли на плечах гроб. На головах у женщин были чёрные косынки. Шествие напоминало скорее мираж, нежели драматическую явь: тяжелое полуденное солнце, сухая пыль под ногами, сухая скорбь на полумертвых лицах неспешно провожающих кого-то в его последний путь.

Стенания и плач не рвались из груди следующих за гробом мангышлакцев, вид их выражал одну покорность. Через день-два мне опять пришлось увидеть что-то похороны. Картина была та же: то же тупое уныние на лицах траурной процессии, то же отсутствие слёз и рыданий.

Наша буфетчица была в курсе всех местных происшествий и сообщила нам, кого так мрачно хоронили. Оказалось, что один из новопреставленных умер, можно сказать, естественной смертью, "потому как не такой уж молодой был — сорока двух лет от роду, — так что успел маленько пожить на белом свете", а второй был

”совсем мальчонка, двадцати ещё не стукнуло, а он возьми да и покончи с собой”.

Причина самоубийства этого юноши никого не интересовала. Похоже было, что смерть на этом диком раскалённом полуострове вошла в быт его жителей настолько, что казалась им обычным явлением. За пять суток пребывания на Мангышлаке мне только раз пришлось услышать живой скандальный разговор. Беседовали двое мужчин, хотя говорил фактически один, а другой лишь понуро молчал.

— Вот увидишь, убегу я отсюда! — твердил первый. — Как пить дать, убегу! Ты думаешь, я только зря языком болтаю? Не-ет. Я на самом деле убегу. И не сомневайся!

Лицо собеседника и не выражало, впрочем, никакого сомнения — точнее будет сказать, что оно вообще ничего не выражало. Его приятель, тем не менее, продолжал с гневом и обидой выкладывать ему всё, что, по-видимому, в душе у него накопело:

— Они мне что говорили, когда завербовывали? ”Поедешь, — говорят, — на земляные работы!” А оказывается, я тут уран должен брать! Я на земляные работы завербовался, а уран брать я не желаю. Я его туда не клал, я его и брать не буду. Так что ль я говорю? Земляные работы — пожалуйста! А уран брать они меня не заставят. Я его туда не клал, я его и брать не буду!

Этот монолог ”завербованного” привлёк моё внимание и запомнился только потому, что уж больно забавной показалась мне его мотивировка для побега: ”Я его туда не клал, я его и брать не буду!”

Такие вопросы, как — кто этот человек? профессиональный землекоп или предпочитающий земляные работы другим видам принудительного физического труда? где и кто его завербовал? почему он согласен копать землю, а добывать уран противится? и, наконец, почему он должен бежать с Мангышлака, а не просто порвать контракт и уехать? — такие вопросы мне не приходили в голову. И не потому, что я была беспечной и юной. Подобно большинству советских граждан, включая умудрённых возрастом и регулярным прочитыванием газеты ”Правда”, я, как сказала в начале, не знала правды о своей стране.

Теперь, получив доступ к источникам объективной информации, я припоминаю виденное мной в жизни и говорю себе: ”Да, да,

верно! Так оно и есть. Я видела это своими глазами!" И всегда при этом думаю: "Страшные жестокости и страдания прочно вошли в жизнь советских людей, но страшнее всего то, что большинство моих соотечественников воспринимает такую жизнь как нечто естественное или в крайнем случае непоправимое."

Юлия Троль

ПОЖЕРТВОВАНИЯ В ФОНД "НОВОГО ЖУРНАЛА"

В 138, 139 и 140 кн. "Н. Ж." опубликованы списки жертвователей в издательский фонд "Нового Журнала". Всего 7,642 долл. Позже поступило еще 409 долл.: 100 долл. — Н. Бибинов. По 50 долл. С. Рафальский (Франция) — вторично; К. и А. Шлиппе — вторично; Г. Чириков. По 26 долл. — Н. Барнатный (вторично) и С. Крыжицкий; 24 долл. — Миролюбова (Германия). 21 долл. — А. Каган. 20 долл. — Л. Иванникова (третий раз). По 10 долл.: А. Балашов; М. Валди и А. Михальчоной. По 6 долл. — Е. Минченко (вторично) и Б. Просс (третий раз). Всего — 8,051 долл.

Редакция сердечно благодарит всех жертвователей.

Большое спасибо!

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

О Н. Н. ЕВРЕИНОВЕ

“Все, кто знал Н. Евреинова, согласятся со мной, что для него самый подходящий эпитет — блистательный. Это был человек самых разнообразных и ярких талантов. Приходя в гости, он охотно брал на себя роль развлекателя. Для этой роли он был вооружен превосходно. Фокусы, куплеты, каламбуры, анекдоты, шарады, музыкальные трюки так и сыпались из него без конца. Он всегда чувствовал себя на эстраде. Стоило ему появиться у меня на пороге и я мог спокойно отойти в дальний угол и стать посторонним зрителем его бесконечных причуд. Определить Евреинова не так-то легко: он и драматург, и историк, и композитор, и теоретик искусства и кроме того режиссер... В каждой его постановке явственно чувствуется его эксцентрический и мажорный талант. Без игры он не мог прожить ни одного дня”.

Так, в своем известном литературном альманахе “Чукоккала” Корней Чуковский создает быстрый и точный портрет своего друга и частого посетителя. С его характеристикой нельзя не согласиться: Евреинов был действительно от природы богато и разнообразно одарен. Но главной его страстью, его подлинным призванием было сценическое искусство и это призвание пробудилось в нем очень рано. Десятилетним мальчиком (он родился в 1879 году) он импровизировал сценки и участвовал в гимназических спектаклях. Когда же в окрестностях Пскова, где жила тогда семья Евреиновых, стал гастролировать бродячий цирк, он убежал из дома и поступил в труппу клоуном и акробатом; родители не без труда его разыскали и вернули домой.

От своего отца, инженера путей сообщения, он унаследовал энергию и волю к труду. А мать его, талантливая пианистка, происходившая из обрусевшей французской семьи де Гранме-

зон, ввела его в мир искусства и, вероятно, ей он обязан своим, музыкальным даром. Поступив тринадцатилетним в Училище Правоведения, он и там стал затевать театральные вечера и пробовать свои силы в роли драматурга и режиссера: в 1899 году поставил там первую свою пьесу — "Сила Чар", "оперетку-арлекинаду", для которой сочинил и слова и музыку. Характерный почин: к арлекинаде, к жанру, полному свободной выдумки, он уже тогда чувствовал влечение — и остался этому верен до конца. Лучшие его пьесы оригинальные, насыщенные фантазией, далекие от реальности комедии.

После окончания Училища Правоведения ему пришлось провести несколько лет на государственной службе, — но всё свободное время он отдавал театру и музыке: изучал композицию в петербургской Консерватории, в классе Римского-Корсакова. Но больше всего его увлекало драматическое искусство.

В 1905 году одна из его первых пьес, "Степик и Манюрочка" — диалог пожилой четы, — была поставлена в Александринском Театре; в том же году шла в театре Яворской и другая его пьеса — "Фундамент Счастья". Обе комедии имели успех, и имя молодого автора приобрело известность.

К тому же времени сложилась и его оригинальная теория театрального искусства. В своих многочисленных работах, посвященных театру, Евреинов настаивал на независимости театра от литературы, на обязательной условности и "театральности", заложенных в самой природе этого искусства. Противник как реализма, так и символизма, господствовавших в те времена на русской сцене, он восставал против фотографичности персонажей и текста.

"Театральность, утверждал он, вообще свойственна человеку: ведь каждый из нас в жизни актерствует, каждый, в зависимости от обстановки и собеседника, меняет свое амплуа; даже дети играя, хотят изобразить не самих себя, а кого-то другого. Инстинкт "театрализации" живет в каждом из нас, это — желание создать иное "я", сыграть новую роль".

Назначение театра — не поучать, не копировать действительность, а преображать ее, создавая для зрителя иной мир. Но в жизни, как и на сцене, роли распределены несправедливо, и обездоленный более других нуждается в "театрализации" своего

бытия. К этой теме Евреинов возвращается неоднократно, и она лежит в основе известной его комедии "Самое Главное".

Следует отметить, что Евреинов был единственным из русских драматургов, строившим свои произведения на определенной теории. Характерно для него, что, создав новый жанр, "Монодраму", пьесу, отражающую не реальность, а психологические переживания единственного действующего лица (например — "Кулисы Души"), он одновременно читает об этом жанре лекции и посвящает ему статьи.

Ища подтверждения своих теорий и в истоках сценического искусства, Евреинов увлекался средневековым французским театром. Созданный им и просуществовавший всего два года (1907-1908 и 1911-12) "Старинный Театр", где шли вначале средневековые французские фарсы и пасторали, а потом пьесы Кальдерона, Сервантеса и де Молина, привлекал петербургских театралов и оказал влияние и на других театральных деятелей.

В 1909 году, вместе с Федором Комиссаржевским, Евреинов основал — тоже на короткий срок — "Веселый Театр для пожилых детей": там разыгрывались одноактные сатирические пьески Кузьмы Пруткова, а также "арлекинады" и "монодрамы" самого Евреинова. Отпущенный ему дар — быстро создавать короткие юмористические пьесы и пародии — привлек к нему внимание известного театрального критика А. Кугеля, который пригласил его на должность директора в основанный им театр — "Кривое Зеркало".

"Кривое Зеркало" просуществовало с 1910 года до революции, и Евреинов успел за эти годы поставить там около сотни маленьких пьес, в том числе и своих собственных. Самыми нашумевшими из них были знаменитая "Вампука" и "Ревизор" Гоголя в различных вариациях — блестящая и злая пародия на известных в то время режиссеров, в частности на Станиславского, на его ненавистный Евреинову реализм.

Эти довоенные годы были, вероятно, самыми счастливыми в жизни Евреинова: ему удалось полностью осуществить свои замыслы, свободно создавать оригинальные постановки пантомим и арлекинад. Успех его был не только творческий, но и материальный, что давало ему возможность работать и над своей философией театра. Работоспособность его была приме-

чательной: за несколько лет он успел издать два тома драматических произведений и ряд монографий и книг о "теории театральности" (напр., в 1913 году, — "Театр, как таковой").

Не следует забывать, что для всех людей творческого склада, искавших новые пути, эта эпоха — "Серебряный век" — была особенно благоприятна. Сколько новых течений возникало в поэзии, в литературе, в живописи, в театре, сколько прославилось имен! Как сказал Юрий Тынянов: "Всегда в крови бродит время, у каждого периода есть свой вид брожения". Война и революция положили этому "брожению" конец.

Военные годы Евреинов провел в Финляндии, где написал три тома "Театра для себя", — подробное изложение своей теории "трансфигурации". А после Октябрьской революции уехал на несколько лет на юг, в Тбилиси; оттуда ездил в Киев, в Харьков, в Одессу, — всюду, где предлагали ему театральную работу. На юге же он написал свою лучшую пьесу "Самое Главное". Именно в этой пьесе находит свое воплощение излюбленная Евреиновым теория "театральности жизни".

Главный ее герой, таинственный доктор Фреголи, у которого немало и других имен, задался гуманитарной целью: ввести веселый театр в жизнь обездоленных, несчастных людей, — и это ему удастся с помощью актеров, ангажированных им на короткий срок. Но что станет с некрасивой, во всем разочаровавшейся девушкой, со студентом, уже покушавшимся на самоубийство, с глубоко несчастным одиноким стариком, когда кончится эта комедия и актеры вернутся на подлинную сцену? Этого зрители не узнают. "Мы вошли в жизненный пирог, как приправа, без которой он ничего не стоит, и поддурманили его огнем нашей любви". Так говорит доктор Фреголи, озаривший своей театральной выдумкой серую жизнь неудачников. Пьеса заканчивается маскарадом и шумным балом в духе, так увлекавшей Евреинова *Commedia dell' Arte*.

Вернувшись в 1920 году в голодный Петроград, Евреинов занялся чтением лекций в Доме Искусств и в Доме Литераторов. К этому, да к работе над теорией и историей театрального искусства сводилась теперь главным образом его деятельность. Правда, "Самое Главное" шло еще в 1921 году с огромным успехом в Театре Свободной Комедии, а за год до того

Евреинов был назначен организатором массового спектакля — "Взятие Зимнего Дворца", разыгранного тысячами участников.

И все же, несмотря на удачи, жизнь в Петрограде его не удовлетворяла. "Нам тесно в этой наполовину разоренной стране, которая любит нас меньше, чем мы ее", — говорил он. Блестяще образованный эстет, поклонник Оскара Уайльда, неистощимый выдумщик, всецело занятый проблемами театра, но равнодушный к проблемам социальным и политическим, Евреинов оказался в Советской России не у дел: на выполнение социальных заказов был неспособен.

В 1925 году, вместе с молодой женой, он навсегда покинул родину и, после краткого пребывания в Польше, где шли его пьесы, поселился в Париже. Здесь он и остался до конца жизни. Ему было 46 лет, когда он решился на эмиграцию — и самая значительная часть его драматического творчества была уже им создана.

Для многих художников слова разрыв с родиной — тяжелое испытание: чужая страна, чужой язык — все это почти непреодолимые препятствия. Но судьба Евреинова сложилась сравнительно благоприятно: в Париже он бывал и раньше и во французском театральном мире его уже знали.

За несколько лет до его приезда известный режиссер Жан Копо поставил его арлекинаду "Веселая Смерть" в своем — теперь уже несуществующем — передовом театре "Старая Голубятня". Знали Евреинова и в Италии: Пиранделло, которому близка была основная теория Евреинова о "театрализации жизни", поставил "Самое Главное" в своем римском театре и горячо рекомендовал эту пьесу Шарлю Дюллону, директору парижского театра "Ателье".

В 1926-27 годах "Самое Главное" шло в этом театре с исключительным успехом, выдержало более 200 представлений, — для иностранного драматурга, еще не известного широкой публике, цифра рекордная. Кроме этой пьесы шли и другие, например "Кулисы Души", "Степик и Манюрочка", дошли они и до Америки. Но новые комедии Евреинова, созданные им в эмиграции (напр., "Театр Вечной Войны"), не находили постановщиков. Его ярко вспыхнувшая слава, казалось, понемногу угасала. Он продолжал все же работать, писал книги о театре,

занимался постановками, стал увлекаться и кинематографом. Но его явно преследовали неудачи: съемки "Самого Главного" должны были начаться в первых числах сентября 1939 года; их прервала Вторая мировая война.

Черные годы оккупации — лишения, холод, невозможность свободно работать, — все это отозвалось на здоровье Евреинова. После окончания войны он все же вернулся на время к прежней деятельности, — занимался постановками, сделал ряд радиопередач, посвященных литературе и театру, и издал несколько книг. Из них особенно интересна "История Русского Театра", в последней главе которой автор рассказывает о сценических исканиях в предреволюционный период. По собственному признанию, Евреинов выступил в книге "не только как историк, но и как мемуарист", он подробно анализирует режиссерские методы Станиславского, Мейерхольда и свои собственные.

В послевоенные годы его пьесы шли еще во многих странах, — кроме его родины, где они до сих пор под запретом. Но в эти годы здоровье Евреинова сильно пошатнулось, силы быстро убывали. Ему не дано было дожить до тех лет, когда за границей появились книги о его теориях и новые переводы его пьес. Он скончался 7 ноября 1953 года.

Следует отметить, что современный театр, отрицающий значение литературного текста, отводящий главную роль режиссеру, проповедующий импровизацию актеров и активное участие публики в спектакле, во многих отношениях преследует цели, близкие сердцу Евреинова, который таким образом оказался предвестником этих течений.

Евгения Каннак

О Л. Ф. ЗУРОВЕ

Моя небольшая статья о Л. Ф. Зурове не претендует быть разбором его творчества, она лишь рассказ о наших встречах. Но исследование творчества Л. Ф. Зурова, думаю, станет в свое время задачей литературоведов. Ибо его имя достойно войти в историю русской зарубежной словесности.

Зуров родился под Псковом. Семнадцатилетним юношей бежал из родного дома, чтоб поступить добровольцем в с. в. Армию. Так, в ранней молодости он узнал ужасы гражданской войны. Получил два ранения. Позже, оказавшись в Риге, Зуров, как писал И. А. Бунин: "стал рабочим, репетитором, маляром, секретарем журнала 'Перезвоны'". Уже тогда Бунин заметил этого молодого писателя: "Подлинный, настоящий художественный талант, именно художественный, а не литературный только, как это чаще всего бывает". Это — слова Бунина по прочтении им повести "Кадет". И позже Бунин писал: "На днях я с еще большей радостью прочел его (Зурова) новую книгу "Отчина".

Бунин был прав. Талант Зурова много обещал и сдержал бы в полной мере свое обещание, если б не роковые обстоятельства, с самой юности навсегда отметившие его жизнь. Несомненно, каждый писатель болезненно переживает свой отрыв от родины. Но тот, кто оставил ее уже сложившимся литератором, думаю, переносит свою оторванность не так мучительно, как тот, кому пришлось переживать эту коренную ломку в ранней молодости.

Леонид Федорович был подлинно русским человеком, он жил Россией и ее судьбами, мог писать только о ней, хотя прожил на чужбине три четверти своей жизни. Я не знаю ни одного его произведения, где отразились бы его эмигрантские

впечатления. Всегда только о России ...

Свой родной край — Псковскую область — Зуров знал и крепко любил. Посвященная этому краю книга "Отчина" — произведение, по-моему, замечательное своей художественной правдой и точным, прекрасным языком, похожим на образный язык русских летописей. Одно время Зуров жил в Псково-Печерской Обители, где руководил работами по реставрации церкви Николы Ратного и где монахи разрешили писателю пользоваться рукописной библиотекой, столетиями хранимой в ризнице. Перед Зуровым тогда открылось богатство нашего древнего языка, и творчества старых русских "умельцев"; он смог зарисовать (так как имел еще и художественное дарование) узорные орнаменты заставок и концовок древних букв, водяных знаков, кожаных тиснений... Эти зарисовки украсили его книгу "Отчина".

Перед тем, как окончательно поселиться во Франции, Зуров побывал в Праге, где учился на архитектурном факультете. Уже после переезда в Париж, Зуров, вместе с группой этнографов, в 1935, 1937 и 1938 гг., по поручению парижского Музея Человека (Musée de l'Homme) и Министерства Просвещения, ездил в Эстонию. Как указывает П. Е. Ковалевский: там "был исследован большой район с местным, как русским, так и эстонским, населением и подробно описаны те места, куда собирались местные жители для поклонения священным камням. Было записано несколько сот народных песен и преданий, и сделаны многочисленные снимки".

По возвращении, Зуров представил организаторам этой научной экспедиции две ценных работы: 1) Записку о произведенном обследовании древностей Печерского и Изборского края и о результатах археологической и этнографической разведки 1935-1938 гг. и 2) О дохристианских пережитках и религиозных верованиях сетских чудо-эстонцев и крестьян Печерского края.

С Леонидом Федоровичем я познакомилась в послевоенные годы, когда во Франции, после трудных лет немецкой оккупации, начала налаживаться нормальная жизнь. Русские парижане опять принялись устраивать собрания, литературные вечера, концерты и

доклады. Впрочем, русские ряды тогда сильно поредили: "иных уж нет, а те далече"...

По инициативе Веры Стамболи возник маленький кружок начинающих поэтов, куда была приглашена и я. Так как комната Веры оказалась недостаточно поместительной, мы собирались в продуктовой лавке Стамболи по воскресеньям, после закрытия магазина. Стульев было мало, мы усаживались где придется — на бочках, на ящиках — читали стихи. В этом кружке я впервые услышала имя Зурова; он бывал у Стамболи и изредка посещал наши литературные собрания. Он служил тогда сторожем в каком-то гараже около Буживаля, иногда наезжая в Париж.

В. Стамболи — человек энергичный. Она сумела заинтересовать нашим начинанием кое-кого из "мэтров", т. е. уже известных литераторов. Они иногда приходили на собрания и относились к нам сочувственно и дружелюбно. Их критика многим из нас помогала. Через несколько месяцев, стараниями все той же Веры, наш кружок озаменовал свое существование выпуском маленького сборника стихов (в 1948 г.). Это была очень тощая книжка в голубой обложке, украшенной чрезвычайно пышным названием "Сборник стихов поэтов Объединения молодых деятелей русского искусства и науки". Наука, впрочем, никак не была представлена. Искусство же — довольно неискусными стихами. На 59-ти страничках уместились образцы творчества 14-ти "молодых деятелей". Не могу не улыбнуться, вспоминая этот "грех молодости". Но как бы там ни было, все же наши имена впервые появились в печати.

Вскоре после выхода сборника, Зуров пришел в кружок. Леониду Федоровичу было тогда лет сорок, но выглядел он очень молодо — высокий, стройный. Его строгие, правильные черты смягчались приветливой улыбкой. Обращался он с нами очень просто, по-дружески. Никакой рисовки, никаких котурнов. Глаза его меня сразу поразили — очень светлые, взгляд — почти пронзительный. Казалось, что своего собеседника он видит насквозь. Во всем облике его сквозило что-то светлое, стремительное.

Не без работы мы читали при нем стихи. Зуров слушал внимательно, изредка отмечал то, что ему казалось удачным, или не точным. Казалось, что он всем нам сочувствовал. Как раз

перед самой войной он был избран председателем Объединения Писателей Младшего Поколения. Во время чаепития, Зуров увлекательно рассказывал о довоенных встречах русских литераторов в Монпарнасском кафе, — о том, как за чтением своих произведений и горячими спорами на литературные темы, собеседники засиживались порой до рассвета... Зуров был замечательным рассказчиком. Помню, как он, однажды, вспоминал о своих поездках в Эстонию и о встрече там с деревенской знахаркой, которую крестьяне считали ведьмой. Какой-то мужик ее обидел, не позвав на семейное торжество. Знахарка только сказала: "Вижу, как тебя летом на санях повезут". А когда пришло лето, этого мужика убило в лесу упавшим деревом. Для того чтобы привезти тело в деревню, смастерили некое подобие саней и повезли. А когда поравнялись с избой "ведьмы", она вышла на порог — руки на груди, темный платок до бровей — и как глянула! Зуров рассказывал это так, что — мороз по коже...

Вскоре после этой первой встречи, Вера Стамболи передала, что Леонид Федорович пригласил, Анатолия Величковского и меня навестить его в Буживале. Мы сговорились и приехали в условленный день, часам к одиннадцати утра. Стояла ранняя весна. По радостному небу неслись серые тучи, иногда побрызгивал дождь, и выглядывало яркое солнце.

Зуров встретил нас радушно. Большой пес — волкодав, живший при гараже, не отходил от Леонида Федоровича, видимо уж очень к нему привязался. В полдень мы закусили, разложив наше угощение на небольшом столе. Тарелок в доме не нашлось. Ели мы, как на пикнике, прямо на бумажках. Зуров сказал, что на его попечении есть еще одна собака и у нее сейчас щенята. Он несколько раз вставал из-за стола и относил ей кое-что от нашей трапезы. "Микетка кормит щенят, ей надо побольше есть", — говорил он.

Беседа велась на общие темы, в очень дружеским тоне. Вдруг Леонид Федорович пристально посмотрел на меня: "Вот вы написали стихи об этрусках... Вы давно ими интересуетесь?" Я ответила утвердительно. "А чем именно они вас заинтересовали?" — "Тем, что были народом своеобразным, с особым отношением к смерти... Народ артистичный и даже таинственный. Их писем до сих пор еще не разгадали, хотя над этим

ученые давно бьются” — “А какие книги вы об этом читали?” — Я перечислила, сказав, что последний прочитанный мною труд Бартоломео Ногаро, пожалуй, самый интересный. — “А кто этот Ногаро?” — “Директор Ватиканского музея”.

Я чувствовала себя как на экзамене и надеялась, что заслужу удовлетворительную отметку. Позже я поняла, что это и был своего рода экзамен. Вдруг откуда-то взялась неизвестная молодая особа, которой вздумалось писать стихи об этрусках. Не рисовка ли? Леонид Федорович не терпел никакой фальши.

После завтрака, свистнув собаку, Зуров повел нас гулять. Окрестности Буживаля очень живописны. Мы бродили по тропинкам роши, выходили на поляны сплошь покрытые первоцветом, дышали чистым мартовским ветром. Зуров на ходу иногда срывал какую-нибудь травку и говорил: “А вот это — чистотел. В России девушки настаивают его и умываются этой настойкой... А это — подорожник, целительная трава, его прикладывают к ранам...”

Я смотрела на Зурова, на его легкие светлые волосы и он казался мне лесным ведуном, знающим тайны природы. Что-то знакомое было в его тонком профиле — где-то я уже видела эти черты... И вдруг вспомнила: портрет Леонардо да Винчи, приписываемый *Амброджио да Предис'* Я сказала ему об этом и заинтересовала его — этого портрета он не видал. “Когда будете у меня, я вам покажу, у меня есть репродукция”, — пообещала я. Впоследствии Зуров и сам признавал это сходство.

На этой, хорошо мне памятной встрече, я задержалась долго, потому что она положила начало нашей с Леонидом Федоровичем дружбе, длившейся более 20-ти лет.

У Леонида Федоровича было много друзей, он располагал людей к себе. Большим его другом, едва ли не самым большим, была Вера Николаевна Бунина.

В семье Буниных Зуров прожил долгие годы. Когда я, по приглашению И. А. Бунина, в первый раз пришла на улицу Жака Оффенбаха и поднялась на 5-ый этаж дома № 1, я волновалась. Но меня приняли ласково, хотя Иван Алексеевич был не совсем здоров. Зуров показал мне свою небольшую комнату, где всю стену занимали полки с книгами, стояли простой письменный

стол и по-спартански плоская кровать.

Как по-матерински относилась к Зурову Вера Николаевна Бунина, он всегда старался сохранять свою независимость. Так, например, сам себе готовил пищу. "Покупаю баранью голову, — рассказывал он, — и у меня получается суп и второе блюдо. Хватает на несколько дней". Вообще жил он очень скромно, не позволяя себе никаких излишеств, деньги для него являлись возможностью всецело отдаваться писательской работе. И ездить летом на отдых, подальше от городской суеты, что было для него насущной потребностью.

Время от времени, Вера Николаевна устраивала литературные вечера Зурова. Все хлопоты по организации брала на себя и, обладая большим опытом, делала это очень умело. Как-то раз, она попросила меня поехать вместе с нею продавать билеты. "На это уйдет несколько часов", — предупредила она. Вера Николаевна заранее приготовила список адресов, распределила их, чтобы выгадать время, в последовательном порядке по кварталам. И мы, с двух часов пополудни до самого вечера, шагали или ездили по Парижу, то спускались, то поднимались по лестницам метрополитена. Мы заходили в богатые дома, где перед Буниной распахивались двери. Если хозяев заставляли дома, они принимали с почтением и, после недолгой беседы, передавали в конвертике сумму намного превышающую стоимость билетов. Если же хозяева отсутствовали, билеты мы оставляли. Под конец Вера Николаевна очень устала — ее утомляли лестницы, но все-же выполнила до конца, намеченный ею план. "Учитесь, Тамара, — говорила она, — может быть, и вам в свое время придется так кому-нибудь помогать". Этот вечер Зурова прошел успешно, как обычно приходили его вечера. Большой зал был переполнен. Зуров читал очень хорошо и выразительно. Ему много аплодировали. Результатами вечера Вера Николаевна осталась довольна. На собранные деньги Леонид Федорович мог жить довольно долго.

На летний отдых Зуров ездил со своей палаткой. Ставил ее где-нибудь в живописном месте, подальше от жилья. Жил по-походному, такая жизнь была ему по сердцу. Он много гулял, наблюдал, делал заметки, всегда готовясь к будущей работе. Он

не раз побывал в полюбившейся ему Бретани, где с особым интересом рассматривал древние дольмены и менгиры — священные камни неведомого народа. Изредка я получала открытки с видами или письма, составленные из коротких, точных фраз: "Низкие серые тучи. Дождь. Шум моря. Когда прорывается солнце — жарко. Брожу по скалам. Купаюсь, загораю". В письма он часто вкладывал засушенные полевые цветы, веточки вереска или какой-нибудь листок, красивой формы.

Он съездил в Данию. Побывал в Шотландии, где живут его старые друзья еще по России. В Шотландии разыскал гробницу предков Лермонтова, живших между XIV и XVII вв., в Сент-Эндрью. Зарисовал родовой герб Лермонтовых и даже встретился с последними потомками этого рода, оставшимися в Шотландии. Теперь они носят фамилию Ливингстон-Лермонт. И они знают о своем знаменитом родиче, русском поэте. Статья Зурова об этом была в свое время помещена в "Новом Журнале".

Бывало, что Леонид Федорович сообщал мне о дне и часе своего возвращения в Париж и просил его встретить на вокзале. Он выходил из вагона с большим заплечным мешком и тяжелым тюком свернутой платки. На загорелом лице особенно выделялись его очень светлые глаза, а в них поблескивали веселые искорки. Мы усаживались в ближайшем кафе. Зуров оживленно рассказывал о своих летних впечатлениях, с интересом расспрашивал о новостях нашей литературной жизни... "Сколько я привез записных книжек! — говорил он. — Теперь предстоит еще большая работа разобраться во всем этом материале!". Он всегда готовился к писательской работе. Каким он казался тогда молодым, здоровым, сильным и уравновешенным. Увы! Этот здоровый вид был обманчив. В крепком на вид теле жила больная раненая душа.

Годы шли. Умер Бунин. Через несколько лет — Вера Николаевна. Скоропостижно скончалась Т. С. Конюс, дочь Рахманинова, большой друг и покровительница Зурова. Он тяжело переживал эти утраты.

После смерти Буниных Зуров остался жить в той же квартире. Но из-за жилищного кризиса домоуправление решило отделить часть помещения, считая его слишком большим для

одного человека. И вот, воздвигли стену, отделив ею и самую большую и светлую комнату, бывшую столовую Буниных, окна которой выходили на простор и зелень. Зурову же достался узкий темный коридор прихожей, кухонька, ванная и две комнаты — одна совсем крошечная, другая немногим больше. И обе с безнадежно серыми окнами, грустно глядевшими во двор, на грязные стены домов. Ни клочка неба или зелени...

Думается мне, что эта, разделившая квартиру, новая стена действовала на Леонида Федоровича угнетающе. Она как бы, отгораживала прежнюю, богатую впечатлениями и надеждами жизнь, жизнь согретую заботами Веры Николаевны.

Писать Зурову становилось все труднее. Он и прежде писал медленно, без конца переделывая и поправляя написанное. Он был писателем требовательным к самому себе. К слову относился, как музыкант — к ноте, воспринимая малейшую неточность, как фальшь. В этом смысле он обладал абсолютным слухом. "Когда вещь уже напечатана на машинке, тогда и начинается самая большая работа, — говорил он, — надо с ножницами в руках работать, проверять слово за словом... много вырезать, кое-что добавлять, сверять текст, наклеивать и т. д. И снова перепечатывать, и опять поправлять".

Однажды, когда у нас зашел разговор о литературных критиках, Леонид Федорович проявил большую чуткость. Он сказал: "Критиковать надо очень осторожно, а в особенности произведение молодого автора. Надо прежде узнать, что он за человек. Если он, будучи талантливым и самолюбивым, сомневается в себе, то нельзя слишком строго относиться к его промахам. Указать их можно, но мягко, а то бывает, что такие люди и совсем перестают писать... Ну, а если автор не только уверен в себе, но и самоуверен, то одернуть его полезно".

Время шло. Уходили в лучший мир старые друзья. Скудела литературная жизнь русского Парижа. Леонид Федорович переживал это очень болезненно. Мы с ним встречались довольно часто, т. к. жили недалеко друг от друга. Еще чаще разговаривали по телефону. Зуров больше других нуждался в дружеском общении. "Нельзя жить так врозь, — жаловался он, — поэтам и писателям необходимо встречаться. Хоть

изредка собираться в кафе... беседовать, читать друг другу, обсуждать... Не то задохнешься!"

Свое одиночество он переживал как оставленность. И, действительно, как бы задышался... Много лет назад, он уже переживал период острой нервной депрессии. Не знаю были ли тому причиной его старые ранения или перенесенные в юности потрясения, или, может быть, наследственность. Благодаря лечению и уходу эта депрессия прошла, не оставив следа. Но теперь она вернулась и проявилась особым образом. Зуров казался, как всегда, рассудительным в том, что касалось повседневной жизни. Но его во сне и наяву мучило то, что он считал своими "воспоминаниями".

К тому времени, в моей личной жизни произошла большая перемена. Я вышла замуж и переехала в Ванв — пригород Парижа. Мой муж тоже был старым другом Зурова. Но теперь, из-за дальности расстояния мы с ним гораздо реже виделись. Поддерживать дружескую связь помогал телефон. Леонид Федорович и прежде любил долгие беседы по телефону, а теперь они стали еще более продолжительны. И однажды, мы с мужем услышали рассказ о мучительных видениях, какие бывают при кошмарах, когда человек хочет проснуться и не может, хочет крикнуть и нет голоса...

Большое участие в Зурове тогда приняла С. Ю. Прегель — человек с золотым сердцем. После энергичного и правильного лечения, болезнь прошла. Но повторилась через несколько лет. Очень помог Зурову отец Петр Струве, доктор медицины и врачеватель душ. Бедный больной нуждался как в том, так и в другом. Наконец болезнь, по-видимому, окончательно отпустила его. Но внезапная трагическая смерть о. Петра потрясла Зурова. Нервная депрессия не вернулась, но обнаружилась болезнь сердца. "Я постоянно в холодном поту, — говорил он, — руки дрожат, ничего не могу есть". Ему пришлось лечь в госпиталь. А по возвращении домой придерживаться строгой диеты и есть все без соли. Он мне жаловался: "Все кажется безвкусным, что мне делать?"

Мы с мужем навещали его. Я с грустью замечала, как покрывались пылью загромождавшие письменный стол зуровские рукописи и полки с архивами Бунина.

"Над чем ты теперь работаешь, Лёначка?" — спрашивала я.

"Да вот, все просматриваю свой "Зимний Дворец"... С ним еще много работы, а мне, понимаешь, приходится отвечать на массу писем. Теряю на это время. Вот, когда закончу..." К нему, как к наследнику всего Бунинского архива, не раз обращались не только из западных стран, но и из литературных кругов СССР. Кое-кто из советских писателей, приезжая в Париж, просили Зурова о встрече. С некоторыми он видался, но всегда был настороже. Его приглашали съездить в Советский Союз. Он благодарил, но неизменно отказывался. И каждый раз болезненно переживал и свой отказ, и встречу с людьми "оттуда", не признавая никаких компромиссов. Леонид Федорович и прежде опасался каких-то провокаторов, шпионов и предателей, с годами же эти страхи усилились. Он и нас предупреждал: "Будьте осторожны. Они везде, в самых разных личинах, их много и среди эмигрантов".

Зуров был глубоко верующим человеком. Он остро переживал трагизм положения христиан в Советской России, разрушение церквей, гонения на пастырей и паству и подавление исконного русского духа. Порой казалось, что слабела его вера в русский народ. И это было для него горше всего.

Большой радостью для Леонида Федоровича был переезд Бориса Константиновича Зайцева со всей семьей в дом, находившийся очень близко от улицы Жака Оффенбаха. Теперь Зуров не так болезненно чувствовал свое одиночество. Н.Б. Соллогуб, дочь Зайцева, старый друг, заботилась о нем со всей, присущей ей сердечностью. В доме на авеню дю Шале он окунался в столь нужную ему атмосферу мирного семейного уюта и спокойного писательского труда. В доме бывало много посетителей, велись разговоры и споры на литературные темы. Жизнерадостная молодежь вносила оживление.

В 1971 г. доктор счел нужным для поправки здоровья Леонида Федоровича, послать его в начале сентября в санаторий Акс-ле-Терм, расположенный в Пиренейских горах. Накануне отъезда, я ему позвонила и услышала привычное "Алло, алло!", всегда дважды. Голос казался бодрым. Мы долго говорили. Зуров уезжал охотно, веря, что хорошо поправится. Обещал

написать сразу по приезде о своих впечатлениях... И вдруг, через несколько дней, известие о внезапной кончине Леонида Федоровича от разрыва сердца. Мы, искренно его любившие, потеряли большого друга, русская литература талантливого писателя.

Зуров оставил нам, не считая статей, всего несколько книг: "Отчина", "Кадет", "Древний Путь", "Поле" и наконец (в 1950 г.) сборник рассказов, озаглавленный "Марьянка". Большой роман о днях октябрьского переворота "Зимний Дворец", он так и не написал, хотя долгие годы готовился к этому труду, собирая материал и делая наброски. Он мог писать только о России, о ее исторических путях и судьбах, о русском народе с его возможностями высшего духовного подъема и крайнего падения. Множество путевых заметок так и остались неиспользованными. Первая книга Зурова "Отчина" и помещенный в последнем сборнике рассказ "Обитель", как бы перекликаются и обрамляют его творчество. Здесь проза Зурова достигает большой художественной правды и подлинной поэзии.

Перед ним, как перед ясновидящим, возникают образы русского прошлого. Он пишет: "И я вижу: строят каменный город. Становище. Мужичьи сани. Валуны свозят с окрестных полей, плиты обозами везут из Изборска. Дымят костры. Рати идут на Литву. В далекие боры утекает усеянная курганами, политая кровью дорога, уходит туда, где в борах, закрывая славянский путь к Варяжскому морю, стоит передовой немецкой форпост, выдвинутое немцами при движении на восток волчье гнездо, Новый Городок Ливонский — замок Нейгаузен. Там теперь высятся развалины над рекой Пимжей, поросшие елями, провалившиеся сводчатые погреба, но на уцелевшей башне еще сохранились выложенные рыцарями в рыжем кирпиче белые орденские кресты".

Вот Зуров осматривает колокольни, стены, башни, старые погреба древней Печерской Обители: "Из стрелецкой церкви Николы Ратна проржавевшая железная дверь ведет через темную, с замурованными бойницами, острожную башню с прогнившим полом, на крепостную стену, где еще чудом сохранились деревянные мосты, с которых оборонявшие Обитель инок и

стрельцы когда-то били по польским вора́м и шведским рейтарам из затинных пищалей. Мосты ведут к сторожевой башне, что господствует над Святыми Воротами. Я радуюсь солнцу, ветру, как ребенок. Меня полонило древнее очарование; свободно и легко я живу в тех веках" (...) — "С монастырских, побитых венгерскими, польскими и шведскими ядрами стен, под дующим с Руси ветром, я часами любовался широкой далью, и глаз не мог отвести от утекающих в снежные поля дорог, любовался великим русским небом с медленно тающими облаками, широким и печальным снежным раздольем, синеющими по горизонту лесами. От ветра, грусти и любви, от приливающих чувств влажными становились глаза и все было для меня родным и понятным, словно сердце всегда жило здесь, и я со всеми отошедшими жил по-сыновьи..."

Там же в Печорах, старый дед Оленин рассказывал Зурову о том, как Сама Матерь Божия избрала это место, как явилась на дубу Ее икона и как Царица Небесная спасала и покрывала в годы лихолетий святую обитель. И дед заканчивает предсказанием: "Антихрист на Россию пойдет. Пойдет Антихрист, будет народы к себе преклонять, к перстам печати прикладывать. Дай крови печать. Вот наберет повсюду войско и начнет битву во Пскове. Никола Угодник тогда выедет и Илья Пророк... В Троицком соборе лежат святые князья, и те тогда встанут. Гавриил и Тимофей, и Олександра Невский встанут за нашу землю..."

Тамара Величковская

«ЧАСОВОЙ»

Орган связи российского национального движения.
под редакцией В. В. Орехова

"La Sentinelle". В. Р. 31, Ixelles 4. B-1050 Bruxelles. Belgium.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПРОВОКАЦИИ

(УБИЙСТВО МИРБАХА И ЛЕВО-ЭСЕРОВСКИЙ МЯТЕЖ В
МОСКВЕ В ИЮЛЕ 1918 ГОДА)

Мы все забываем. Мы помним не быль, не историю, а только тот штампованный пунктир, который и хотели в нашей памяти пробить непрерывным долблением.

Я не знаю, свойство ли это всего человечества, но нашего народа — да. Обидное свойство. Может быть, оно и от доброты, а — обидное. Оно отдает нас добычею лжецам.

А. Солженицын

Болезнь памяти — одна из наиболее опасных в наше время. Патологический склероз, охвативший вот уже не одно поколение человечества, принесет еще много горя. Эта потеря памяти наблюдается более всего в Советском Союзе, где при содействии многотысячной армии советских историков, начиная с первого дня большевицкого переворота, фальсифицировалась и перефальсифицировалась история страны. Постоянная закрытость важнейших советских архивов и по сей день не дает возможности ни советским, ни иностранным ученым приоткрыть занавес, скрывающий историю СССР. Но еще страшнее, что фальсификации тенденциозных советских историков переписываются "объективными" западными и отражаются в трудах последних неоспоримой истиной. Эти "погрешности" вызваны чаще всего неумением западных ученых критически подходить к изучению советских источников, но не обходится и без причин идеологических. Некоторые западные историки предпочитают

”не портить отношения с советским правительством” в надежде на получение за свою лояльность к СССР разрешения на работу в советских архивах. Профессиональное тщеславие также бывает помехой объективной работе. Статистические данные по истории советской России, например, чаще всего заимствуются из советских печатных источников. В какой степени можно верить в их правдивость? На этот вопрос ответить трудно, а раз так — ученый должен поставить под сомнение и правильность своих выводов, основанных на непроверенных данных. Увы, но не каждый историк находит в себе смелость честно признаться в невозможности указать истину.

Довольно часто, однако, ошибки западных ученых связаны с простым незнанием фактов советской истории. Так, в вышедшей в 1974 г., и только что переведенной на русский язык книге американского исследователя С. Козна “Бухарин и большевистская революция”¹ читаем: “В конце июня (1918 г.) из-за боязни, что крупные предприятия на оккупированных территориях могут перейти в собственность Германии, советское правительство постановило национализировать “все важные отрасли промышленности”. Подобным же образом растущая угроза голода в городах придала аграрной политике в мае и в июне острый классовый характер и привела к насильственной реквизиции зерна. Еще более важно, однако, то, что в июне и июле разгорелась гражданская война и началась иностранная военная интервенция... Позиция партии большевиков по отношению к ее политическим противникам менялась от вынужденной терпимости вначале до изгнания других социалистических партий из Советов в июне 1918 г., и, наконец, вспышки террора, последовавшего из-за убийства нескольких большевиков и покушения на жизнь Ленина 30 августа 1918 г.”²

То есть в то время, как декреты о национализации начинают

1. Stephen F. Cohen, *Bukharin and the Bolshevik Revolution*, New York, 1974.
С. Козн “Бухарин и большевистская революция”, Strathcona Publishing, Royal Oak, 1980

2. С. Козн, там же, стр. 82-83.

появляться уже в ноябре 1917 г.,³ С. Козн относит их к июню 1918 г. и объясняет желанием Советов эвакуировать промышленные предприятия в глубь страны и предотвратить захват их немцами. Но здесь ошибка и фактического характера: Брест-Литовский договор был подписан в марте 1918 г. и июньские декреты о национализации уже ничего не могли изменить. Допуская анахронизмы, Козн объясняет "вспышки террора" покушением на жизнь большевиков и, в том числе, Ленина. Но эти покушения как раз и последовали в ответ на большевицкий террор. Так, первый карательный орган революции, Военно-революционный комитет, был создан еще до большевицкого переворота.⁴ А 23 ноября 1917 г. СНК предложил ВРК "принять самые решительные меры к искоренению спекуляции и саботажа, скрывания запасов, злостной задержки грузов и пр." Лица, обвиненные в подобного рода действиях, подлежали "по специальным постановлениям Военно-революционного комитета немедленному аресту и заключению в тюрьмах Кронштадта, впредь до предания военно-революционному суду".⁵ Несколько позже возникла ВЧК.

О том, как советское правительство решало вопросы национализации и борьбы с антибольшевицкими настроениями, можно судить по записке Ленина А. Г. Шляпникову и Ф. Э. Дзержинскому, написанной не позднее 7 декабря 1917 г.: "Податель сего, тов. Воробьев, делегат от Урала,⁶ имеет прекрасные рекомендации от местной организации. Вопрос на Урале очень острый: надо *здесь* (в Питере находящиеся) правления уральских заводов *арестовать* немедленно, погрозить судом (революционным) за создание кризиса на Урале и *конфисковать* (курсив везде Ленина — Ю. Ф.) все уральские

3. Фабрика товарищества Ликинской мануфактуры, например, была национализирована 30 ноября 1917 г. (Смотри: "Декреты советской власти", т. I, Москва 1957 г., стр. 105-106)

4. ВРК, к которому после революции перешла вся полнота власти в Петрограде, был создан 25 октября 1917 г. (Все даты даны по новому стилю)

5. Ленин. ПСС, том 35, стр. 89.

6. В. А. Воробьев прибыл в Петроград для информации Ленина о положении дел на Урале.

заводы. Подготовьте проект постановления поскорее".⁷ В декабре 1917 — начале 1918 г. важнейшие предприятия Урала уже были национализированы,⁸ хотя ни внешней, ни внутренней угрозы еще не существовало. Не было оснований и для ареста петроградского правления заводов. Администрация была повинна лишь в том, что задержала выплату жалованья рабочим. Советское же правительство задерживало выплату зарплат периодически вплоть до середины 1920-х годов, объясняя это тяжелым финансовым положением республики.

Гражданская война не "разгорелась", а была вызвана насильственным захватом власти большевиками и заключением сепаратного мира с Германией. Для Ленина, с 1914 г. призывавшего превратить войну империалистическую в гражданскую, она не явилась неожиданностью. Тяжелое продовольственное положение еще более усугублялось насильственными конфискациями хлеба, непошадившими и семенных фондов, что отразилось на урожаях последующих лет, произволом "комитетов бедноты", терроризировавших крестьян.

Ошибки Козна являются следствием утвердившегося среди западных историков мнения, что факты уже известны, необходимо лишь проанализировать их. Но аксиома, применимая к истории США, Западной Европы, неверна для истории СССР. Прежде чем изучать советскую историю, необходимо восстановить ее летопись — простую хронологию событий. Именно эту цель и преследует данная статья. В ней сделана попытка ознакомить читателя с летописью "восстания левых эсеров" в Москве в июле 1918 г. Одновременно, работа, носящая гипотетический характер, подвергает сомнению укоренившееся в западной и советской литературе мнение об убийстве германского посла графа Мирбаха. Построенная исключительно на советской литературе, и лишь малой частью своей на советских же документах, статья, безусловно, не дает окончательного ответа на все поставленные в ней вопросы. Вслед французскому историку Марку Блоку нам остается утешить себя

7. Ленин, ПСС, том 50, стр. 16.

8. "В. И. Ленин и ВЧК", сборник документов, М., 1975, стр. 26.

тем, что иногда важнее сформулировать проблему, чем разрешить ее.

Карьера графа Вильгельма фон Мирбаха в России длилась недолго. Назначенный послом Германии в РСФСР, он прибыл в Москву 23 апреля 1918 г., вскоре после заключения Брест-Литовского мирного договора, чуть не приведшего к расколу в самой большевицкой партии. Условия договора, по которым за Германией оставались Прибалтика, Украина, значительная часть Белоруссии и ряд других территорий, общей площадью до одного миллиона квадратных километров с населением более 50 млн. человек, и предусматривались разоружение армии и флота, и выплата Германии контрибуции в 6 млрд. марок, подверглись резкой критике со стороны левых эсеров. В знак протеста против заключения сепаратного мира они вышли из состава советского правительства. Свои посты покинули В. А. Карелин (нарком имущества Российской республики), А. Л. Колегаев (нарком земледелия), П. П. Прошьян (нарком почт и телеграфов), В. Е. Трутовский (нарком по делам местного управления), И. З. Штейнберг (нарком юстиции) и другие. Левые эсеры, однако, остались в коллегиях наркоматов, военном ведомстве, в различных комитетах, комиссиях и советах. В коллегии ВЧК, в частности, к июлю 1918 г. из 20 человек 7 (и в их числе В. Д. Волков, М. Ф. Емельянов, П. Ф. Сидоров, В. А. Александрович и Г. Д. Закс) были левыми эсерами, а во ВЦИКе четвертого созыва (март-июль 1918 г.) из 207 членов левыми эсерами были 48, а большевиками — 141.

Все политические партии России, включая левых и правых эсеров, кадетов, меньшевиков и монархистов, выступили против позорного мира. Офицерский корпус на юго-востоке страны и в Сибири начал борьбу за освобождение России от немцев и большевиков. Создалась добровольческая белая армия.⁹ В этих условиях надежды Германии на победу в мировой войне во многом зависели от прочности большевицкого строя, так как ни одно другое правительство России не согласилось бы на

9. А. Авторханов, Происхождение партократии, т. I, Франкфурт на Майне, 1973 г., стр. 499.

соблюдение столь выгодного для Германии мира. Интересы Германии и большевиков совпадали. Именно в этом лишний раз убеждал Мирбаха Ленин во время их встречи в Кремле 16 мая. Впрочем, сам Мирбах был далек от симпатий к большевикам. Официальная советская историография называет его "представителем наиболее реакционных феодально-аристократических кругов кайзеровской Германии", считавшим "советский строй в России недолговечным" и связывавшимся "с теми группами русских контрреволюционеров, которые, как ему казалось, должны были скоро прийти к власти".¹⁰

Мирбах был дипломатом. По роду своей профессии он вступал в контакты с различными антисоветскими организациями (но дальше разговоров дело не шло), прежде всего для того, чтобы отнять у Антанты вероятных союзников в России. В донесениях рейхсканцлеру Германии Г. Гертлингу и министру иностранных дел Р. Кюльману он высказывал свое мнение относительно тех или иных аспектов советско-германских отношений. Его высказывания могли быть правильными или ошибочными, но они ни в коем случае не являлись антисоветскими. "Любое крупное наше выступление, — писал он, — при этом вовсе нет необходимости занимать обе столицы — сразу же автоматически приведет к падению большевизма; и так же автоматически заранее подготовленные нами и всецело преданные нам новые органы управления займут освободившиеся места".¹¹ Но это послание Мирбаха не многим отличалось от февральского обращения Ленина, опубликованного в "Правде": "Безусловная необходимость подписания мира вызывается прежде всего тем, что у нас нет армии, что мы обороняться не можем... Россия сейчас беззащитна и будет разгромлена даже ничтожными силами германцев, которым достаточно перерезать главные железнодорожные линии, чтобы голодом взять Петроград и Москву".¹²

10. Д. Л. Голиков, Крушение антисоветского подполья в СССР, М., 1975 г., стр. 183.

11. Донесения Мирбаха опубликованы в журнале "Вопросы Истории", 1971 г., № 9, стр. 120-123.

12. Ленин, Сочинения, том 22, стр. 294-295

Будущее большевицкого правительства Мирбах рисовал в черных красках. Еще в мае он доносил в Берлин, что Ленин несколько недооценивает своих противников,¹³ а 25 июня он сообщал, что "мы, несомненно, находимся у постели тяжело больного, который случайно может еще показать видимость улучшения, но кончина которого предreshена".¹⁴ С целью создания прогерманских группировок в случае падения большевиков Мирбах вступил в контакт с рядом антисоветских организаций. Еще чаще представители этих организаций искали встречи с германским послом. Так, 30 апреля Мирбах сообщал канцлеру: "Те самые круги, которые яростно поносили нас раньше, теперь видят в нас если не ангелов, то по крайней мере полицейскую силу для их спасения".¹⁵ Граф Мирбах, однако, был настроен скептически в отношении большинства анти-советских групп. Вот свидетельство одного из лидеров кадетов в Москве князя Долгорукова: "В середине лета князь Х рассказывал мне, приехав прямо от графа Мирбаха, как он его умолял направить в Москву хоть один германский корпус, чтобы прогнать большевиков. Граф Мирбах отвечал ему, что ежедневно к нему с такой же просьбой обращаются несколько человек.

— Вы, правые, умеете только просить, но за вами никто не стоит, — заключил Мирбах. (П. Д. Долгоруков. Национальная политика и партия народной свободы. Ростов на Дону, 1919, стр. 8). По мнению посла, политическое значение имели лишь три организации — правый центр, одним из руководителей которого был бывший министр земледелия в царской России А. В. Кривошеин, финансовый магнат из Петербурга Ярошинский и временное правительство в Харбине-Омске. 13 июня Мирбах сообщил в Берлин, что после того, как Кривошеин "через членов партии октябристов осторожно спросил, согласна ли германская миссия установить связи с некоторыми представителями "правого центра" и получил утвердительный ответ, он поручил

13. Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte, München, 1968, N 1, S. 80

14. Germany and the Revolution in Russia 1915-1918. Documents from the Archives of the German Foreign Ministry. Edited by Z. A. B. Zeman. London, 1958, p. 139

15. Ibid., p. 121

предпринять дальнейшие шаги двум членам Центрального комитета кадетской партии барону Нольде, бывшему товарищу министра иностранных дел в кабинете Львова, и Леонтьеву, бывшему товарищу министра внутренних дел в том же кабинете". В последнем донесении от 28 июня 1918 г. Мирбах писал, что во время недавней беседы с представителями группы правого центра "князь Урусов и бывший товарищ министра Леонтьев сообщили, как они представляют себе выступление этой группы против большевиков. Надежда на удачу путча, организованного собственными силами, по их мнению, за последнее время возросла. Не исключается возможность, что его удастся осуществить через несколько недель. Если путч удастся, то группа будет вынуждена, чтобы заставить многочисленные другие группы, в особенности в Сибири, присоединиться и подчиниться ей, заключить с ними договор, в котором будет оформлено их право выступать от имени монарха. Затем они собираются опубликовать против большевиков манифест, в котором объявят программу нового правительства, а также о созыве всеобщего Земского (Учредительного) собрания и о заключении мира с другими державами. При этом группа считает нужным выразить пожелание о смягчении Брестского договора, которое вернуло бы России жизнеспособность. Группа все еще обеспокоена возможностью, что царь или другой член царской фамилии попадет в руки Антанты и будет использован ею для своих комбинаций. Группа пытается установить контакты с сибирскими генералами и, как я уже сообщал ранее, удержать генералов с Дона от перехода на сторону держав Антанты и от участия в их комбинациях".

Так много сделавшие для прихода большевиков к власти, немцы не хотели рисковать, а потому на совещании высших политических и военных руководителей, состоявшемся в городе Спа 2-3 июля под председательством Вильгельма II, и посвященном тактике и политике Германии в русской гражданской войне, правительство Германии пришло к выводу, что "если даже монархисты и представляют собою сторонников порядка", оно не должно "предпринимать попыток свергнуть в настоящее время большевиков".¹⁶

16. Советско-германские отношения, том I, Москва, 1968 г., стр. 567.

Но интересы Германии и большевиков совпали также в желании ликвидировать партию левых эсеров. Как правящая советская партия, левые эсеры, призывавшие к разрыву Брест-Литовского мирного договора, представляли большую опасность для Германии. В то же время, большевицко-эсеровская коалиция была не по душе самим большевикам. Как здесь не вспомнить позднюю остроту Бухарина: "У нас могут быть две партии: одна у власти, другая в тюрьме".¹⁷ К тому же левые эсеры не собирались быть послушным придатком большевиков. Спиридонова, например, на 2-м съезде партии левых эсеров, в апреле 1918 г., заявляла, что "за политическую власть борются все партии... нам необходимо взять в свои руки государственный аппарат, военный, дипломатический, технический..."

С 28 июня по 1 июля в Малом зале консерватории проходил третий съезд левых эсеров. В это время партия насчитывала в своих рядах около 80 тыс. членов. Выступавшая на съезде Спиридонова заявила, в частности, что "вся история, вся обстановка борьбы сводится к тому, что нашей партии левых социалистов-революционеров надлежит взять руководящее место во всей дальнейшей борьбе крестьянства и рабочих со своим классовым врагом... Мы вступаем в новую стадию политического продвижения вперед, когда, наверное, мы будем партией господствующей".¹⁸ В резолюции съезда указывалось на несогласие с заключением Брестского мира и организацией комбедов, созданных большевиками декретом ВЦИК от 11 июня 1918 г., но подчеркивался мирный характер предстоящей борьбы: "3-й съезд признает необходимым, чтобы партия без промедления всей силой своего влияния и партийного аппарата выпрямила линию советской политики".¹⁹

Хорошо сознавая общность своих интересов, Германия и большевики, с молчаливого согласия друг друга, готовились к уничтожению партии левых эсеров. Обладая большим опытом конспиративной работы и имея сильные позиции в аппарате ВЧК, эсеры без труда разгадали германо-большевицкий союз. В

17. Правда, 28 марта 1926 г., стр. 3

18. ЦПА ИМЛ, ф. 564, оп. I, ед. хр. 4, л. 188

19. Знамя труда, 2 июля 1918 г.

одном из документов того времени ЦК партии левых эсеров писал, что он имеет в своем распоряжении данные, что граф Мирбах пытался вооружить в Москве и провинции контр-революционные элементы и сосредоточил в Москве и Московском округе склады оружия, которым хотел вооружить военнопленных и белогвардейцев; далее, граф Мирбах пытался провести своих шпионов в советские учреждения (в частности, в ВЧК). Левые эсеры сообщали также, что с согласия Мирбаха большевики вооружают германских военнопленных во всей Московской области. "Вооружение происходит в Кремле по приказанию Ленина большевиком Бела Куном... По предписанию Ленина и Троцкого в Москву стягиваются военные отряды". В опубликованных эсерами документах указывалось, что "немецкие шпионы и провокаторы, которые наводнили Москву и частью вооружены, требуют смерти левых эсеров", что военные отряды стягиваются в Москву Лениным и Троцким, чтобы "расстрелять всех левых эсеров". "Против нас вооружаются германские военнопленные". Несколько позже один из левых эсеров, представших перед большевистским судом, Саблин, в своих показаниях заявил, что на допросах военнопленных из частей Бела Куна было установлено, что пленным говорили о левых эсерах, как о людях, желавших убить всех австро-германцев, начиная с Мирбаха.²⁰ Следовательно, еще задолго до террористического акта миф о стремлении левых эсеров убить Мирбаха распространился самими большевиками.

Не оглашая своих целей, Ленин приступил к формированию интернациональных отрядов в Москве сразу же после подписания Брест-Литовского мирного договора. В марте 1918 г. он принял трех видных интернационалистов-большевиков — Бела Куна, Тибора Самуэли и Деже Фараго. Речь шла о "массовом вовлечении военнопленных в Красную Гвардию", причем Кун и Самуэли "изложили широко задуманные планы вовлечения венгерских военнопленных..." Ленин ответил согласием.

20. Цит. по "Красной книге ВЧК", т. I, М., 1920 г.

21. Об октябрьской революции. Воспоминания зарубежных участников и очевидцев. Москва, 1967 г., стр. 290-292.

Большевики преследовали двоякую цель: интернациональные отряды могли быть использованы как для борьбы с внутренними антибольшевицкими организациями, так и для ведения революционной войны на родине военнопленных.

Факт вооружения военнопленных, уже после подавления восстания левых эсеров, пытался отрицать Троцкий. Выступая на 5-м Всероссийском съезде Советов, он заявил, что "в распоряжение Советской власти отдал себя отряд интернационалистов, руководимый старым венгерским товарищем Бела Куном. По этому поводу со стороны левых с.-р. и со стороны крестьянской сессии ВЦИК, руководимой ими, была пушена в оборот клевета, будто мы вооружаем германских пленных немцев, тогда как на самом деле нам предложил свои услуги небольшой, но тесно сплоченный коммунистический социалистический венгерский отряд, руководимый старым венгерским социалистом..."²² Троцкий лгал. О формировании боевых частей из германских и австро-венгерских военнопленных первой мировой войны знали уже и за границей. Вопрос этот, в частности, обсуждался в Конгрессе США в июне и июле 1918 г.²³ Также, вместе с признанием Троцкого и документальными доказательствами участия в боевых действиях 7 июля венгерского отряда Бела Куна, имеются архивные документы, подтверждающие и то, что при подавлении левозеро-вского "мятежа" большевиками был использован "немецкий военный интернациональный отряд".²⁴

Не исключавшая возможности провокаций, а то и прямых нападений со стороны большевиков-интернационалистов вооруженных военнопленных, партия левых эсеров находилась в постоянной готовности к самозащите. Еще весной 1918 г., по решению левозеро-вского ЦК, в ответ на вооружение большевиками австро-германских пленных, эсеры стали создавать боевые дружины, в состав которых обязан был входить

22. Л. Троцкий, Сочинения, серия 5, том 17, часть 1, Москва-Ленинград, 1926, стр. 458.

23. Congressional Record, 65th Cong., 2nd Sess. (June 20, 1918) pp. 8064-8065; ibid., (July 13, 1918), p. 9123.

24. ЦАОР, ф. 94, оп. 2, д. № 1116.

каждый член партии. К началу июля подобные дружины существовали в Москве, Петрограде, многих губернских городах и уездных центрах, имея в своем составе несколько десятков, а иногда — несколько сотен человек. Военными силами руководил Главный штаб Всероссийской боевой организации при ЦК партии левых эсеров. В конце июня 1918 г. в него входили Д. А. Магеровский, А. М. Орешкин, И. П. Нудьга, Бедавкин, Иванов и Простосельский. Начальником штаба был Котляревский.²⁵ Московский комитет партии левых эсеров объявил дополнительную мобилизацию своих членов.²⁶ В Москве формировался также Отряд особого назначения Дружины Всероссийской боевой организации партии левых эсеров, подчиненный комиссару московского военного округа Н. И. Муралову и числившийся при Московском областном военном комиссариате. Но в то время, как партия левых эсеров готовилась защищать советскую власть, и себя — как часть этой власти, от посягательств контрреволюции, Ленин планировал уничтожение самой партии левых эсеров. Усиление военных позиций левых эсеров беспокоило Ленина, так как существенно осложняло выполнение поставленной им задачи. Свои опасения он высказал Муралову:

— Что это у вас какой-то отряд левых эсеров, вы ему доверяете?

— Да, этот отряд хорош...

— Гм, гм... на всякий случай следите за ними зорко. Муралов продолжает: "Почему, подумал я, Ильич взял под сомнение левых эсеров?... неужели дело может дойти до вооруженного столкновения? На всякий случай решил часто проверять его (имеется в виду отряд — Ю. Ф.), присматриваться и постепенно заменять комсостав".²⁷

Боевым ядром партии левых эсеров являлся отряд ВЧК под командованием левого эсера Д. И. Попова. К 6 июля в отряде насчитывалось около 800 человек, большую часть которых составляли демобилизованные солдаты и матросы, в том числе

25. Архив отдела истории КПСС ИМЛ, инв. № 288, л. 42

26. Знамя труда, 29 июня 1918 г.

27. Н. Муралов. Встречи с Ильичом на военной работе. "Спутник политработника", 1926 г., № 7, стр. 28

черноморские. Позднее Дзержинский, не понимая, что своим заявлением бросает тень не столько на эсеров, сколько на большевиков, показал, что отряд Попова очень напоминал по своему быту и нравам тех самых бандитов, которых им во имя революции полагалось разоружать. Он указывал также на факты попок, злоупотреблений, хищений, и об отряде в целом говорил мало лестного.

Впрочем, ни большевиков, ни левых эсеров, занятых подготовкой к 5-му Всероссийскому съезду Советов, не слишком интересовал моральный облик отряда ВЧК. Двум партиям предстояло столкнуться по вопросам более серьезным. Несмотря на чинимые большевиками препятствия, левые эсеры получили на съезде примерно одну треть мест — из 1164 делегатов 773 были коммунистами и 353 левыми эсерами. В своих выступлениях эсеры подвергли резкой критике как внутреннюю (организация в деревне комитетов бедноты, создание продовольственных отрядов, введение смертной казни и террор), так и внешнюю политику большевиков (сепаратный мир и коллаборация с немцами). В день открытия съезда, 4 июля, член ЦК партии левых эсеров Б. Д. Камков обвинил большевиков в том, что "у нас оказалась не самостоятельная советская власть, а лакеи германского империализма".²⁸ Он обрушился и на графа Мирбаха, сидевшего в дипломатической ложе, заявив, что солдаты "не будут слепыми свидетелями того, как рукой германского разбойника, рукой тех палачей, которые сюда явились, рукой мерзавцев, грабителей, разбойников..." Он не закончил фразы из-за начавшегося в зале шума.²⁹ Член ЦК левых эсеров Черепанов заявил, что левые эсеры распустят комитеты бедноты и выгонят из деревень и сел продотряды, прибывшие для конфискации хлеба. Затем слово взяла Мария Спиридонова. Она сказала: "... Я сейчас выступаю перед вами, как яростная противница партии большевиков, я, которая с самого начала выхода из тюрьмы целиком спаялась с ними в

28. Прочитировано в примечании к Сочинениям Троцкого, том 17, стр. 718.

29. Пятый Всероссийский съезд Советов. Стенографический отчет. Москва, 1918 г., стр. 24.

борьбе, я в партии социалистов-революционеров была без передышки и делала очень много (смех) для того, чтобы расколоть партию социалистов-революционеров, чтобы отмежеваться от правых... Я, связанная с крестьянством, вы знаете, как сильно, я с искренностью, в которой вы не можете сомневаться (голос: "Нахалка!"), вы, товарищи, большевики, крестьяне..."³⁰ Шум в зале не дал ей закончить мысль. Большевики устроили обструкцию оратора.

Парируя критику левых эсеров, Ленин заявил, что "наша правота в деле заключения Брестского мира была доказана всем ходом событий. И те, кто на предыдущем съезде Советов пробовал отпускать плохие остроты насчет передышки, научились и увидали, что мы получили, хотя и с неимоверным трудом, отсрочку, и за время этой отсрочки наши рабочие и крестьяне сделали громадный шаг вперед к социалистическому строительству...." Ленин указал далее, что между левыми эсерами и большевиками происходит не ссора, а бесповоротный разрыв. Вместе с тем он фактически подтвердил правильность мартовской позиции левых эсеров, левых коммунистов и Троцкого, когда сказал, что "державы Запада сделали громадный шаг вперед к той пропасти, в которую империализм падает тем быстрее, чем идет дальше каждая неделя этой войны".³¹ Ведь если Германия оказалась на краю гибели менее, чем через три месяца после заключения Брестского мира, ведя военные действия лишь на одном фронте и получая постоянную материальную помощь России и продовольствие Украины, как глубоко на дне этой пропасти лежала бы кайзеровская империя, вынужденная вести войну на два фронта?

С защитой Брест-Литовского мирного договора на съезде выступил Троцкий. Он зачитал резолюцию, которая являлась частью — военным приказом, частью — постановлением, не подлежавшим обсуждению. В ответ на это член ЦК партии левых эсеров Карелин заявил, что до доклада мандатной комиссии левые эсеры не будут принимать участия в

30. Пятый Всероссийский съезд Советов. ., стр. 55

31. Ленин, ПСС, т. 36, стр. 495

голосовании. Кроме того, они усматривают в предложении Троцкого попытку предрешисть ряд политических вопросов, еще подлежащих обсуждению.³² Спровоцированная большевиками, фракция левых эсеров покинула зал заседаний. В результате, "съезд принял единогласное решение по всем вопросам в духе большевиков".³³ Это, однако, вряд ли могло удовлетворить Ленина, понимавшего, что левозэсеровские резолюции по вопросам внутренней политики находят поддержку в массах, особенно крестьянских, в то время как эсеровское постановление "разорвать революционным способом гибельный для русской и мировой революции Брестский договор..." притягивает к себе и часть большевицкой партии. Влияние левых эсеров должно было возрасти еще больше с первыми признаками тотального голода и крахом германской Империи. Последнее, казалось, трудно было предвидеть в июле 1918 г. Но возможно, что уже в июле Ленин, с не раз спасавшей его интуицией мастера революции, понял, насколько опасной для большевиков станет партия левых эсеров в ближайшие месяцы. Объявляя о бесповоротном разрыве с эсерами и слабости держав Запада он, казалось, был готов к войне и с первыми и со вторыми. Именно в этот момент и произошло убийство германского посла графа Мирбаха. В течение нескольких дней партия левых эсеров, уверенно шедшая к первенству, была разгромлена.

6 июля 1918 г., примерно в два часа дня, к германскому посольству в Денежном переулке, в Москве, явились начальник отдела ВЧК по борьбе со шпионажем Яков Блюмкин и фотограф того же отдела Николай Андреев, назвавшийся членом революционного трибунала. На Блюмкине лежали также функции обеспечения безопасности дипломатического корпуса в Москве и заведование отделением "по наблюдению и охране посольства и за возможной преступной деятельностью посольства", как позже показал Лацис. Формальным поводом для визита представителей ВЧК в германское посольство и требования встречи с Мирбахом было дело человека, сидевшего

32. Л. Троцкий, том 17, часть I, примечание, стр. 715

33. Ленин, ПСС, т. 36, примечание, стр. 628-629.

в тюрьме ВЧК и, по заявлению чекистов, являвшегося графом Робертом Мирбахом — племянником посла. За что был арестован Роберт Мирбах, называемый "немецким шпионом", что с ним стало потом, и был ли он в действительности — не ясно. Уже после убийства германского посла Старейший посольства, доктор Рицлер, сообщал по телеграфу в Берлин, что "покушение готовилось заранее. Дело об австрийском офицере Роберте Мирбахе было только предлогом для работников ВЧК проникнуть к послу кайзера".³⁴ Лацис позднее показал, что "дело Мирбаха возникло в связи с самоубийством Ландстрем"; но о самом Ландстрем нигде нет никаких упоминаний. Зато в Красной книге ВЧК опубликован фотоснимок следующего заявления: "Добровольно, по своему желанию, обязуюсь доставить Чеке секретные сведения о Германии и германском посольстве в России". Заявление было подписано на немецком языке графом Робертом Мирбахом, причем эта подпись была неграмотна и сделана явно не им. Ясно, однако, что "Дело Мирбаха" относилось к шпионажу, шло по ведомству Блюмкина и, таким образом, давало Блюмкину и Андрееву возможность прийти к послу с официальным советским мандатом.

Явившись в посольство, Блюмкин и Андреев предъявили удостоверение, подписанное председателем ВЧК Дзержинским и секретарем И. К. Ксенофоновым. В удостоверении указывалось что "ВЧК по борьбе с контрреволюцией уполномочивает ее члена Якова Блюмкина и представителя Революционного Трибунала Николая Андреева войти непосредственно в переговоры с господином германским послом в России графом М. Мирбахом по делу, имеющему непосредственное отношение к самому господину германскому послу".³⁵ Пришедших встретили и приняли советники посольства лейтенант Леонгардт Мюллер и доктор Рицлер, но чекисты настаивали на свидании с послом. После ряда разъяснений Рицлер согласился, и Мирбах, без колебаний, вышел к Блюмкину и Андрееву. "Красная книга

34. Staatsarchiv Dresden. Ausenministerium Nr. 2080. Informatiorische Aufzeichnung Nr. 73, vom, 8. Juli 1918.

35. Л. Троцкий, Сочинения, том 17, ч. I, примечание, стр. 716

ВЧК" так описывает завязавшийся диалог:

Блюмкин: Мы явились по делу венгерского офицера графа Роберта Мирбаха и полагаем, что для господина посла дело представляет интерес.

Мирбах: Ничего общего я не имею с этим офицером, и дело мне чуждо. В чем суть дела?

Блюмкин: Через день это дело будет поставлено на рассмотрение трибунала.

Андреев: По-видимому, господину послу угодно будет знать меры, которые могут быть приняты против него?

Это был условный пароль. Блюмкин, повторив эту фразу, кажется, добавил "это я вам сейчас покажу..." и с этими словами выхватил револьвер и выстрелил сначала в Мирбаха, а затем в Рицлера и Мюллера, но промахнулся все три раза. Рицлер и Мюллер спрятались под массивный стол с мраморной крышкой. Андреев бросил в Мирбаха бомбу, но бомба не взорвалась. Мирбах побежал в другую комнату, но упал: пуля, пущенная, по утверждению Рицлера, из револьвера Андреева, попала ему в затылок. Последовавший за Мирбахом Блюмкин бросил вторую бомбу. Террористы выскочили в окно, сели в ожидавший их с заведенным мотором и шофером открытый автомобиль № 27-60, принадлежавший ВЧК, и уехали. Блюмкин, однако, повредил себе ногу во время прыжка из окна и был к тому же ранен, так как охрана посольства открыла стрельбу по убегавшим. В суматохе террористы забыли портфель, в котором было "дело" Роберта Мирбаха, удостоверение на имя Блюмкина и Андреева, револьвер и бомба английского образца. Все произошло в течение 40 минут.

Сегодня трудно восстановить детали событий июля 1918 г. Но один криминалистический вопрос должен быть хотя бы поставлен: кто убил Мирбаха? Был ли он убит пулей, выпущенной из револьвера Андреева или бомбою Блюмкина? Но уже тогда, в 1918, молва, дирижируемая большевиками, уверенно приписывала смерть германского посла Блюмкину.

В первые 15 минут после взрыва в посольстве царил неразбериха. Попытки сообщить представителям советской власти о случившемся по телефону окончились безрезультатно. Тогда, примерно в три часа дня, сотрудник посольства барон

Карл фон Ботмер и переводчик лейтенант Мюллер поехали в НКВД, находившийся на Театральной площади (площадь Свердлова) в гостинице "Метрополь". Здесь они встретили заместителя наркома иностранных дел Карахана, которому и сообщили о случившемся.³⁶ Карахан позвонил Чичерину, тот — управляющему делами Совнаркома Бонч-Бруевичу, и лишь последний — Ленину. Ленин приказал усилить охрану германского посольства, а самому Бонч-Бруевичу поехать туда и по телефону сообщить все, что узнает. Ленин, тем временем, позвонил Дзержинскому, а затем вызвал к себе председателя ВЦИК Свердлова и наркома по военным и морским делам Троцкого. Содержание бесед с Дзержинским, Свердловым и Троцким неизвестно.

Узнав о покушении, и еще не зная его подробностей, Ленин повел себя крайне странно. Он не сообщил о террористическом акте ни заседавшему в Большом театре съезду Советов, ни союзной партии большевиков — левым эсерам, ни в отряд ВЧК, к которому, вероятно, обратился бы в любом другом случае. Ленин, однако, через Моссовет, в 4 часа 20 минут, передал свою первую телефонограмму во все районные комитеты партии большевиков, районные советы депутатов и штабы красной армии, т. е. в организации, контролируемые целиком и полностью большевиками: "Около трех часов дня брошены две бомбы в немецком посольстве, тяжело ранившие Мирбаха. Это явное дело монархистов или тех провокаторов, которые хотят втянуть Россию в войну в интересах англо-французских капиталистов, подкупивших и чехословаков. Мобилизовать все силы, поднять на ноги все немедленно для поимки преступников. Задерживать все автомобили и держать до тройной проверки".³⁷ Следовательно, уже тогда Ленин заподозрил эсеров и отряд Попова в причастности к убийству германского посла. Ленин не сообщил также о смерти германского посла, хотя за час до его телефонограммы, в три часа 15 минут, 47-летний граф Мирбах скончался.³⁸

36. K. Bother. Mit Graf Mirbach in Moskau. Tübingen, 1922, S. 73

37. Ленин, ПСС, том 50, стр. 112-113.

38. Архив отдела истории КПСС ИМЛ, инв. № 228, л. 72.

Для расследования террористического акта в посольство приехал Дзержинский, председатель ВЧК и, вероятно, единственный член Коллегии ВЧК, извещенный о покушении. Советский историк пишет: "Осмотрев оставленное убийцами удостоверение, он установил, что подписи на нем подделаны, хотя печать ВЧК и бланк удостоверения — подлинные".³⁹

Знал ли Дзержинский Блюмкина и Андреева? Блюмкина, безусловно, знал. Известно, что, незадолго до убийства германского посла Осип Мандельштам, взбешенный угрозами чекиста Блюмкина расстрелять какого-то иностранного графа-искусствооведа, "хилого интеллигента", обратился к Ларисе Рейснер за помощью; и та, через своего мужа — Раскольникову, добилась приема у Дзержинского, к которому и отправилась вместе с Мандельштамом. "Дзержинский выслушал Осипа Мандельштама, затребовал дело, принял поручительство Осипа Мандельштама и приказал выпустить искусствоведа... Дзержинский заинтересовался и самим Блюмкиным и стал о нем расспрашивать Ларису. Она ничего толком о Блюмкине не знала... А жалоба Осипа Мандельштама на террористические замашки этого человека осталась, как и следовало ожидать, гласом вопиющего в пустыне".⁴⁰

Не ясно, почему председатель ВЧК Дзержинский проявлял такую неосведомленность. Если верить его реакции на упоминание Мандельштамом и Рейснер имени Блюмкина, о начальнике своего секретного отдела он слышал впервые (а тогда, вероятно, не знал и об узнике "графе Роберте Мирбахе", сидевшем в тюрьме ВЧК). Но, возможно, Дзержинский лишний раз обеспечивал свое алиби, делая вид, что не знает ни о Блюмкине, ни о планируемом убийстве Мирбаха. В противном случае остается уверовать в некомпетентность Дзержинского, как руководителя ВЧК, с чем согласиться еще труднее. И тогда ошибается Надежда Мандельштам, когда пишет, что "Дзержинский вспомнил о посещении Осипа Мандельштама только после убийства Мирбаха".⁴¹ Дзержинский помнил о

39. Д. Л. Голиков, Крушение Антисоветского подполья в СССР. Москва, 1975 г., стр. 159.

40. Н. Мандельштам. Воспоминания. Нью-Йорк, 1970, стр. 112-113.

41. Там же, стр. 113.

беседе с Мандельштамом и Рейснер. Уже после подавления восстания левых эсеров он, по свидетельству Красной Книги ВЧК, показал, что на Блюмкина были жалобы, расследование которых было поручено Александровичу. Александрович к этому времени уже был расстрелян, а потому ни подтвердить, ни опровергнуть показаний Дзержинского не мог.

Сделав первые распоряжения, Ленин вместе со Свердловым и Чичериным прибыл в германское посольство, где кроме Дзержинского с несколькими чекистами находились Бонч-Бруевич и Карахан. Выразив соболезнования "по поводу случившегося внутри здания посольства, где Советская власть не имела возможности оказать помощь германским дипломатам", Ленин сказал, что "все будет немедленно расследовано и виновные понесут заслуженную кару".⁴²

С этого времени уже были известны имена террористов. Тем не менее, они держались в секрете вплоть до окончания "мятежа" левых эсеров. Лишь в официальном правительственном сообщении от 8 июля, написанном Троцким, впервые упоминалось, что, "некий Блюмкин произвел по постановлению центрального комитета партии левых эсеров убийство германского посла графа Мирбаха".⁴³ Об Андрееве известно еще меньше. Его имя впервые было названо 14 июля.⁴⁴ О его партийной принадлежности ничего не сообщалось. В первый и в последний раз он был причислен к партии левых эсеров в примечании к собранию сочинений Троцкого 1926-го года.⁴⁵ Но это единственное позднее указание вряд ли внушает доверие. Андреев не был пойман ни сразу после покушения на посла, ни позже. Соучастник Блюмкина исчез. Третий участник террористического акта — шофер автомобиля, был незаслуженно предан забвению как чекистами-большевиками, так и историей.

В момент нахождения в германском посольстве представителей советского правительства во главе с Лениным, туда

42. Л. М. Спирин. Крах одной авантюры (Мятеж левых эсеров в Москве 6-7 июля 1918 г.) Москва, Политиздат, 1971, стр. 15.

43. Известия ВЦИК, 8 июля 1918 г.

44. Известия ВЦИК, 14 июля, 1918 г.

45. Л. Троцкий, Сочинения, том 17, часть 1, примечание, стр. 715.

приехал на автомобиле комиссар ВЧК, сотрудник отдела по борьбе с преступлениями по должности А. Я. Беленький. Он сообщил, что видел Блюмкина в отряде Попова, в здании ВЧК, расквартированном в Трехсвятительском (ныне Большом Вузовском) переулке. Было ли случайностью то, что Блюмкин "наткнулся" на Беленького? Если и да, то случайностью подозрительной. Беленький, безусловно, еще не мог знать имен террористов, да и вообще не должен был быть посвящен в случившееся, если не получил информацию от самого Дзержинского. Встретив Блюмкина, он тотчас поехал в Денежный переулок, будто специально для того, чтоб доложить об этом Ленину и Дзержинскому, и, несмотря на директиву Ленина "задержать все автомобили и держать до тройной проверки", благополучно прибыл в посольство.⁴⁶ По словам советского историка в это же время "пришло известие, что заместитель Дзержинского Александрович и некоторые другие левые эсеры исчезли из здания ВЧК,⁴⁷ причем Александрович прихватил с собой 550 тыс. рублей".⁴⁸ Откуда была получена эта информация — неизвестно. Кому, принимая во внимание убийство германского посла, мог показаться странным выезд, возможно "деловой", нескольких левых эсеров-чекистов, во главе с заместителем Дзержинского Александровичем? Кто мог узнать о взятых, вероятно, из личного сейфа, 550 тыс. рублях и обвинить заместителя председателя ВЧК в краже? Создается впечатление, что за левыми эсерами следили, и очень внимательно, начиная с момента покушения на Мирбаха.

Председателю ВЧК естественно было бы заподозрить заговор, но Дзержинский, всегда осторожный и бдительный, имея при себе лишь нескольких чекистов, решил поехать в отряд Попова, чтобы арестовать "Блюмкина и тех, кто его укрывает".⁴⁹ Ленин, Свердлов и Бонч-Бруевич отправились, тем

46. Уже после подавления "восстания" левых эсеров, в 1919 г., Беленький стал начальником охраны Ленина и оставался на этом посту до смерти последнего, а, следовательно, есть основания предполагать, что и в июле 1918 г. Беленький мог быть одним из приближенных к Ленину чекистов.

47. Не путать со зданием военного отряда ВЧК в Трехсвятительском переулке.

48. Спирин Л. М., указ. соч., стр. 15-16.

49. Спирин, указ соч., стр. 15

временем в Кремль. Позже Дзержинский показал: "Партию левых социал-революционеров я не подозревал еще, думал, что Блюмкин обманул ее доверие".⁵⁰ То есть — не доверие советской власти, и даже не его, Дзержинского, доверие, но доверие партии левых эсеров. Но тогда тем более кажется странным, что только что, узнав о причастности Блюмкина к террористическому акту, Дзержинский уже собрался арестовывать "укрывавших" его левых эсеров, быть может, ничего и не знавших.

Вообще, в манере для себя непривычной, большевики неоднократно подчеркивали свою полную растерянность перед происшедшим. Ленин, например, писал впоследствии: "Чтобы дело могло дойти до восстания или до таких фактов, как измена главнокомандующего Муравьева, левое эсера, этого я, признаться, никак не ожидал".⁵¹ Не ожидал. Но за эсеровскими отрядами следил давно, а 7 июля просил передать по прямому проводу в Казань приказ "установить тройной контроль над Муравьевым". Председателю РВС Восточного фронта П. А. Кобзеву и членам РВС фронта К. А. Мехоношину и Г. И. Благонравову предписывалось попеременно дежурить при Муравьеве, не оставляя его одного "ни на один миг". "Телеграфируйте мне сейчас, — продолжал Ленин, — можете ли вы гарантировать, что Муравьев не пойдет на эту глупую авантюру, а также, что вы в точности исполните предписание о строжайшем контроле"⁵² Отвечая Ленину, Мехоношин "сообщил об отказе М. А. Муравьева от звания члена партии левых эсеров, поскольку эта партия пошла против советской власти".⁵³ Но "доверчивому" Ленину и этого казалось мало. "Запротоколируйте заявление Муравьева о его выходе из партии левых эсеров, — настаивал он, — продолжайте бдительный контроль".⁵⁴ Ленин не ошибся в своей подозрительности. Вечером 10 июля Муравьев безуспешно пытался поднять

50. Красная книга ВЧК, том I, стр. 191.

51. Ленин, ПСС, том 37, стр. 385.

52. ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. I, ед. хр 6512, лл. 6-7. Текст написан рукою Н. П. Горбунова.

53. Ленин и ВЧК, стр. 85

54. Ленин, ПСС, том 50, стр. 116

восстание против большевиков и объявить войну Германии. 11 июля он был убит.

В перерывах между заседаниями съезда и его фракций члены ЦК партии левых эсеров собирались в особняке Большого Трехсвятительского переуллка, в здании отряда ВЧК. Оно являлось наиболее надежным местом пребывания еще и потому, что левые эсеры опасались, что будут арестованы за свои антибольшевицкие речи на съезде. Доказывая наличие заговора, Красная книга ВЧК ссылается на якобы состоявшееся 24 июня 1918 г. секретное совещание ЦК партии левых эсеров, на котором было принято постановление, указывавшее на необходимость "в самый короткий срок положить конец так называемой, передышке, создавшейся благодаря ратификации большевицким правительством Брестского мира". В этих целях ЦК партии считало "возможным и целесообразным организовать ряд террористических актов в отношении виднейших представителей германского империализма".⁵⁵ Здесь возникают новые вопросы, даже если и предположить, что Красная книга ВЧК пишет правду. Чем объяснить, что ЦК левых эсеров не указал ни сроков террористического акта, ни будущую жертву его, хотя посла убили уже через 12 дней после совещания, а "дело Роберта Мирбаха" появилось в архивах ВЧК задолго до 24 июня.

Но предположим лишь на минуту, что ЦК левых эсеров знал о предстоящем покушении, а об успешном исполнении акта был извещен самим Блюмкиным, который, приехав в отряд Попова примерно в три часа дня, был, по словам советского историка, "острижен, выбрит, переодет в солдатскую форму и помещен в лазарет ВЧК, находившийся там же, в Трехсвятительском переуллке".⁵⁶ Чем объяснить тогда, что, давно ко всему готовый ЦК левых эсеров бездействовал вплоть до приезда Дзержинского с чекистами Беленьким, Трепаловым и Хрусталевым в шестом часу вечера? Лишь с этого момента, и в ответ на акции Дзержинского, левые эсеры начали пассивно сопротивляться и действовать. Когда, в поисках Блюмкина, Дзержинский подвергал обыску комнаты здания, он застал в

55. Красная книга ВЧК, том I, стр. 129.

56. Спирин, указ. соч., стр. 34

одной из них ЦК левых эсеров. Позднее, в официальном докладе правительству, Дзержинский так описывал происшедшее: "В сопровождении нескольких десятков вооруженных матросов подошли ко мне левые эсеры Прошьян и Карелин, заявив мне, что я напрасно ишу Блюмкина..., что Блюмкин убил графа Мирбаха по распоряжению ЦК партии эсеров. В ответ на это я объявил Прошьяна и Карелина арестованными, сказав присутствующему при этом начальнику отряда Попову, что если он, как подчиненный мне, не подчинится и не выдаст их, то я моментально пушу ему пулю в лоб, как изменнику. Прошьян и Карелин тут же заявили, что они повинуются моему приказанию, но, вместо того чтобы пойти в мой автомобиль, они вошли в соседнюю комнату, где заседал ЦК, и вызвали Спиридонову, Саблина, Камкова, Черепанова, Александровича, Трутовского, начальника их боевой дружины Фишмана и других. Меня окружили со всех сторон матросы; вышел Саблин и приказал мне сдать оружие. Тогда я обратился к окружающим матросам и сказал: позволяют ли они, чтобы какой-то господин разоружил меня, председателя ЧК, в отряде которой они состоят. Матросы заколебались. Тогда Саблин, приведший 50 матросов из соседней комнаты, при помощи Прошьяна (который схватил меня за руки) обезоружил меня. После того, когда отняли у нас оружие, Черепанов и Саблин с триумфом сказали: вы стоите перед свершившимся фактом. Брестский договор сорван, война с Германией неизбежна".⁵⁷ Затем Карелин и Камков объявили, что согласно постановлению ЦК партии левых социалистов-революционеров Спиридонова сейчас отправится на заседание Всероссийского съезда Советов и там доложит о том, что, волею партии левых эсеров русский народ освобожден от Мирбаха". Обращаясь к Дзержинскому и его спутникам, они заявили:

— Вы будете служить нам гарантией безопасности Спиридоновой".⁵⁸

На что рассчитывал Дзержинский, прибывший в отряд ВЧК с малочисленной охраной, собиравшийся арестовать двух членов

57. Ф. Э. Дзержинский, Избр. произведения, т. I, М., 1967, стр. 264- 265

58. Спирин, указ. соч., стр. 35

ЦК партии левых эсеров и "пустить пулю в лоб" Попову? Понятно, что ЦК предпочел "временно задержать" самого Дзержинского, а заодно оставить его заложником безопасности Марии Спиридоновой, спешно выехавшей в Большой театр, где находилась фракция левых эсеров. Но почему ЦК не отправился туда еще в три часа дня, не объявил о подготовленном и осуществленном им террористическом акте и не перехватил инициативу в свои руки? Ответ на эти вопросы — однозначен. Убийство Мирбаха явилось полной неожиданностью для партии левых эсеров и ее ЦК. В течение более чем двух часов, т. е. с момента приезда Блюмкина и до прибытия Дзержинского, ЦК левых эсеров решал, как реагировать на террористический акт. Основной расчет Ленина строился на том, что левые эсеры, так долго клеймившие Мирбаха, не найдут в себе мужества отмежеваться от террористического акта.

Троцкий заявлял впоследствии: "Когда по первым непроверенным сведениям мы узнали, что дело идет об акте левых эсеров, мы еще были уверены в том, что не только партия, но и Центральный комитет ее ни в каком случае не захотят и не смогут солидаризироваться с этим актом, что они к нему не имеют отношения. Именно этим и объясняется, что т. Дзержинский, узнав о том, что убийцей является Блюмкин, отправился не во фракцию левых эсеров, а в отряд Попова".⁵⁹ Троцкий умолчал, однако, что в здании отряда ВЧК находились виднейшие члены ЦК партии левых эсеров, в то время, как обезглавленная фракция заседала в Большом театре. Большевикам важно было скомпрометировать ЦК партии, а не фракцию Съезда. Троцкий не сообщил также, что после убийства Мирбаха Блюмкин приехал в отряд Попова, а потому, если Дзержинский действительно искал Блюмкина, а не арестовывал "укрывавших" его членов ЦК, председателю ВЧК нечего было делать в Большом театре.

Ленин сознавал простоту и беспроницаемость своего плана. Он понимал, что для партии левых эсеров, прежде всего для ее ЦК, осуждение убийства Мирбаха будет равносильно самоубийству. ЦК пришлось бы не только отмежеваться от самого

59. Троцкий, Сочинения, том 17, часть 1, стр. 467-468

акта, но и подвергнуть критике свою антибрестскую политику, признавая правильность позиции большевиков, что в свою очередь означало полное политическое банкротство всей партии левых эсеров. Кроме того, отказ партиисоциалистов-революционеров от блестяще проведенного одним из ее членов террористического акта противоречил партийным традициям, заложенным еще членами "Народной Воли". Но тогда, принятие партией левых эсеров ответственности за покушение давало большевикам возможность обвинить эсеров в заговоре против Советской власти. В любом случае большевики одерживали полную тактическую победу. Удачи содействовали им и в малом. Дзержинский легко спровоцировал свой собственный арест попыткой ареста Прошьяна и Карелина; заложничество же Дзержинского не только не обеспечило неприкосновенности М. А. Спиридоновой, но и дало большевикам формальный повод для ответных акций. Лезые эсеры лишний раз доказали, что ни к чему не были готовы и в корне не понимали замыслов и тактики своих врагов-союзников.

Ленин, тем временем, телефонографировал приказ для передачи "во все комиссариаты города и пригорода в окружности на 50 верст: пропускать, кроме автомобилей народных комиссаров, еще автомобили боевых отрядов. Задерживать все автомобили Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, арестовать всех левых эсеров, членов этой комиссии, особенно Закса и Александровича. Сомнительных по партийной принадлежности привозить в Кремль на выяснение".⁶⁰

А. Авторханов так комментирует эти события: "Блюмкин убил Мирбаха 6 июля, а Ленин уже 7 июля знает, что его убили левые эсеры. Николаев убил Кирова 1 декабря 1934 г., а Сталин того же 1 декабря знает, что его убили зиновьевцы, троцкисты, бухаринцы... На XX съезде мы узнали, что Киров был убит чекистами Ягоды по заданию Сталина, по чьему же заданию чекисты Дзержинского убили Мирбаха?"⁶¹ А. Авторханов несколько неточен. Учитель не уступал своему ученику: уже 6 июля Ленин знал, что Мирбаха убили левые эсеры.

60. Ленин, ПСС, том 50, стр. 370.

61. А. Авторханов, указ. соч., стр. 508.

Ленин установил соучастие В. А. Александровича и Г. Д. Закса в убийстве Мирбаха еще до начала какого-либо следствия и не зная подробностей задержания Дзержинского. Между тем, после подавления "восстания", Закса признали невиновным и освободили (от судьбы своей он не ушел — расстрелян в 1937-м). Не имея никаких данных о причастности партии левых эсеров к террористическому акту, Ленин начал кампанию клеветы в печати. В правительственном сообщении, опубликованном 6 июля, указывалось, что "двое (негодяев) агентов русско-англо-французского империализма проникли к германскому послу Мирбаху, подделав подпись т. Дзержинского под *фальшивым* (подчеркнуто мною — Ю. Ф.) удостоверением. Один из негодяев, выполнивший это провокационное дело, давно уже и многократно связывается в советской печати с заговором монархистов и контрреволюционеров, по имеющимся сведениям — левый эсер, член комиссии Дзержинского, изменнически перешедший от службы советской власти к службе людям, желающим втянуть Россию в войну и этим обеспечить восстановление власти помещиков и капиталистов, либо, подобно Скоропадскому, либо, подобно самарским и сибирским белогвардейцам. Россия теперь, по вине негодяев левозсерства, давших себя увлечь на путь Савиновых и компании, на волосок от войны. В Германии самая сильная партия, военная партия, давно ищет повода для наступления на Петроград, Москву и Царицын. Теперь повод для этой партии есть такой, лучше коего нельзя бы ей и желать... Все, кто понимает безумие и преступность вовлечения России теперь в войну, поддерживают Советскую власть. В быстрой ликвидации мятежа нет ни тени сомнения.

Все на свои посты! Все под ружье!.."

(Оканчание следует)

Юрий Фельштинский

ДОСТОЕВСКИЙ КАК ФИЛОСОФ

“На приказ Петра Великого образоваться Россия ответила через сто лет колоссальным явлением Пушкина”, — сказал Герцен. И на гений Пушкина она ответила через полвека гением Достоевского. От европейничанья петровской эпохи к русской европейскости и человечности Пушкина, и далее — к русской и всемирной всечеловечности Достоевского, — таков главный путь русской культуры. И если затем вскоре последовал катастрофический спад, то это — не вина русской культуры, а сложных роковых факторов, стоящих вне культуры. Этим вопросом мы еще займемся, а пока продолжим наш основной ход мысли.

Достоевский — наша гордость и слава. Но мы чтим в нем не только наше великое прошлое. В Достоевском залог оправдания и возрождения русской культуры, — культуры глубоко национальной, корнями своими глубоко уходящей в родную почву, — и дышащей в то же время горним воздухом наднационального, духовного мира. В Достоевском как бы предуказан трагический и страдальческий путь нашего национального бытия, — “пер аспера ад астра” — через пропасти — к звездам.

Входя в мир творчества Достоевского, мы как бы погружаемся в душную, насыщенную грозным напряжением, атмосферу, которую озаряют от времени до времени молнии гениального полета его мысли. Не всякому дано выдержать высокое давление этой атмосферы, насыщенной испарениями зла и страдания, не всякому дано полюбить Достоевского. Ибо Достоевский — страстный к страданию писатель. В своих произведениях он рисует темное подполье человеческой души, драму борьбы добра и зла в сердце человека. Недаром

Мережковский назвал его "исследователем глубин сатанинских и высот ангельских". Вероятно, Достоевский потому так влекся всю жизнь к Пушкину и благоговел пред ним, что в Пушкине он чувствовал ту стихию светоносной гармонии, которой ему самому столь не доставало.

Главный литературный учитель Достоевского, сам поклонник Пушкина, Гоголь, проронил знаменательные слова: "нельзя повторять Пушкина". Нельзя, ибо былая гармония уже нарушена действенным вступлением сил зла на авансцену истории. "Дьявол выступил уже без маски в мир", — говоря словами того же Гоголя.

Однажды нарушенная гармония может быть восстановлена не возвратом к былому равновесию — это невозможно, — а достижением новой гармонии через дисгармонию. В мире, исполненном силами зла, нравственно недопустимо пребывать в спокойствии духа. Заболевший организм должен переболеть, чтобы восстановить на новых путях утраченное здоровье. И в этом отношении гений Достоевского, умевшего, как никто, видеть силу зла в мире, — и в то же время не терявший из виду идеалы святости, — может принести большую пользу современному миру. Ибо Достоевский призывает нас к духовному подвигу катарсиса, — через объективацию зла. Достоевский — писатель визионерского, пророческого склада. Его духовное визионерство не вмещалось в рамки художественного реализма, хотя сам он старался держаться этих рамок.

Весь мир героев Достоевского при всем соблюдении им формального художественного реализма фантастичен и при всей фантастичности реален в высшем смысле этого слова. "Меня называют психологом, тогда как я — только реалист в высшем смысле", — писал он. Смешение фантастического и до тривиальности реального — один из излюбленных художественных приемов писателя. Недаром он говорил, что "правда всегда неправдоподобна".

Достоевский до всякого психоанализа показал, насколько неправилен либералистический миф о человеке, как о существе, по преимуществу, разумном и ищущем лишь свою разумную выгоду. Он показал, насколько сильны в человеке разрушительные, демонические силы подсознания. В этом

отношении творения Достоевского могут служить иллюстрацией Кантовского тезиса о "радикальном зле в человеческой природе". Недаром писатель вкладывает в уста Лебедева в "Идиоте" слова: "закон самосохранения и закон саморазрушения одинаково сильны в человечестве". В этом отношении Достоевский предвосхитил многие позднейшие открытия психоанализа.

Но, в отличие от психоанализа, Достоевский не растворяет человеческую личность в стихийно-хаотических силах подсознания. Он всегда дает понять, что человек, хотя и одержим часто темными силами, все же остается личностью, морально ответственной за всякое свое сознательное или даже бессознательное проявление. Достоевский открывает в душе человека не только "инферно" подсознания, но и горний мир сверхсознания — источник вдохновений добра. "Да и корни наших мыслей и чувств — не здесь, а в мирах иных", говорит его старец Зосима.

Темами Достоевского до сих пор живет русская философия, и темы эти, после Ницше и экзистенциализма и, главное, после большевицкой революции, стали в какой-то степени родственными и философии Запада. Достаточно упомянуть, что почти все современные философы-экзистенциалисты, особенно — Сартр и Камю, видят в Достоевском своего великого предшественника. Гений Достоевского — духовно радиоактивен, и та идейная радиация, которую лучеиспускает его творчество, с годами не слабеет, а скорее усиливается.

Достоевский прежде всего, конечно, великий писатель. Но его творчество имеет и ярко выраженный философский аспект. Нельзя, конечно, сводить художественное творчество Достоевского к одной философии. Но, при общей оценке Достоевского, нельзя пренебрегать его философским аспектом, как это делают часто многие критики из школы формалистов. Иначе говоря, Достоевский-философ неотделим от Достоевского-писателя. Я имею в виду не только философские взгляды самого писателя, но еще более — философский смысл его творчества.

Философия Достоевского далека от духа академического спокойствия, ей чуждо, например, олимпийское величие Гете. Философия Достоевского исполнена пророческого духа, она есть

"философия Трагедии" (выражение Льва Шестова). Существование Божие, предназначение человека, для него — не "точки зрения", а вопросы на жизнь и на смерть. Но делать из Достоевского философа безысходного трагизма, как это делает тот же Лев Шестов, было бы глубоко неправильным, ибо Достоевский не только изображает трагедию, но и предлагает нам катарсис от этой трагедии.

Трагедии Достоевского — не древние трагедии Рока, и не трагедии коллизии характеров (Шекспир), но современные христианские трагедии свободы. В самом облике Достоевского есть нечто трагическое и пророческое, роднящее его скорее с ветхозаветными пророками, чем с древнегреческими или индусскими мудрецами. Сама взволнованность Достоевского вызвана не только его темпераментом (хотя, конечно, также и им). Она вызвана прежде всего трагическим характером тех проблем, которыми был одержим его гений.

Сам Достоевский весьма скромно говорит о себе как о философе. "Шваховат я в философии", писал он своему другу. Однако, добавляет: "но не в любви к ней. В любви к ней я даже силен". В самом деле, Достоевский обладал гениальной философской интуицией, которую не в силах были понять и оценить его современники, и которая была раскрыта лишь в 20-м веке такими проницательными критиками, бывшими также и профессиональными философами, как Бердяев, Лосский, Гессен, из иностранцев — Романо Гвардини. Мало того, если считать философами не только профессиональных мыслителей, то можно сказать, что Достоевский был величайшим русским философом. Следует подчеркнуть тут, что Достоевский в области философии возвышался до гениальных озарений, преимущественно в контексте своих художественных произведений. Когда же он писал публицистические статьи, то иногда он достигал больших философских высот, но в других случаях высказывал не слишком оригинальные мысли. Философское образование Достоевского, что называется, заставляло желать лучшего, да он никогда и не считал себя настоящим мыслителем. Упомянем все же, что он проштудировал атеистическую книгу Фейербаха "Сущность христианства", что в одном из писем брату из Сибири он просит последнего прислать ему "Историю

философии" Гегеля, что в его библиотеке имелись "Критика чистого разума" и "Критика практического разума" Канта, что он читал Бокля и Милля и некоторых других мыслителей того времени. Так что для профессионального писателя его философская эрудиция была далеко не бедна. Главное же — в том, что Достоевский умел откликаться на те философские идеи, которые, по его выражению, "носились в воздухе" (его же выражение: "идеи носятся в воздухе, но непременно по законам").

Я уже говорил о том, что Достоевский-философ не должен заслонять Достоевского-писателя, и что Достоевский, как писатель, не может быть до конца понят без учета его гениальных философских интуиций. Правда, самый глубокий план романов Достоевского — план религиозно-мистический. Но философия Достоевского как раз проистекала из этого глубинного плана его творений. Поэтому я решаюсь выставить тезис: атеисты и агностики никогда не будут в состоянии проникнуть в произведения Достоевского до их сокровенной глубины и будут слепы к этой глубине. И второй тезис: если внутренняя религиозность является необходимым условием для правильного понимания Достоевского, то наличие некой философской жилки в читателе является весьма желательным условием такого глубинного понимания писателя.

*

Для понимания Достоевского вообще и мира его идей в частности важно иметь в виду некоторые моменты его биографии. Крайне поучительна в этом отношении история "перерождения его убеждений". Как известно, Достоевский был возведен на литературный пьедестал Белинским, восторженно приветствовавшим литературный дебют писателя "Бедные люди", как "первый русский социальный роман".

Знаменитый критик находился тогда (середина сороковых годов) в периоде увлечения социализмом и атеизмом. Белинский с жаром принялся обращать в свою веру молодого автора, которому он пророчил большую будущность. Достоевский, по его собственным словам, "страстно принял тогда это учение" (то есть, утопический социализм).

Разойдясь вскоре с Белинским по причинам личного характера (критику не нравились "Двойник" и другие повести, написанные после "Бедных людей"), Достоевский поступает в другой, более активный кружок Петрашевского, поклонника Прудона. На одном из собраний этого кружка Достоевский зачитал запрещенное цензурой письмо Белинского к Гоголю, в котором критик в сильных выражениях обвинял Гоголя в "потворстве реакции". Письмо это проникнуто не только ненавистью к самодержавию, но и к религии. Достоевский в этот период (1849-й год), по-видимому, несколько охладел к социализму, но прочитал это письмо, чтобы сдержать данное прежде слово. Как известно, кружок Петрашевского был раскрыт, и Достоевский, вместе с группой других "петрашевцев", был приговорен к смертной казни. В последнюю минуту казнь была заменена пятилетней каторгой. После отбытия каторги (о которой он рассказал впоследствии в своих "Записках из мертвого дома"), Достоевский жил еще пять лет в Сибири на положении ссыльного. Лишь в 1860 году ему было разрешено вернуться, сначала в Тверь, а затем — в Петербург.

Как мы знаем, Достоевский прошел через все эти суровые испытания несломленным, с новой силой к жизни и борьбе. И, тем не менее, Достоевский не только отрекся добровольно от своих прежних полусоциалистических и полуатеистических убеждений, но и посвятил все могучие силы своего художественного и философского гения борьбе против этих убеждений. В том, что это "перерождение убеждений" было искренним, можно не сомневаться. Уж кто-кто, а Достоевский не принадлежал к натурам, которых можно сломить грубым насилием. И страстное обличение противоестественности и аморальности социализма и атеизма становится теперь едва ли не главным делом Достоевского, как мыслителя и как публициста.

Какое же духовное прозрение вызвало столь радикальный переворот в душе писателя? В силу каких причин восстал он с такой страстностью против тех, возвышенных, казалось бы, идеалов, которыми был одушевлен утопический социализм, и сам Достоевский в годы своей юности? За что "проклял он то, чему поклонялся, и поклонился тому, что сжигал"? Ответ на эти вопросы дал бы нам ключ к разгадке творческого пути

Достоевского.

Предваряя будущие выводы, мы можем сформулировать этот ответ так: Достоевский потому отверг социализм, что за его возвышенным фасадом он увидел некую страшную сердцевину, что за относительной правдой социализма он увидел его абсолютную ложь.

Но ревизия Достоевским его прежних убеждений не ограничивается лишь критикой социализма. Сам атеистический социализм является, по новому прозрению писателя, лишь одной из форм общего недуга западной культуры. Сам Достоевский не нашел точного имени этому недугу, хотя он и глубже, чем кто-либо другой, понял его природу. Следуя терминологии Бердяева, мы можем охарактеризовать эту первопричину духовного маразма, как "безбожный гуманизм". Ибо исторические корни того действенного выступления сил зла на авансцену истории, свидетелями и жертвами которого мы все являемся, — заключаются в поклонении человеку только как природному и социальному существу, без связи с миром духовных ценностей. Человечество стало поклоняться невиданному прежде идолу, — самому себе, отвергнув самую мысль о Боге. Но безбожный гуманизм стремился все-таки быть гуманизмом, и, отвергая религию, призывал к гуманному отношению к человеку. Как говорил главный идеолог безбожного гуманизма, Людвиг Фейербах, ту любовь к Богу, которую человечество растрчивало впустую, так как Бога все-таки нет, — эта самая любовь должна быть направлена на самих людей, на ближних. Хотел бы тут же отметить, что Достоевский знал о Фейербахе не только из поучений Белинского, — в библиотеке писателя находилось и главное произведение немецкого философа — "Сушность христианства". Так что аргументация Фейербаха была отлично усвоена Достоевским, — усвоена, но отвергнута! Достоевский понимал, что любовь к человеку, будучи лишена своего божественного источника, не только иссякнет, но может превратиться даже в ненависть к человеку. Он предвидел, что безбожный гуманизм не сможет остаться на своей гордой высоте и превратится в атеизм низшего пошиба, отрицающий не только Бога, но и высшие чувства в человеке.

Главное значение Достоевского, как философа, заключается в том, что он пророчески предвидел этот кризис и крушение безбожного гуманизма, неизбежно оборачивающегося антигуманизмом, что он предвосхитил соблазны, угрожающие ныне всему зданию христианской цивилизации, — незримые тогда пути зла, — коллективизм и индивидуализм. Разоблачению этих двух основных форм социального идолопоклонства и посвящено все творчество Достоевского, взятое в его идеологическом аспекте.

Против коллективизма Достоевский утверждает реальность и необходимость свободы, свидетельствует об иррациональной глубине личности, к которой слеп рационалистически-утилитарный дух коллективизма. И в противовес индивидуализму, Достоевский показывает, что беспредельная свобода ведет к богоборчеству, к формуле "всё позволено", к аморальной морали сверхчеловечества, приводящей, как это ни парадоксально, личность не к ее возвеличению, а к нравственному саморазрушению. Ибо, в силу мистической связи человека с Богом, богоборчество приводит к человекоборчеству. Человек, восставший против образа Божьего в себе, восстает этим самым и против своей собственной сокровенной сущности.

Этой борьбой "на два фронта" объясняются кажущиеся противоречия в мировоззрении Достоевского: крайнее утверждение свободы, с одной стороны, и разоблачение соблазнов свободы и призыв к смирению — с другой. Уже в первом своем крупном произведении, написанном после возвращения из Сибири, — в "Записках из подполья" Достоевский поднимает почти анархический бунт против "хрустального дворца", — против социалистической "фаланстеры", за которой ему чудится человеческий муравейник. Если человечество когда-нибудь достигнет материального благоустройства, купленного ценой добровольной потери свободы, — то Достоевский заранее готов предать проклятию такое будущее человечество. В противовес провозглашаемому в то время культу материальных благ Достоевский всей силой своей гениальной диалектики показывает, что свобода, даже в форме иррационального каприза, дороже человеку, чем всякие материальные выгоды. Привожу соответственную цитату: "Ведь это глупейшее,

господа, ведь этот каприз и в самом деле всего выгоднее для нашего брата из всего, что есть на земле. А, в частности, быть может, выгоднее всех выгод даже в таком случае, если приносит нам явный вред и противоречит всем здравым заключениям нашего рассудка о выгодах, — потому что, во всяком случае, сохраняет нам самое главное, то есть нашу личность, нашу индивидуальность”. Нечего и говорить, что острие этого полемического гимна свободе направлено против царства социалистического муравейника, который прельстил автора в его молодые годы.

Однако в следующем своем произведении — в романе “Преступление и наказание”, Достоевский разоблачает противоположный соблазн, — “соблазн свободы”. Роман этот все хорошо знают, и поэтому я не буду тратить лишних слов на его изложение. Приведу лишь следующий краткий комментарий: разум Раскольникова внушает ему, что, решившись на убийство, он освободится от “предрассудков” и станет чем-то вроде Наполеона. Но — странная вещь! Совершив убийство, он отнюдь не переживает чувства освобождения, а начинает испытывать состояние, во сто крат худшее, чем обычные угрызения совести. Его охватывает мрачное ошущение мучительного, бесконечного уединения и отчуждения. Он не рад даже любимым им матери и сестре. Ему непосильно нести бремя сверхчеловеческой свободы, которое он добровольно взвалил себе на плечи. Хорошо пишет о мистерии внутреннего наказания Раскольникова Розанов: “Все, что совершается в душе Раскольникова, иррационально...” Едва разбил он лик Божий, правда, обезображенный его носителем, как для него померк этот лик. “Не старушонку я убил, я себя убил”, — говорит он в другом месте. Сам Достоевский в следующих словах говорит о главном смысле своего романа: “Здесь разворачивается весь психологический процесс преступления. Убийца мучим неразрешимыми проблемами и неожиданными эмоциями. Божественный и человеческий закон берут свое, и, в конце концов, он вынужден донести на себя, с тем, чтобы, пусть даже он и умер бы в тюрьме, он смог бы снова насладиться общением с ближними. Закон истины и человеческой природы празднует свою победу...”

На примере Раскольникова Достоевский показал, что совесть, лишенная путеводной звезды христианского откровения, легко вырождается в псевдосовесть. "Совесть без Бога есть ужас, — писал Достоевский в своей записной книжке, — она может довести человека до величайших преступлений".

Это — все о "Преступлении и наказании".

Минуя "Идиота", хотя он и был любимейшим романом автора, обратимся теперь к роману "Бесы", где зло богоотвержения изображено автором с потрясающей глубиной и силой.

Как известно, ближайшим поводом романа явилось раскрытие заговора революционного кружка "нечаевцев", этих предтеч большевизма. Кружок этот и стал жизненным прототипом той группы революционеров, которая изображена в романе во главе с Петром Верховенским, предвосхищающим собой тип советского комиссара. Характерно, что жизненным прототипом Ставрогина явился петрашевец Спешнев, которого писатель называл ранее "своим Мефистофелем" (а не Михаил Бакунин, как это полагали раньше). Вероятно, Достоевский сознавал, что сравнительно невинный кружок Петрашевского, к которому он одно время принадлежал был тем зародышем, из которого выросли впоследствии кружки нечаевского типа.

Но, как это всегда бывает у Достоевского, сам роман вышел далеко за пределы изобличительного изображения современной ему действительности. В него вошла часть неосуществленного Достоевским романа "Атеизм", где он хотел вскрыть первопричины и сущность неверия. Из полемического изобличения выросло пророческое визионерство. Памфлет превратился в "книгу великого гнева".

Если в "Записках из подполья" Достоевским изобличается, главным образом, противоестественность утопии человеческого муравейника, то в "Бесах" он идет дальше. Утопия эта, при всей ее противоестественности, начинает представляться ему принципиально осуществимой. Она предносится пророческому гению писателя, как реальная опасность, угрожающая человечеству. Здесь невольно вспоминаются слова Бердяева: "утопии, к несчастью, осуществимы. И, может быть, настанет время,

когда человечество будет ломать себе голову над тем, как избавиться от утопий". (Эти слова Бердяева приведены как эпиграф к книге английского писателя Олдуса Хаксли "Бравый новый свет".).

Но с тем большим моральным пафосом, с тем большим мистическим ужасом обличает Достоевский аморальность этой утопии, теоретическим глашатаем которой выступает в "Бесах" Шигалев, а практиком и организатором — Петр Верховенский. При этом, что самое интересное у Достоевского, — он сумел разгадать за розовым туманом либеральных чаяний, подлинный, сатанинский лик грядущей революции. Он гениально разгадал диалектику коммунизма, начавшегося с исторически-объяснимого заблуждения, и переродившегося затем в порождение злой воли, начавшегося с призывом к освобождению человека и кончившего его закрепощением. Эта "диалектика свободы", неосвященной служением высшим религиозным ценностям, показана у Достоевского в теории Шигалева.

"Я запутался в собственных противоречиях... начиная с безграничной свободы, я кончаю безграничным деспотизмом", — говорит Шигалев перед изложением своей теории, обещающей "единственно-возможный рай на земле".

Фраза "начиная с безграничной свободы, я кончаю безграничным деспотизмом" является глубочайшим проникновением в загадку коммунистического Сфинкса. Она выражает собой также диалектику безбожного гуманизма, понимающего свободу как право человека и не видящего, что подлинная свобода неразрывно связана с нравственной ответственностью и предполагает, — как это ни парадоксально, — смирение перед Верховной Ценностью. Ибо заявление абсолютной свободы делает человека рабом гордыни и беса властолюбия.

Сама практическая идея Петра Верховенского — связать революционных заговорщиков общим преступлением, есть типично-тоталитарная, типично-большевицкая идея, вытекающая из лозунга: "цель оправдывает средства".

Вспомним еще раз сущность "шигалевщины" в изложении Петра Верховенского: "Каждый член общества смотрит за другим и обязан доносом. Каждый принадлежит всем, а все — каждому. Все рабы и в рабстве все равны. В крайних случаях

клевета и убийство, а главное — равенство. Первым делом понижается уровень образования, наук и талантов. Высший уровень наук и талантов доступен только для высших способностей — не надо высших способностей. Цицерону отрезывается язык, Копернику выкалывают глаза. Шекспир побивается камнями... Рабы должны быть равны. Без деспотизма не бывало ни свободы, ни равенства. Но в стаде будет равенство... Горы сравнять — хорошая мысль..."

Пророчества эти не нуждаются более в обосновании. Они оправдались дословно. Достоевский, действительно, явился пророком русской революции, хотя в своих публицистических статьях он пророчил революцию Европе.

Если кто-нибудь скажет: все это так, но причем тут социализм? На это можно возразить следующее. Социализм социализму рознь. Но тот безбожный и материалистический социализм, который процветал в русской общественности в шестидесятые годы прошлого столетия, и который во многом сродни марксизму, — был готов во имя любви к дальнему пожертвовать "миллионами голов" (фраза Белинского) своих ближних. "Атеизм сердца" (выражение Достоевского) иссушает источники любви к ближнему, вопреки лозунгам: "свобода, равенство и братство". Поэтому пафос разрушения начинает преобладать над пафосом творчества, власть из средства осуществления социализма становится самоцелью — власть ради власти. Это все приводит к одержимости манией тотальной власти, то есть как раз к тому, во что превратился современный большевизм. "Раз отвергнув Христа, — писал по этому поводу Достоевский, — ум человеческий может дойти до удивительных результатов". "В своем романе 'Бесы', — заметил далее писатель, — я пытался изобразить те многообразные и многообразные мотивы, по которым даже чистейшие сердца и простодушнейшие люди могут быть привлечены к совершению чудовищного злодеяния. Ведь в том-то и ужас, что у нас можно сделать самый пакостный, самый мерзкий поступок, не будучи вовсе мерзавцем. Это не у нас одних, это во всем свете так, всегда и с начала веков, во времена переходные, во время потрясений в жизни людей, сомнений и отрицаний, скептицизма и шаткости в основных нравственных понятиях".

Обратимся теперь к другому "соблазну зла", художественно изображенному и изобличенному в романе, — к "соблазну свободы". Ибо имя бесам — легион, и крайний индивидуализм, — обожествление свободы, представляет собой не менее опасный соблазн, чем апология рабства. Этот обратный полюс зла вскрыт Достоевским в образе Кириллова.

Индивидуализм доводится здесь до своего логического предела. Диалектика обожествившего себя гуманизма оборачивается здесь самообожествлением. Кириллов раскрывает карты атеистического замысла гуманизма. "Если Бог есть, то вся воля — Его, и без воли Его я не могу", говорит он. Но "если Бога нет, то я — бог. Понять, что Бога нет, и не понять, что сам богом стал, есть абсурд".

Правда, большинство атеистов не делает этого вывода. Отрицание Высшего Существа не обязывает их интеллектуальную совесть к самообожествлению. Однако это значит лишь, что они не берут своего атеизма всерьез. Они просто равнодушны к вопросу о Боге. Они не понимают, что полное безверие психологически и логически невозможно, что человек верит или в Бога, или в идола. "Король умер, да здравствует король!".

"Я три года искал атрибут божества моего, — говорит Кириллов. — Атрибут божества моего — своеволие". Заявление своеволия означает прежде всего победу над страхом, ибо страх, говорит далее Кириллов, "есть проклятие человека". И он хочет победить страх актом добровольного и беспричинного самоубийства.

Своеволие утверждал также Раскольников. Но бунт Кириллова носит более глубокий характер. "Убить другого есть низший пункт своеволия, — говорит он Верховенскому. — Я не хочу низшего пункта, я хочу самый высший пункт". И, когда Верховенский с иронией говорит ему, что самоубийц миллионы были, то Кириллов гордо отвечает: "с причиною. Но без причины — один я". На возражение Верховенского, что он "не успеет" стать богом, Кириллов приводит ему слова, совпадающие не только с Евангелием, но и с "Критикой чистого разума" Канта: "Время не предмет, а идея. Погаснет в уме". И Кириллов вспоминает евангельские слова о том, что "времени больше не

будет". "Кто победит боль и страх, тот сам богом станет, продолжает он, — а тот Бог не будет. Явится новый человек человекобог".

В изобретенном им слове "чело́векобог", Достоевский подводит итоги диалектике гуманизма. Последнее слова безбожного гуманизма, в его понимании, это — человекобог. И последняя борьба будет происходить между человекобогом и Богочеловеком. "Бесы" — самое пророческое произведение Достоевского.

Я воздержусь, в рамках этой статьи, от разбора величайшего произведения Достоевского, — роман "Братья Карамазовы". Ограничусь лишь указанием на то, что "Легенда о Великом Инквизиторе", вкрапленная в роман, представляет собой изображение и обличение прообраза тоталитарной диктатуры, — этого проклятия нашего времени. Не столь важно, что в сознательном плане Достоевский хотел здесь разоблачить римское католичество. В этой своей интенции он глубоко заблуждался, как он делал нередко неоправданные замечания и предсказания в "Дневнике писателя". Но не ошибалась его гениальная философская интуиция, угадавшая главную опасность и главное зло, грозящие нашему времени. "Мы не с Тобой, мы — с ним", — говорит Инквизитор Христу. И, в самом деле, все тоталитарные диктатуры, под видом служения высоким идеям, фактически служат злу, то есть князю мира сего.

Достоевский воочию показал в своем величайшем романе, что не лишенный известного благородства, "гуманистический" атеизм Ивана Карамазова неизбежно вырождается в пошлый и низменный, антигуманистический атеизм Смердякова. И в революции победили именно Смердяковы, а не Иваны.

В своих романах, а также отчасти в публицистических статьях, Достоевский на разные лады проводит мысль, что человеколюбие, не опирающееся на нравственно-религиозные основы, не является гарантией доброй воли и что оно — непрочно. Он утверждает, что, не питающееся божественным вдохновением, человеколюбие может легко вырождаться в свою противоположность, — в человеконенавистничество. Проникновенные слова на эту тему можно найти в "Идиоте". Вот что говорит один из вторичных героев романа Лебедев, взявший на

себя роль добровольного шута, но способный и к глубоким усмотрениям. "Слишком шумно становится в человечестве, мало спокойствия духовного", жалуется один удалившийся мыслитель. — "Пусть, но стук телег, подвозящих хлеб голодному человечеству, лучше спокойствия духовного", — отвечает ему другой, разъезжающий повсеместно мыслитель, и уходит от него с тщеславием. "Не верю я, гнусный Лебедев, телегам, подвозящим хлеб человечеству. Ибо телеги, подвозящие хлеб человечеству, без нравственного основания поступку, могут прехладнокровно исключить из наслаждения подвозимым большую часть человечества, что уже и было. Уже был Мальтус, друг человечества. Но друг человечества с шаткостью нравственных оснований есть людоед человечества, не говоря уже о тщеславии".

И в "Дневнике писателя" Достоевский говорит о том, что любовь к человечеству, лишенная нравственно-религиозных корней, легко переходит в презрение или равнодушие к тому же человечеству, а особенно к конкретному человеку. И он предсказывает, что, уничтожив идею Бога, человечество незаметно для себя, дойдет до антропофагии.

В противовес этому безбожному гуманизму, Достоевский выдвигает "христианский гуманизм", который утверждает абсолютную ценность человеческой личности не самой по себе, а как образа и подобия Божия. Недаром в том же "Дневнике", в статье "О том, каковой должна была бы быть молитва великого Гете", он вкладывает в уста Вертера проникновенные слова: "Боже, благодарю Тебя за лик человеческий, Тобою данный мне". В этих словах дана классическая формула христианского гуманизма.

Из тупика богоборчества может быть один только выход: вера в Бога и в бессмертие души человеческой через веру в Бого-человека-Христа, преодоление гордыни человеческой, возомнившей, что она может знать планы Творца и "исправлять" их, то есть — смирение. "Смирись, гордый человек", — взывал Достоевский в своей знаменитой речи о Пушкине. Этот призыв слишком часто истолковывался левой частью русской общест-венности, как призыв к послушанию власть имущим. Но между покорностью и смирением есть громадная качественная

разница. Покорность бывает перед силою, смирение — перед высшей ценностью. Смирение в этом смысле есть высшая форма свободы. Человеческое творчество, индивидуальное и коллективное, тогда лишь может приносить благие плоды, если в основе его лежит смирение перед верховными ценностями.

Вообще ошибочно полагать, что Достоевский был индивидуалистом, борющимся лишь с соблазнами коллективистического всерабства. Мы видели, что другой фронт его духовной борьбы был направлен против соблазнов сверхчеловечества, т. е. против крайнего индивидуализма.

Выражаясь языком современной философии, Достоевский был персоналистом, а не индивидуалистом. Персонализм же сочетает утверждение личной свободы с императивом служения обществу и тому, что выше общества, — Богу и Его Царству. Персонализм считает, что личность положительно проявляет себя в творчестве и в общении с себе подобными. В понимании персонализма, личность не есть замкнутая монада, а есть духовный центр, ищущий сближения с другими духовными центрами.

Достоевскому принадлежат слова о том, что "все за всех виноваты". Идея мистической солидарной связи между людьми была одной из его излюбленных идей. В этом духе он и выдвигал идею "всечеловечества". В противовес нивелирующей идее всеравенства Достоевский выдвигает христианскую идею соборности и братства, идею "всечеловечества".

Христианство Достоевского чуждо прекраснотуши. Вера Достоевского — не слепая вера, а вера, "прошедшая через горнило сомнений". "Мерзавцы упрекают меня в ретроградной вере в Бога, — писал Достоевский по поводу этих обвинений, повторяемых теперь советскими критиками. — Этим олухам и не снилась та глубина отрицания, которую я вывел в "Инквизиторе". И они хотят учить меня!".

Христианство Достоевского далеко также от отвлеченного морализма, которого не был чужд Лев Толстой. Достоевский не дождался появления богословских работ Толстого, в которых он стремился "исправить" христианство. Но передают, что, когда графиня Толстая (вдова поэта Алексея Толстого) читала Достоевскому рукопись "Моей исповеди" Толстого, то Достоев-

ский бегал по комнате и восклицал: "не то, не то". Недаром он сам говорил: "Не мораль, не учение Христово спасут мир, а лишь вера в то, что Слово стало плотью".

Христианство Достоевского прежде всего мистично и реалистично, как должно быть всякое подлинное христианство. Христианство Достоевского есть Иоанново, пророческое христианство, исполненное горения, достойного первых христиан. По антропологии Достоевского человек, хотя он и первородно греховен, но не придавлен грехом. Сквозь его падшее и бунтующее естество всегда сквозит образ Божий.

Достоевский как никто знал силу в мире. Он понимал, что источники зла — не только в чувственных соблазнах плоти или в эгоизме, но прежде всего в несправедливой одержимости духа. Он пророчески предостерегал против морали, оторванной от религии. "Мыслят устроиться справедливо, — говорит его старец Зосима, — но, отвергнув Христа, кончат тем, что зальют мир кровью. Ибо кровь зовет кровь, и извлекий меч от меча погибнет. И, если бы не обетование Христово, то так и истребили бы друг друга до последних двух человек на земле".

Достоевский — писатель трагического жанра, мыслитель, выражавший трагическое мироощущение. В то же время, Достоевский всю жизнь стремился к "высшей гармонии духа", — к примирению логики ума с запросами сердца. Поскольку вообще возможно выразить мировоззрение Достоевского в философской формуле, я бы сказал, что он был христианский экзистенциалист и христианский платоник. Экзистенциализм Достоевского явствует из трагического жанра его творений.

Что Достоевский был христианский платоник, в духе которого наш грешный мир укоренен в высшей, божественной первореальности, от которой он "отпал", — можно убедиться из ряда высказываний писателя, особенно же из уже приведенного изречения старца Зосимы: "да и корни наших мыслей и чувства, — здесь, а в мирах иных". Экзистенциализм же Достоевского явствует из трагического жанра его творений. Но, в отличие от большинства экзистенциалистов, Достоевский дает также катарсис от трагедии. Этот катарсис носит у писателя двойной характер, — во-первых, как самонаказуемость зла. Все герои Достоевского, идущие путем зла, погибают, причем некоторые,

как Ставрогин, Кириллов и Смердяков, кончают самоубийством. Но это — только негативный катарсис. Положительный же катарсис дан у Достоевского в его пламенной вере в Бога и в Христа-Искупителя. Дело тут заключается не только в личной вере Достоевского, хотя это также важно. Главное заключается в том, что этой верой озарены многие лучшие страницы его творений, особенно места из "Братьев Карамазовых", посвященные старцу Зосиме и его мистическим поучениям. Многие критики Достоевского, особенно иностранные, склонны преувеличивать значение отрицательных героев и преуменьшать значение героев положительных. Это, по-видимому, связано с тем, что большинство таких критиков — агностики.

Из того, что Достоевский изображал преимущественно, но далеко не исключительно, душевную дисгармонию, — не следует, что он не стремился к высшей гармонии. Ибо дисгармония, которую он столь потрясающе изобразил, полна стремления к высшей, "невидимой" гармонии, которая, по слову Гераклита, прекраснее, чем видимая. Осанна Достоевского никогда не достигла полного, заключительного аккорда, но эта осанна все же воодушевляла его творчество. Его творческий путь кончился на высокой, прерванной ноте, — подобно "Неоконченной Симфонии". Но нельзя отрицать, что Достоевский был великий богоискатель и, я сказал бы, — человекоискатель. Недаром он определял главную задачу своего творчества так: "найти человека в человеке".

Говоря словами блаженного Августина, — "Ты не искал бы меня, если бы Ты меня уже не нашел".

Сергей Левицкий

ЛЮБОМУДРЫ И СЛАВЯНОФИЛЫ

ЛЮБОМУДРЫ

Если окинуть взором период русской истории XI — XVII вв., то станет видно, что самое чистое звучание русский мессианизм имел в половине XV века, в период Флорентийской Унии и последующего падения Византии. В нем были налицо следующие, характерные для мессианизма, элементы: откровение — призвание быть Святой Русью, катастрофизм, взрыв вдохновения и патриотизма, провиденциальное появление на исторической сцене "сильного мужа" в лице вел. князя Василия Васильевича. Русский мессианизм этого периода был явлением *самобытным*, нигде не встречающимся и ни на что не похожим.

После смутного времени, после церковных неурядиц и после абсолютизации государственной власти мессианическое течение уходит под землю и появляется на поверхности лишь в начале XIX века, когда в Москве, в 1823 году, был основан кружок "любомудров", в состав которого вошли такие известные мыслители, как кн. В.Ф. Одоевский, Д.В. Веневитинов, И.В. Киреевский, М.П. Погодин и др. Зарождение *светской* (мирской) *религиозной мысли* мы встречаем уже у А.Ф. Лабзина, И.В. Лопухина, М.М. Сперанского и других последователей западного мистицизма и любителей "посвящения" — вольных каменщиков, розенкрейцеров, martinистов... Но здесь еще не видны мессианические черты.

Если польский романтический мессианизм возник под влиянием французской философии, то русские "любомудры", аналогично творцам польской "народной философии", питались преимущественно философией немецкой: Кантом, Фихте, Шел-

лингом и Гегелем.

Дух романтизма охватил в XVIII и XIX вв. многие страны и не так уж, в конце концов, важно, где, когда и под чьим влиянием были высказаны те или иные мысли. Если мы ниже и упомянем некоторые имена и даты, то это только в порядке информации, для тех наших польских друзей мессианистов, которые, из-за незнания русского языка, имеют об этом несколько превратное представление. Итак, напр., А. Цешковский издал свой первый печатный труд в 1838 г., Трентовский — в 1836 г., а Либельт — в 1849 г. (Вронский не идет в счет, так как он о создании польской "народной философии" не помышлял). А в России уже в 1823 году Веневитинов в печати высказывал мысли о создании *русской философии*, исходя из соображений, которые мы позже находим у польских мыслителей, хотя, правда, мы у него не находим системности, которой столь блестяще отличилась вышеупомянутая триада.

С "любомудрами" познакомился А. Мицкевич в свою бытность в России, беседовал с ними и даже с некоторыми из них, напр., с Петром Киреевским, подружился. Польский "мицкевичевед" С. Шпотанский отмечает, что в "Чтениях о славянской литературе" Мицкевича (Сорбонна) имеется много тем, встречающихся у Хомякова, Киреевского, Аксакова и Самарина. Так как "любомудры" в какой-то степени являются предшественниками славянофилов, нам будет полезно ознакомиться с основными идеями наиболее видного из них — Одоевского.

Кн. В. Ф. Одоевский (1803 - 1869) в своей жизни проявил интересы и дарования, которые можно было определить (анахроническим термином), как идеал-реалистические. В ранние годы он был под сильным влиянием Шеллинга. Впоследствии увлечение это у него прошло и он стал изучать восточную патристику и западную мистику. Сквозь *эту* призму он стал рассматривать проблемы антропологии и историософии, столь интересовавшие его в молодости.

Одоевский различал в человеке три плана: веру, познание и искусство, и делал из этого вывод, что задачей философии является исследование этих областей свойственными ей методами. Следуя христианской догматике, Одоевский, вопреки Руссо, развивает проблему падшести человеческой природы,

которая, хотя и ущербленная, всё-таки господствует над всем остальным, физическим миром. Восстановление "целостности" ее есть самая насущная задача и залог преобразования. В мире всё символично и все взаимосвязано общим основанием. Задолго до Бергсона Одоевский учил о познавательном значении интуиции, называемой им "инстинктуальной силой". У него даже намечено учение об интеллектуальной интуиции, хотя терминология у него не совсем выработана: он говорит, что "инстинкт" предваряет разум, однако последний, в процессе интеграции познавательных способностей, должен "возойти" к инстинкту. В какой-то степени Одоевский следует учению Платона о врожденной способности постижения идей вне опыта и учению Канта об априорных формах познания, причем называет эту способность — "предзнанием". Интересны его мысли о том, что материя есть вид энергии (возможно под влиянием св. Григория Нисского?), что "вещество" происходит из "невещественной силы" и что будущий человек научится превращать одни виды материи в другие.

Одоевский был первым в русской литературе, заговорившим о том, что западная культура клонится к закату, что она изжилась и извратилась (что, впрочем, на Западе говорили все романтики). Говоря о дезинтеграции западной мысли, он высказывает мысли, которые часто будут повторяться славянофилами. Как в свое время христианство спасло дряхлеющий античный мир, влив в него новые жизненные соки, так и спасение Европы будет осуществлено молодым народом, доселе еще не выступавшим на культурно-исторической сцене. Этот народ — русский народ. Дело идет не о спасении "тела" Европы, а о спасении ее "души". Русский народ стоит на рубеже прошедшего мира и мира будущего; он молод, свеж, витален и не заражен тем, из-за чего гибнет Запад. Русский народ — многосторонен и всеобъемлющ. Одоевский даже написал утопию и назвал ее "4338-й год". В этом сочинении он оправдывает принцип, который позже был назван "философией неравенства".

Другой интереснейший мыслитель, *П. Я. Чаадаев* (1794-1856) не принадлежал ни к любомудрам, ни к славянофилам, но многие его статьи стали достоянием последних. Через Чаадаева вошла в русскую философию французская струя — идеи Де

Местра, Бональда, Шатобриана и Балланша, хотя он не был чужд и философии немецкой. У Чаадаева, аналогично другим русским мыслителям и польским мессианистам того периода, религиозность не вмещалась в рамки школьного богословия и бытовой практики "кадила и кропила". Чаадаев был глубоко религиозным человеком и одним из первых русских "штатских богословов".

Отдавая дань духу времени, Чаадаев строил систему философии религии, "религии будущего" — цели устремления всех "пламенных сердец" и "глубоких душ".

Будучи радикальным по природе, Чаадаев ни в чем не признавал частичности, половинчатости, нерешительности; он призывал всех к целостному посвящению себя христианскому делу. Прот. В. Зеньковский особенно подчеркивает у Чаадаева "теургическое восприятие и понимание истории". Сюда надо включить: желание разгадать "тайну времени", осуществлять Царство Божие в живой земной Церкви; прислушиваться к гласу силы Божией, действующей в мире и в истории; строить эту самую историю в подлинном христианском духе; сознавать ответственность за исторический процесс, совершаемый отдельными людьми, но в духовной соборности всего человеческого рода; отгадать тайну того, как сочетается человеческая природа с божественным промыслом... Это были главные темы его сочинений. По Чаадаеву — история есть созидание Царства Божьего на земле. Но чаемое единство человеческого рода в будущем предполагает единство в христианской религии. Здесь Чаадаев отмечал большие возможности римско-католической Церкви. Он преклонялся пред ее великим культурным творчеством в прошлом. Любопытно отметить, что в то самое время, когда Мицкевич и другие польские мессианисты были определенными антипапистами, и когда тот же Мицкевич в глубине души восхищался мощью института русской царской власти (идея "сильного мужа"!), Чаадаев был противником этой власти и преклонялся перед папизмом, как символом единства, организации, авторитета... И в то же самое время историософский пафос Чаадаева был сродни пафосу его польских современников.

В частности, с Вронским Чаадаева роднит его универса-

лизм: "Как ни прекрасна любовь к отечеству, но есть нечто еще более прекрасное — любовь к истине. Не через родину, а через истину ведет путь на небо". В мессианизме Чаадаева сквозь знакомые черты свято-русской идеологии проглядывают контуры вселенского Царства Божьего.

СЛАВЯНОФИЛЫ

Отход от церкви русской интеллигенции в XVII и XVIII веках вызвал реакцию, известную под названием "*славянофильства*". Сам термин этот не очень удачен, так как относится лишь к одной из тем, которыми интересовались мыслители, вошедшие в историю под названием славянофилов. По актуальному же содержанию, а не семантическому, он охватывает и *панславизм*, и *православный руссизм* и *мессианизм*.

Обзор славянофильских учений начнем с краткого рассмотрения мировоззрения Н.В. Гоголя (1809 - 1852), консервативные взгляды которого вылились в несколько наивную концепцию бюрократической системы во главе с монархом, как носителем на земле божественного начала власти. Своим влечением к патриархальному строю Гоголь отдал дань, так сказать, современным романтическим веяниям в Европе. Он представлял себе русское государство в виде конуса, вершиной которого был царь, внутри же которого всё было основано на иерархических принципах. В самом низу — крепостной земледельческий народ; земля — во владении помещичьего сословия; управление же государством — в руках поставленных царем губернаторов и подобранных ими чиновников. Жизненная мудрость состоит в том, чтобы "всяк сверчок знал свой шесток", а всякое праздное шатание ума — от лукавого.... Иерархический порядок вселенной и человечества установлен самим Творцом и потому он, сам по себе, совершенен. Социальное же зло происходит от самих людей, которые, по своему невежеству, злоупотребляют данными им талантами.

В своей "Переписке" Гоголь писал: "Всякому теперь кажется, что он мог бы наделать много добра на месте и в должности другого, и только не может этого сделать в своей должности. Это причина всех зол...".

В этой наивной формулировке имелась своя истина: не формальный аспект власти решает ее пригодность для людей, а тот дух, который привносится в служение данной личностью, занимающей высший пост в государстве.

Но "ветхозаветный" патриархальный строй Гоголь хотел бы видеть преображенным и согретым духом новозаветной, христианской любви. Ему казалось, что при желании людей эгоизм в них может быть преображенным в духе альтруизма, а преображающим фактором должна стать всеобъемлющая и всепроникающая любовь. Он представлял себе будущую Россию пронизанную токами любви: от самых низов, постепенно всё выше и выше, любовь, как бы концентрируясь и сгущаясь, должна достигнуть в лице царя самого высокого потенциала и через царя должна взойти к Источнику Любви, к Богу, чтобы затем, от Него, через царя, излучиться в обратном порядке на весь народ. Гоголю казалось, что стоило только всем людям объяснить это хорошенько и они не станут противиться быть передатчиками любви и блага: ведь такими хотел их видеть Творец!

"Власть Государя, — писал Гоголь, — явление бессмысленное, если он не почувствует, что должен быть образом Божиим на земле... Всё полюбивши в своем государстве, до единого человека всякого сословия и звания, и обративши всё, что ни есть в нем, как бы в собственное тело свое, возболев духом о всех, скорбя, рыдая, молясь и день и ночь о страждущем народе своем, Государь приобретет тот всемогущий голос любви, который один может быть доступен разболевшемуся человечеству".

Таким образом, царь, как страдалец и молитвенник, есть образ уже новозаветного Мессии.

Будучи необыкновенно чутким на все проявления зла в окружающем его мире, Гоголь мечтал о том, что раньше или позже Церковь преобразит мир, пронизет его светом Христовым, и что человеческая природа преобразится в лучах этого света. Он болезненно ощущал разделенность церкви и мира, и сознавал, что "...Церковь, созданную для жизни, мы до сих пор не ввели в нашу (жизнь). Задача Церкви — оцерковить мир и воцерковить его, создав новую христианизованную культуру, в

которой будет произведен синтез веры, науки и искусства.

Гоголь верил, что особая роль в этом историческом процессе отведена Промыслителем России и православной Церкви. Ибо ни один народ, по его мнению, не ждет так страстно "приближения *иного царствия*". А залог этого Гоголь видел в том, что ни один народ так радостно не встречает Светлый Праздник Воскресения, как русский.

Наиболее выдающимся среди славянофилов был А.С. Хомяков (1804-1860). Свое мессианическое кредо он выразил в стихотворении, отрывок из которого приведем:

РОССИЯ

Бесплоден всякий дух гордыни,
Неверно золото, сталь хрупка,
Но крепок ясный мир святыни,
Сильна молящихся рука!
И вот за то, что ты смиренна,
Что в чувстве детской простоты,
В молчаньи сердца сокровенна,
Глагол Творца прияла ты, —
Тебе Он дал свое призванье,
Тебе Он светлый дал удел:
Хранить для мира достоянье
Высоких жертв и чистых дел;
Хранить племен святое братство,
Любви живительный сосуд,
И веры пламенной богатство...
О, вспомни свой удел высокой!
Былое в сердце воскреси
И в нем сокрытого глубоко
Ты духа жизни допроси!
Внимай ему — и, все народы
Обняв любовью своей,
Скажи им таинство свободы,
Сиянье веры им пролей!
И станешь в славе ты чудесной
Превыше всех земных сынов,

Как этот синий свод небесный
Прозрачный вышнего покров!

Если в историософии у Чаадаева замечен был приоритет Промысла над человеческой свободой, то у Хомякова, наоборот, ударение делалось на свободе человеческой и на "естественных законах истории". История это духовный процесс, основанный на вере. В противоположность Чаадаеву Хомяков не только не прельщался папизмом, но, напротив, резко критиковал критерий абсолютного авторитета в Западной церкви, сосредоточенного в лице *одного* римского папы. Ведь христианский критерий — это *истина*, постигаемая дифференцированной соборностью Церкви с ее единой главой — Иисусом Христом.

Не будучи западоненавистником и называя Европу "страной святых чудес", Хомяков, однако, смотрел в будущее сквозь призму *русского православия*, причем это будущее обнимало у него не только Россию, но весь мир. Задачу России он видел в том, чтобы внести исторический корректив в одностороннее и потому ложное развитие Запада. Отметим, что Хомяков возрождает свято-русский взгляд на власть, как на *служение*.

Польский мессианист Ежи Браун очень односторонне и несправедливо характеризует русское славянофильство как стремление к "покорению силой соседей, установлению монгольского деспотизма и византийской подчиненности церкви государству". Как же, спрашивается, согласовать с этим слова Хомякова о "святом братстве племен", об "уделе высоких жертв и чистых дел", об "объятии всех народов своею любовью", о свечении "верой и любовью" из вышеприведенного стихотворения?

Поучительно то, что пишет о славянофилах С. Левицкий: — "Идеология славянофилов, *на первый взгляд* (выделено нами, Г.Э.), сходна с официальной правительственной идеологией того времени, сформулированной в тезисах министра Уварова: "Православие, самодержавие, народность". Славянофилы, действительно, превыше всего ставили православие, были стопроцентными монархистами и стремились возвеличить русский народ. Но мотивы у славянофилов были совсем другие, и в эти тезисы они вкладывали иное содержание. Они стремились не к официальной церковности, а к возрождению православного

духа, который, по их вере, хранился в народе, и к созданию православной культуры, только начала которой, повторяю, они видели в Киевской и Московской Руси. Они были монархистами, но находились в негласной оппозиции к бюрократической монархии Николая I-го; они хотели совместить единовластие государя с самым широким выражением народного мнения — недаром некоторые из них стремились возродить Земские соборы. Во всяком случае, они были либеральными, можно даже сказать "демократическими монархистами". И, наконец, их стояние за "русскость", за "русский дух" ничего общего не имело с квасным патриотизмом или со стремлением к государственному империализму. Хомяков, правда, в молодости мечтал об объединении славян под эгидой России, но более всего славянофилы были заинтересованы в развитии национально-православной культуры, мессианизм их носил более национально-культурный, чем государственно-империалистический характер".

Обвинения в реакционности и ретроградности по адресу славянофилов отводит и другой историк русской философии, о. В. Зеньковский:

"Та идея, которая была руководящей в философском творчестве А.С. Хомякова — построение цельного мировоззрения на основе церковного сознания, как оно сложилось в Православии, — не была ни его личным созданием, ни его индивидуальным планом. Как до него, так и одновременно с ним и после него, — вплоть до наших дней, — развивается рядом мыслителей мысль, что Православие, заключая в себе иное восприятие и понимание христианства, чем то, какое сложилось на Западе, может стать основой нового подхода к темам культуры и жизни. Это рождало и рождает некое *ожидание*, можно сказать, пророческое устремление к новому "зону", к "эпохальному" *пересмотру всей культуры*. Отсюда неисцелимая двойственность всего этого направления, — оно ищет нового пути творчества потому, что считает изжитым старый его путь: положительная задача не может быть здесь оторвана от критической оценки прошлого "зона". Пафос нового построения неотделим от пафоса разрушения старого; впрочем, власть старого часто проявляет себя и после его торжественных похорон".

Чем особенно выделяется Хомяков, как мессианист? —

духовной мягкостью и смирением. Мы уже цитировали характерные строки его стихотворения. Много таких мотивов встречается и в других его произведениях.

В одном из них он пишет предостережение своему отечеству:

Но помни: быть орудьем Бога
Земным созданиям тяжело;
Своих рабов Он судит строго,
А на тебя, увь! так много
Грехов ужасных налегло.
Молись молитвою смиренной
И раны совести растленной
Елеем плача исцели!

О.В. Зеньковский, говоря об истории Хомякова, в частности о противопоставлении России Западу, пишет: "Это очень важная и творческая тема *всего славянофильства*, но философски здесь важно не конкретное содержание критики Запада, а лишь ожидание — *напряженное и даже страстное* (выделено нами), — что Православие через Россию может привести к перестройке всей системы культуры".

Говоря о мирозерцании Хомякова, нельзя не отметить, что он был первым апостолом свободы, христианской свободы или свободы во Христе и одному Богу известно, в какой мере его учение способствовало появлению двух других учений — Достоевского и Бердяева. Эта триада — Хомяков, Достоевский и Бердяев написали о свободе то лучшее, что русская православная мысль подарила человечеству. Отталкиваясь от западного учения об авторитете главы Церкви папы, Хомяков утверждает, что дух внешнего авторитета противен Церкви Христовой. "Крайне несправедливо думать, что Церковь требует принужденного единства или принужденного послушания, — напротив, она гнушается того и другого: в делах веры принужденное единство есть ложь, а принужденное послушание есть смерть". Но нет свободы и в крайнем индивидуализме: свобода может быть только в Истине, а "столп и утверждение истины" — это Церковь. Подлинная свобода это жизнь в Церкви, это участие в ее соборности, а соборность — это единение в духе истины и любви. Выражаясь позднейшей терминологией, можно было бы сказать за Хомякова: эйдос Церкви — Христос, а ее

феномен — это институт, организация. Их нельзя разделять, но следует различать. И всякая абсолютизация феноменального аспекта Церкви есть сотворение себе кумира земного.

Эту же схему прилагал Хомяков и к государству, не ратуя за анархизм, но ставя две величины — народ и царя, в соответственную аксиологическую перспективу: целью власти должно быть служение, а монархическая власть должна быть одухотворена демократическими принципами.

Следующим, после Хомякова, столпом славянофильства был *Иван Васильевич Киреевский* (1806 - 1856).

Знаток немецкой идеалистической философии, Киреевский, подобно Хомякову, духовно воспитался на восточной патристике. Пораженный богатством философского содержания в творениях отцов Церкви, он скорбел, что это богатство совершенно неизвестно современному Западу. Он мечтал о составлении курса философии и желал, чтобы "православное просвещение овладело всем умственным развитием современного мира, чтобы обогатившись мирской мудростью, истина христианская тем полнее и торжественнее явила свое господство над относительными истинами человеческого разума".

Отметим некоторые черты, роднящие Киреевского с польскими философами того же периода.

Польские "народные" и "славянские" философы — Либельт и Товянский — создали свои системы, творчески преобразив элементы немецкого идеализма. Киреевский же, тоже хорошо знакомый с этой философской школой, создавал свою систему под влиянием святоотеческого учения. Его система обнаруживает поразительное сходство с системами Либельта и Товянского, если и не формально, то по содержанию, *по смыслу и по существу*. Мы здесь несколько отклонимся от нашей основной темы чтобы указать, на примере Киреевского, как взаимно скрешивались философские и романтические идеи этого периода.

Основная тенденция Киреевского — стремление к всеобъемлющему синтезу. Это он перенял от немецкого философского романтизма. Но у него это стремление насквозь просвечено идеями отцов и учителей Церкви. Поэтому — Киреевский больше чем кто-либо другой заслуживает названия христианского философа. Православным мыслителям свойственно

целостное миропонимание и православная антропология отражает на себе эту интегральную установку.

Киреевский, различая между Откровением и автономным человеческим мышлением, не чувствовал антиномии "веры и разума" в той мере, в какой это было свойственно Западу (учение о "двух истинах"!.) Внутреннее единство разума и веры — это цель, к которой надо стремиться. Цель эта вполне достижима. Антиномично соотношение "внешнего" и "внутреннего" человека: "внутренний" человек есть как бы энтелехия человека "внешнего" и тот фокус, в котором они могут сочетаться — это человеческий дух. Киреевский проводил также черту между глубинной сферой души и ее сферой феноменальной, эмпирической. Это не две онтологически различные сферы, но одна и та же душа в своем глубинном и периферийном проявлении. В результате грехопадения глубинный дух ушел в подсознание, область же сознательного заполнилась греховным и ущербным содержанием. Дух человека в своей онтической цельности и моши — как град Китеж, опустившийся на дно озера. Надо отточить духовный слух, чтобы мочь внимать приглушенному звону колоколов затонувшего града. Нравственное совершенство познающего субъекта отражается положительно на его познавательных способностях.

"Главный характер верующего мышления, пишет Киреевский, — заключается в стремлении собрать все отдельные силы души в одну силу, отыскать то внутреннее средоточие бытия, где разум, и воля, и чувство, и совесть, прекрасное и истинное, удивительное и желаемое, справедливое и милосердное, и весь объем ума сливается в *одно живое единство*, и таким образом *восстанавливается* существенная личность в ее *первозданной неделимости*".

Соответственно этому Киреевский учил, что "кто не принял мысль чувством, тот не понял ее, точно так же, как и тот, кто понял ее одним чувством". О.В. Зеньковский называет это учением о *контрастирующих движениях души*. Примат моральной сферы в человеке явление динамического характера.

На Западе, по мнению Киреевского, научное просвещение выпало из этой связи с нравственным началом и поэтому

достижения научного разума не всегда благотворны для человечества. Хотя разум в человеке и един, но имеются различные его модусы, начиная с разума "естественного" и кончая разумом "духовным".

Выступая против крайнего индивидуализма, Киреевский, вслед за Чаадаевым и Хомяковым, подчеркивал соборную природу человеческого знания. Все три, а также Одоевский, верили, что русская философия, вдохновленная религией, откроет новую эпоху всемирной культуры. Чувствуя односторонность, или, вернее, одноплановость немецкого идеализма, Киреевский, подобно его польским современникам, подчеркивал необходимость возвращения к реальным истокам жизни, желая связать идеализм с реализмом.

У Киреевского мы находим и элементы интуитивизма, ибо он утверждал, что реальность познается не одной только мыслью, но и "бытийственным" вхождением в эту самую реальность. Отдавая должное здравому антропоморфизму, Киреевский писал: "Только разумно-свободная личность одна обладает существенностью в мире и только из внутреннего развития смысла в цельной личности может открыться смысл сущности".

Говоря о соотношении разума и веры, Киреевский подчеркивал, что вера направляет и исправляет работу ума в тех случаях, когда он уклоняется от своей нравственной цельности — задача веры двойная: "следуя за развитием своего разумения, он (верующий) вместе с тем следит и за своим способом мышления, постоянно стремясь возвысить разум до того уровня, на котором он мог бы сочувствовать вере. Внутреннее сознание или иногда только темное чувство этого искомого, конечного края разума присутствует неотлучно при каждом движении его разума".

Разум, учил Киреевский, *не надо подчинять вере*, а только его с ней синхронизировать; в вере, как в камертоне, находить *тон* для разума. В западном мышлении, утверждал он, эта синхронность распалась, ибо схоластическая философия допустила некий параллелизм между разумом и верой, в результате чего случилась реформация веры, а затем и выпадение философии из веры. Путь, заповеданный русскому мышлению, не отрицать западную философию, но ее преодо-

левать.

То, что мы отметили выше, не является мессианизмом Киреевского, но оно учит, каким каждый мессианист должен быть, как человек.

Согласно своим этим установкам, Киреевский отрицал абсолютный рационализм в историософии — с одной стороны, и абсолютный провиденциализм — с другой. Он представлял себе историю, как некую игру божественного и человеческого начал, в результате которой обретается внутренняя связь и последовательность событий. Участие отдельных народов в историческом процессе основано на преемстве, на приятии *уже созданных* ценностей, приумножении их и затем на передаче их другим народам и новым поколениям, как в эстафетном беге.

Что же касается его мессианической перспективы, то Киреевский тоже ожидал приближения нового "эпохи" и в качестве деятеля новых свершений он считал Россию, вернее — "русскую идею". Не со злорадством и не с чувством национальной спеси, а с глубоким чувством скорби наблюдал Киреевский то, что в наше время Шпенглер называл "закатом Запада". Он приводил свои объяснения этого грустного явления:

"Европейское просвещение достигло ныне полноты развития: (...) но результатом этой полноты было почти всеобщее чувство недовольства и обманутой надежды... Это чувство недовольства и безотрадной пустоты легло на сердце людей именно потому, что самое торжество европейского ума обнаружило односторонность коренных его устремлений (...) что при всех удобствах наружных усовершенствований жизни самая жизнь была лишена своего существенного смысла. Многовековой холодный анализ разрушил все те основы, на которых стояло европейское просвещение от самого начала своего развития, так что его собственные коренные начала (т.е. христианство) сделались для него посторонними и чужими (...) а прямой его собственностью оказался этот самый разрушивший его корень анализ, этот самодвижущийся нож разума, не признающего ничего, кроме себя и личного опыта, — этот самовластвующий рассудок эта логическая деятельность, отрешенная от всех других познавательных сил человека (...). Западный человек раздробляет свою жизнь на отдельные

стремления: в одном углу его сердца живет религиозное чувство... в другом — отдельно силы разума... в третьем — стремления к чувственным утехам и т.д. Разум обращается легко в умную хитрость, сердечное чувство в слепую страсть, красота — в мечту, истина — в мнение, существенность — в предлог к воображению, добродетель — в самодовольство, а театральность является неотвязной спутницей жизни... как мечтательность служит ей внутренней маской”.

Это несколько риторически и пессимистически преувеличенное изображение тогдашней европейской действительности заключает много истинного и по сей день.

Игумен Геннадий (Эйкалович)

КОНСТАНТИН ЭДУАРДОВИЧ ЦИОЛКОВСКИЙ

УЧЁНЫЙ, ИЗОБРЕТАТЕЛЬ, ФИЛОСОФ

Профессор Станфордского Университета в Калифорнии Алексей Николаевич Цветиков, умерший в 1977 г., в своё время был лично знаком с К.Э. Циолковским и работал под его руководством. После эмиграции, проф. Цветиков поддерживал переписку с дочерью Циолковского Любовью Константиновной. Почти все эти письма я читал. Эти письма и личные воспоминания проф. Цветикова для меня осветили монументальную фигуру Константина Циолковского другим светом, отличным от того, как его обычно освещают все авторы книг о жизни и деятельности учёного в Советском Союзе. Я сожалею, что мне не удалось сделать копии писем дочери Циолковского, т.к. по всей вероятности они были уничтожены не компетентными людьми после смерти А.Н. Цветикова вместе со всеми его документами и бумагами. Только несколько рукописных выдержек из этих писем я сумел сделать и сохранить...

П.П.

Имя Менделеева сразу вызывает представление о Периодической Системе Элементов, имя академика Павлова, напоминает о "Условных Рефлексах", а имя Циолковского обычно связывается с двумя научно-техническими концепциями: цельнометаллический управляемый дирижабль и ракетно-динамика. Свое исключительное положение в науке и мировое признание, как учёного-новатора и "отца ракетно-динамики", Циолковский завоевал после издания своей теоретической работы "Исследование мировых пространств реактивными приборами". Эта работа была начата в 1897-м году, закончена и впервые издана в 1903-м,

но только в 1923 г. получила признание в Сов. Союзе и наконец в 1928-м дала ему мировую известность.

Но достаточно, даже поверхностно, познакомиться с работами Циолковского, как то, что сделало его знаменитым, дирижабль и ракетоплан, отходит на второстепенное место, освобождая первое — Космосу. Завоевание человеком космических просторов, распространение человечества за пределы сил земного притяжения и атмосферы Земли, познание Вселенной и использование её законов для нужд человечества — вот чему посвятил свою долгую, трудную и удивительно плодотворную жизнь Константин Эдуардович Циолковский. Всё другое имеет только вспомогательное значение и должно служить средством для достижения главного. В самом начале своей работы по созданию теоретических основ новой науки "ракетоплавания" т.н. ракето-динамики в 1898 г. Циолковский писал: "Ракета для меня только способ, только метод проникновения в глубины Космоса, но отнюдь не самоцель. Будут другие, лучшие возможности для передвижения в пространстве, я охотно приму их и выкину ракету на свалку ненужных вещей".

8-го июня 1878 г., когда Циолковскому было только 21 год, в его рабочей тетради была сделана запись: "С этого времени начинаю составлять астрономические чертежи и схемы. Познание Космоса!", а в статье, помещённой в Калужской газете 27 апреля 1935 г., т.е. за пять месяцев до смерти, Циолковский писал: "Вся работа моей жизни, это только слабая попытка верно представить будущее ракетоплавания и этим помочь новым исследователям. В одном я твердо убеждён: в будущем Космос принадлежит человеку".

И всю свою жизнь, 57 лет научной творческой деятельности, он посвятил такой же колоссальной по объёму работе, как безгранична и беспредельна сама тема её: Исследование Космоса.

На моём столе лежит далеко не полный список научных и публицистических работ Константина Циолковского — 149 названий, по официальным данным Циолковский написал 318 работ. Вот некоторые его работы: Кинетическая теория газов, 1881 г., Давление жидкости на равномерно движущуюся в ней пластинку, 1891 г., "На луне" — фантастическая повесть, 1893 г., Может ли

Земля заявить жителям Космоса о своём существовании, 1896 г., Исследование мировых пространств реактивными приборами, 1903 г., Второе начало термодинамики, 1914 г., Горе и гений, философские рассуждения, 1916 г., Кинетическая теория света, 1919 г., "Вне земли" — фантастический роман, 1919 г., Монизм Вселенной, 1925 г., Воля Вселенной и неизвестные Разумные Силы, 1928 г., Научная этика, 1930 г., Освоение пустынь для поселения, 1933 г., Извлечение энергии из движения морских масс, 1935 г.

Это только 14 названий, взятых из списка 149-ти. Поражает необычно широкий размах тематики творчества и научных интересов Циолковского и то, что это не просто популярные статьи или брошюры, но подлинно научные работы. Даже его полубеллетристические фантастические произведения насыщены научными данными и точно обоснованными прогнозами будущего.

И если есть какая-то проблематическая возможность расположения имен великих российских учёных конца 19-го и начала 20-го столетий по степеням и рангам, то имя Константина Циолковского необходимо поместить в первом ряду вместе с именами Менделеева, Сеченова, Тимирязева, Жуковского, Павлова и других. Но то, что в отличие от всех других передовых учёных того времени, имевших законченное университетское образование, обладавших признанием, положением в обществе, учёными степенями и материальным благополучием, Циолковский был полуглухой самоучка, не закончивший ни одного учебного заведения, без знакомств, без связей, проживший почти всю свою жизнь в условиях бедности, даёт ему особое место в этом первом ряду корифеев науки.

Десятки книг на всех основных языках мира и большое количество статей посвящено жизни и творчеству Циолковского. В любом энциклопедическом словаре всегда о нём помещены пространные статьи и биография его широко известна, но чтобы приблизиться к пониманию его системы мышления, его психологической сущности, следует напомнить основные моменты его жизни.

Род Циолковских — старинный. Биограф С.А. Самойлов, роясь в старых документах Рязанского Областного Архива, с

целью проследить происхождение Константина Эдуардовича, обнаружил интересные данные. В 1849 году Эдуард Игнатьевич Циолковский, отец Константина, обратился с ходатайством в Рязанское Депутатское Дворянское Собрание о занесении его имени в Родословную Книгу Рязанской Губернии. Был послан официальный запрос в Дворянское Собрание Волынской Губернии, в город Житомир, откуда вели свое происхождение Циолковские. В полученном ответе указывалось, что согласно имеющимся записям Яков Циолковский, польский шляхтич-дворянин, был участником созыва Сейма в 1697 году, и его подпись стоит на документе о избрании королём Польши — Августа 2-го. Дальше следовало: "От Якова произошёл Валентий, владелец вотчинного имения и села Великое Циолково, от Валентия произошёл Фелициан, от Фелициана — Фома, а от Фомы, Игнатий Циолковский, потомственный дворянин, каковой с тремя своими сыновьями Станиславом, Нарцисом и Эдуардом в 1820 году переселился на постоянное местожительство в город Вятку".

Эдуард Циолковский занимал должность лесничего казённого леса, когда в селе Ижевском Спасского уезда Рязанской губернии, 17-го сентября 1857 года его жена Мария Ивановна родила восьмого ребёнка, мальчика при крещении наречённого Константином. После рождения Константина в семье ещё было пять детей.

Оба брата Эдуарда Игнатьевича имели в Вятской губернии довольно видное положение. Старший, Станислав, имел чин генерал-майора, а средний Нарцис был чиновником для особых поручений при губернаторе, но сам Эдуард, очевидно, принадлежал к породе "протестантов", прирождённых оппозиционеров и "кочевников". По его послужному списку видно, что после окончания Лесного Института он работал в Петербургской губернии, потом в Олонецкой, в Вятской и Рязанской, часто меняя место жительства и своё служебное положение. То он занимал разные должности в казённых лесничествах, то преподавал геодезию и землемерное дело, то управлял имениями помещиков, а то подолгу не работал совсем, занимаясь сочинением какого-то философского трактата, так никогда и не законченного им. С высокопоставленными братьями своими, преуспевающими в жизни, встречался редко и неохотно.

"Среди знакомых и друзей слыл умным человеком и оратором, среди чиновников и у начальства была слава дерзкого, неуживчивого, опасно-революционно настроенного человека", писал Константин Эдуардович в своей автобиографии. "Вид у него был всегда мрачный, он был страшным "критиканом", спорщиком и придерживался крайних убеждений. Имел характер сильный, независимый и несгибаемый, он был труден для общения с окружающими. Был скрупулёзно честен и принципиален до крайности, а как отец, был суров, но справедлив и настойчив в проведении своих методов воспитания. Знакомство и дружбу вёл почти исключительно с "бунтарями", участниками польского восстания 1846-48 гг., после подавления восстания административно высланными из Польши в Вятку на поселение под надзор полиции".

Мать Константина Эдуардовича, Мария Иванова, урожденная Юмашева, имела большую примесь татарской крови, её бабушка по женской линии была казанской татаркой. Циолковский писал: "Была она натура сангвиническая, горячая, хохотунья, и певунья, насмешливая и даровитая, прекрасно ладившая со своим мужем, до самой своей смерти прожившая в недостатках и бедности, родившая 13 детей и похоронившая 2-х, никогда не унывающая, оставалась бодрой, весёлой и энергичной, всегда доброй в семье и отзывчивой к горю чужих".

До девяти лет Костик Циолковский рос обычным шустрым мальчуганом, ничем не отличающимся от своих сверстников, но в 1866 г. он заболел скарлатиной и вследствие осложнений почти потерял слух. "Я чувствовал себя глубоко несчастным, обиженным, изолированным от своих товарищей, изгоем и бесконечно одиноким, — писал Константин Эдуардович в своей автобиографии. — Только мать была моим постоянным другом, учителем, участником моих игр и защитником. Она нежно любила меня и всеми своими силами старалась облегчить мою печальную участь". Но через два года, в 1868-м году, Мария Ивановна умерла и мальчик остался один, лицом к лицу со своим несчастьем. "Я был придавлен горем, оступел, перестал интересоваться окружающим, способности мои ослабели, я погрузился на дно полного молчания... я спал, я ел, но я не жил", вспоминал Константин Эдуардович.

Из состояния этой глубокой депрессии, Костя вдруг переходил в другую крайность и, стараясь завоевать признание своих товарищей, откалывал рискованные трюки, катаясь на льдинах по весеннему ледоходу, или вылезал к самому кресту на крыше старенькой ветхой колокольни и потом снова погружался в летаргический сон одиночества и молчания.

Пользуясь знакомством с директором Вятской гимназии Н. О. Шиманским, отец определил Константина в первый класс и в 1869 г. 12-ти лет отроду Костик Циолковский надел гимназическую форму, но, с трудом перейдя во второй класс и просидев в нём два года, он был уволен из-за полной своей неуспеваемости.

“Учиться в классе я не мог, учителей я почти не слышал и без конца подвергался насмешкам и издевательствам со стороны гимназистов, — вспоминал об этом времени Циолковский, — хождение в гимназию для меня было просто нестерпимо мучительно”.

Настойчивый и проницательный ум мальчика, при освобождении от необходимости ходить каждый день в гимназию и делать обязательные домашние уроки, направил его на новую деятельность: Костик увлёкся ручной работой и стал мастерить разные игрушки и модели. Сперва простые и незамысловатые, потом всё более сложные, самодвижущиеся, с механизмами, поражая сверстников и взрослых выдумкой и мастерством изготовления. Успех и желание ещё большего признания подстёгивали мысль к новым идеям, возникали всё новые и новые вопросы и ответы на них Костя стал искать в книгах. У отца была небольшая библиотечка книг по геодезии и лесному делу, несколько книг по физике и математике. Книги помогали мальчику в его работе, но при чтении их вставали новые, волнующие вопросы и Костя стал постоянным посетителем местной городской библиотеки. Всё глубже мальчик погружался в новый для него мир познания и науки, находя в нём успокоение и новый смысл в его жизни.

“Глухота заставляла страдать моё самолюбие, она отделяла меня от всех, от обычной жизни моих сверстников от нормальных детских игр и радостей и это несчастье моё стало кнутом, который погнал меня на углубление и расширение знаний и этот кнут гнал меня всю мою жизнь вперёд и вперёд. Глухота способствовала сосредоточенности в учении и следо-

вательно большей успешности в восприятии изучаемого”, — говорил Циолковский, признавая, что в большой степени, в эти ранние годы его жизни, его физический недостаток — глухота, явился если не причиной, то сильнейшим стимулом, помогшим в будущем развернуться его творческому научному таланту.

Книга стала верным другом будущего учёного и в своей автобиографии, написанной им в 1933 г., Циолковский повторяет слова Максима Горького: “Всё, что во мне есть хорошего, я почерпнул из книг”. Когда значительно позже, известный Петербургский издатель и популяризатор научных книг, Яков Перельман спросил Циолковского, какая из всех им прочитанных книг произвела на него наибольшее впечатление, тот, не задумываясь, ответил: “Физика Гано”. Эта знаменитая книга, впервые была издана на русском языке в 1868 г. издательством Павленкова и именно она определила творческую судьбу Циолковского на многие годы. На 127-й странице этой книги был помещён заголовок: “Глава 9-я. Аэростаты”. После детального описания принципа действия этих устройств, разбора существующих типов и конструкций и очень ограниченных теоретических данных, глава заканчивалась словами: “Нужно отметить, что истинной пользы от аэростатных приспособлений можно ожидать только в том случае, если найдутся способы и средства подчинить аэростат воле человека, а не воздушной стихии. Однако до настоящего времени все попытки в этом направлении остаются безрезультатными”.

Это примечание остановило внимание юного Циолковского: — А что если?.. А что если найти этот способ? Создать средства управления аэростатами! Превратить воздушный шар, плывущий по течению воздуха, в воздушный экипаж, послушный его водителю и дающий человечеству совершенно новый вид транспорта! Осуществить тысячелетнюю мечту человека, оторваться от земли и полететь над её поверхностью... и стать наряду с теми великанами человеческой мысли, о которых он теперь так часто читал и преклонялся перед их делами и именами. Половину своей жизни, несмотря на все трудности и препятствия, он посвятил этой, почти навязчивой идее: аэростат, управляемый человеком. И Циолковский в этой своей работе достиг полного успеха, он создал цельнометаллический, пол-

ностью управляемый дирижабль... но тогда, когда сама идея полётов на аппаратах легче воздуха стала почти анахроничной, уступая место аэроплану.

Отец Константина, сперва относившийся к занятиям сына с насмешкой и даже некоторым недоброжелательством, постепенно начал менять свое мнение, убеждаясь в необычном объеме знаний сына, в его упорстве, в его стремлении к знанию и умению приобретать его.

Один из знакомых Эдуарда Игнатьевича изобрёл "вечный двигатель"! Схема и принцип действия этого устройства были настолько правдоподобны и убедительны, что столичные газеты в Петербурге не только напечатали сообщение и описание этого "изобретения", но и предсказали "многообещающее и блестящее" будущее этому "вечному двигателю". Константин, тогда ему было только 15 лет, раскритиковал "изобретение", доказывая автору его, полную абсурдность всей идеи "вечного движения", не особенно стесняясь в выражениях. Отец был смущён нетактичным выступлением своего сына, автор "изобретения" был обижен и возмущён, а один из гостей, присутствовавших при "диспуте", даже предложил высечь "нахального молокососа"... а через несколько недель в тех же газетах была помещена статья, подписанная именем известного учёного, высмеивающая всю эту "сенсацию вечного двигателя", причём аргументация в этой статье, в основном, совпадала с доказательствами Константина при споре с изобретателем. Этот случай ускорил решение, постепенно созревавшее у Эдуарда Игнатьевича: "Нужно дать Константину университетское образование!".

Весной 1873 года, Константин Циолковский 16-ти лет от роду приехал в Москву с целью поступить в университет. На дорогу он получил от отца 25 рублей и обещание, что каждый месяц отец будет присылать ему по 20 руб. на жизнь и учение. На средства, которыми располагал Константин, нанять отдельной комнаты он не мог и после двух дней поисков и одной ночи, проведённой на вокзальной скамейке, он нанял за 3 рубля в месяц, угол в квартире прачки Наталии Стасюковой, недалеко от Сухаревой башни, на углу Апраксиного рынка, где он и прожил почти все три года своей жизни в Москве. Поступить в университет ему не удалось; без денег, без знакомств и связей, без гим-

назического диплома, в помятой и залатанной одежде, лохматый и полуглухой юноша вызывал только улыбки у канцеляристов московского университета на Моховой улице, и ему, конечно, отказали в приёме. Но несмотря на большое разочарование, Константин решил оставаться в Москве и учиться самостоятельно, вне стен храма науки.

И университетом для него стала Румянцевская городская библиотека! Тогда это здание, где теперь размещён Румянцевский музей, называлось "Дом Пешкова", а сама библиотека носила название "Чертковской библиотеки", по имени её основателя, известного любителя и собирателя книг, Алексея Дмитриевича Черткова. Здесь, в этой библиотеке, обладавшей уже тогда огромным книжным фондом, много занимался Менделеев, сюда часто заглядывали Толстой, Островский, Пирогов, Тимирязев, Столетов и многие другие писатели, учёные, юристы и литераторы тех времён.

Константин приходил к моменту открытия читального зала и уходил последним, часто просто выгоняемый уборщиками. Сперва Константин набросился на книги без всякой системы поглощая одну за другой, но вскоре понял, что для получения желаемого результата, нужна программа, порядок и направленность в учении. В этом ему много помог один из замечательных людей среди московской интеллигенции, Николай Федорович Фёдоров, помощник заведующего библиотекой. Эрудиция и знания этого скромного человека буквально не имели границ. Он с одинаковой лёгкостью подбирал материалы для врача или для инженера-путейца, с ним советовались историки, писатели и артисты, его знали и уважали все, кто так или иначе пользовался библиотекой. И по сей день в главном зале библиотеки висит мемориальная доска с его словами: "Не забывайте, что за книгой кроется человек и его работа! Уважайте книгу из-за любви и почтения к человеческой гениальности. Библиотека это школа для взрослых и следовательно это высшая школа!"

Фёдоров обратил внимание на странного, бедно одетого юношу, ежедневно с утра до вечера усердно занимающегося в читальном зале, познакомился с ним и указал ему общее направление и методологию в деле самообразования. Между прочим отметим, что Фёдоров до переезда в Москву, после оконча-

ния им Ришельевского лицея в Одессе, некоторое время преподавал в городе Боровск, где потом преподавал в местной школе и Циолковский. Интересно, что четыре разных лица с одинаковой фамилией Фёдоров в разное время сыграли значительную роль в жизни Константина Эдуардовича.

С самого раннего возраста и до самой смерти Циолковский придерживался одного и того же метода в своей работе; всё прочитанное им, всё изучаемое, он старался по мере возможности подтвердить собственными экспериментами и математическими выкладками: "Я всю свою жизнь учился творя и творил в процессе учения", — говорил сам о себе Циолковский, и в своем углу на квартире прачки-хозяйки он устроил целую лабораторию и почти все свои средства тратил на покупку колб, пробирок, мелких лабораторных приспособлений и химикалий, живя впроголодь, питаясь в буквальном смысле хлебом и водой. Всегда замкнутый, неразговорчивый и сосредоточенный в своих занятиях, странный полуглухой, длинноволосый юноша, целые дни проводящий в библиотеке, возвращающийся оттуда с вероухом книг и потом занимающийся у себе в углу за шкафами до глубокой ночи, что-то кипятя на спиртовке в стеклянных трубочках, что-то взвешивая на маленьких весах, снова ныряющий в книги, а потом исписывающий целые листы бумаги цифрами, вызывал удивление и сочувствие хозяйки квартиры и она, стараясь как-то помочь ему, иногда предлагала тарелку супа или ещё что-нибудь, но неизменно встречала вежливый, сконфуженный, но решительный отказ от помощи: "Спасибо... я не голоден, у меня всё есть..."

За два с половиной года своей жизни в Москве, Константин Эдуардович, прошёл полный курс физико-математического факультета университета, а по некоторым дисциплинам и значительно больше. Строго придерживаясь раз взятого направления, он изучал только то, что ему было нужно, не отвлекаясь в сторону, как бы не интересны эти "стороны" были. Исключительно напряжённая работа, вечное недоедание и скверные условия жизни полностью истощили его силы: "Я носил длинные волосы, не было у меня ни денег, ни времени, чтобы постричься. Наверное я был очень смешон, — отмечает Циолковский в своей автобиографии. — Но всё же я был в это время в Москве очень

счастлив своими идеями и самим процессом познания, а черный хлеб, меня нисколько не огорчал... мне и в голову не приходило, что я голодал и истощал своё здоровье". Но всё это кончилось тем, что он совершенно ослабел, его слух ещё ухудшился, он начал терять зрение, стал носить очки и ему труднее стало заниматься. Отец, узнав через земляков, приезжавших в Москву и навещавших Константина, о его опасном состоянии, решительно потребовал, чтобы Константин вернулся домой, хотя бы на полгода для отдыха и восстановления сил.

В сентябре 1876 года Константин вернулся под отцовскую крышу, в Вятку. За время своего учения в Москве, Константин не сделал выдающихся открытий, как ожидал его отец, он не завёл знакомств и связей в научном мире, он не получил формального университетского диплома, но он приобрёл знания и это давало Константину уверенность в себе, в своих силах и веру в будущее. В Вятке Константин стал давать частные уроки и быстро завоевал славу отличного репетитора. Он устроил себе лабораторию и всё своё свободное время посвящал опытам, экспериментальной работе и чтению. Он снова начал часто бывать в библиотеке, где его ещё хорошо помнили и стал там известной знаменитостью, т.к. редко кто в Вятке интересовался такими книгами, как "Математические начала натуральной философии" Ньютона или "Теория небесной механики" Брашмана.

После выхода отца в отставку в 1876 г. вся семья переехала в Рязань, где предполагалось купить дом, но это не удалось из-за недостаточности средств. Жить в Рязани на мизерную пенсию отца стало труднее, также здесь было труднее найти частные уроки для подработок Константина. Циолковский подаёт прошение на допущение его к государственному экзамену на получение права преподавания в городских и уездных училищах. Экзамен он сдает в 1878 г. и после Рождества 1879 г. он наконец получает назначение на должность учителя арифметики и геометрии в городское училище города Боровск Рязанской губернии.

Маленький городок Боровск был знаменит тем, что здесь в своё время был заточён в тюрьму протопоп Аввакум, родоначальник раскольников, сюда же сослали боярыню Морозову и вообще Боровск был Меккой старообрядцев. Основное

большинство жителей были старой веры и строго соблюдали старое правило: "С бритоусом, табачником, шепотником и со всяким скоблёным рылом, не бранись, не водись, не дружись и не молись!" Поэтому найти здесь квартиру Циолковскому было нелегко. Всё же он нашел небольшую комнату с отдельным входом и устроился, но через несколько дней, его хозяин-старовер, зайдя к нему и увидя на стенке повешенные таблицы, изображающие внутреннее строение человеческого тела (Циолковский в это время изучал анатомию), пришёл в ужас от таких "богомерзких картин" и выгнал Константина Эдуардовича из своего дома.

Наконец, Циолковский прочно устроился в доме священника местной православной церкви Евграфа Николаевича Соколова. Отец Евграф был беден, т.к. православных в городе было немного и его приход был малочислен. Он был вдов и домашнее хозяйство вела его старшая дочь Варенька, ровесница Циолковского. Молодые люди быстро сблизились и 20-го августа 1880 г. повенчались. Свадьба была очень скромной, только несколько человек было в церкви. В конце этого же года умер отец Константина, Эдуард Игнатьевич, так и не закончивший своего философского сочинения. В его лице Циолковский потерял искренне и горячо любимого отца и лучшего своего друга.

Варвара Евграфовна стала для Циолковского не только его женой и матерью его детей, но верным и постоянным другом и помощником. Она была глубоко убеждена в огромном значении его работ и её никогда не смущало то, что основная часть заработка уходила на книги, опыты, моделирование и самостоятельное издание его трудов, оставляя мизерные средства для жизни семьи. Ещё до женитьбы Циолковский делает первую попытку опубликовать свою работу и посылает в "толстый журнал" статью: "Графическое изображение ощущений" — журнал статью не поместил. В 1881 и 1882 гг. он снова посылает ещё две работы: "Механика живого организма" и "Свободное пространство". Опять журнал его работ не принял и даже не ответил автору на его запрос. В этой последней работе "Свободное пространство" уже ясно формулируется его мысль, впоследствии давшая ему славу и признание: использование реактивных сил для полёта. Он пишет: "Если железную бочку

наполнить сильно сжатым газом и потом открыть кран, то газ непрерывной струёй устремится из бочки и сама бочка начнёт двигаться в противоположном направлении". И дальше ещё более определённо: "Фейерверочная ракета поднимается на большую высоту силой газовой струи, выбрасываемой из её заднего конца".

Он заканчивает свою работу, начатую ещё в Рязани, "Кинетическая теория газов" или "Взаимное проникновение газовых частиц" и посылает её в Физико-Химическое Общество в Петербурге, основанное Дмитрием Ивановичем Менделеевым, членами которого состояли знаменитые учёные — Сеченов, Рыкачёв, Спицын, Жуковский, Джевицкий и др. Ответ Циолковский получает только через полгода с выпиской из протокола заседания правления общества: "...статья сама по себе не представляет ничего нового, выводы в ней не совсем точны, но тем не менее, она обнаруживает в авторе большое трудолюбие и способности. В виду этого желательно способствовать дальнейшему самообразованию автора". Циолковский опоздал больше чем на десять лет. Кинетическая теория газов была уже детально разработана Клаузевишем, Максвеллом и Больцманом ещё в 1869 г. Это приносит Циолковскому большое огорчение. Он потом в своей автобиографии сам отмечал: "Я часто в своей ранней научной деятельности, открывал давно открытое и изобретал давно изобретённое, у меня были очень ограниченные возможности получать информацию о том, что делается в мире науки не только за границей, но даже и в России".

Теперь он посылает свои работы, отвергнутые журналом "Русская Мысль", "Графическое изображение чувств" и "Механика живого организма" в Физико-Химическое Общество. В своём издании Общество публикует обе работы с очень положительной рецензией самого Сеченова. Через некоторое время печатается и его работа "Свободное пространство". Общество избирает 26-летнего учёного, учителя в захолустном городке Боровск, своим членом. Это окрыляет Циолковского и он с новым энтузиазмом погружается в работу. Можно считать, что к своей юношеской мечте об управляемом аэростате Циолковский вернулся в 1885 г. и после двух лет настойчивой работы он получает приглашение прочитать доклад о своей

работе в Московском Обществе Любителей Естествознания. В этом приглашении сыграл большую роль земский начальник Боровского уезда Голубицкий. Его родственница, знаменитый русский математик София Васильевна Ковалевская, приехавшая к Голубицким из Москвы, узнав о молодом талантливом учёном-самоучке, учительствующим в Боровске, захотела с ним познакомиться. Голубицкий навестил Циолковского на дому и хотел организовать его встречу с Ковалевской, из этого ничего не получилось: Константин Эдуардович наотрез отказался от знакомства, но посещение Циолковского и разговор с ним, произвели на Голубицкого очень сильное впечатление и при очередной своей поездке в Москву, он через профессора московского университета Александра Григорьевича Столетова устраивает это приглашение. Доклад был выслушан с интересом, сам Столетов дал положительную оценку, к нему присоединились Жуковский, Боргман и др. и после внесения некоторых критических замечаний, доклад был признан официально "вкладом в науку"!

Взволнованный и полный надежд Циолковский возвращается домой. В первую же ночь по его возвращении из Москвы происходит несчастье: загорается дом соседа, огонь перебрасывается на дом Циолковских. Родители едва успевают спасти своих детей, всё имущество их гибнет в огне, включая все рукописи, библиотеку, модели, инструменты, чертежи и проекты. Циолковский от такого потрясения заболевает и находится в постели почти три месяца. Ещё не оправившись после болезни, его настигает второй сильный удар судьбы: обещанный ему перевод по службе в Москву, чтобы быть поближе к центру научной мысли, не удался, несмотря на личные ходатайства Столетова, Голубицкого и Ковалевской. Через полгода Циолковский оправляется от болезни и возвращается к работе. В новой квартире, на берегу реки Протва, в первом этаже дома огородницы Помухиной, Циолковский наново организует свой рабочий кабинет и мастерскую, где всё своё свободное время посвящает созданию проекта и модели цельнометаллического управляемого дирижабля с изменяющимся объёмом. Он заканчивает всю работу и отправляет её лично Менделееву в январе 1889 г., а весной, когда Протва вскрылась и пошёл лёд, ниже по течению образовался затор, нижняя часть Боровска была залита водой. В

квартире Циолковских вода поднялась выше пояса и едва оправившиеся "погорельцы" попали в положение пострадавших от наводнения. Снова много домашних вещей и, конечно, разных лабораторных приспособлений погибло.

Менделеев, получивший проект и модель от Циолковского, передаёт всё дело на заключение в Русское Техническое Общество. Проект попал в руки крупного специалиста, военного инженера и профессора Московского Университета, Евгения Семёновича Фёдорова. Если первая встреча с человеком по фамилии Фёдоров, во многом помогла Циолковскому, то на этот раз Е. С. Фёдоров причинил ему много горя и разочарования. В своём официальном заключении по работе Циолковского, Фёдоров писал: "Энергия и труд потраченные г-ном Циолковским, доказывают его любовь и большие знания в области, избранной им для исследования, но вряд ли нужно доказывать уже утверждённую истину, что управляемые аэростаты никогда не будут способами передвижения", и в начале декабря 1890 г., Циолковский получил официальное сообщение от секретаря 7-го отдела Общества, что проект его отклонён и в просимой субсидии для постройки модели отказано.

Интересно, что в то же время, как Русское Техническое Общество отвергает предложение Циолковского, воздухоплавательный отдел Военного Ведомства, принял проект австрийца Шварца о постройке управляемого аэростата и передал ему значительные средства для осуществления проекта. После полной неудачи, Шварц, сумел получить из казны ещё 10000 рублей, якобы для закупки специальной шёлковой ткани за границей, уехал и больше в Россию не возвращался. Циолковский, конечно, глубоко возмущен, он пишет письма Столетову, Менделееву и Фёдорову, упрекая последнего в предвзятости, не особенно стесняясь в выражениях. Менделееву он пишет: "Моя вера в великое будущее металлических управляемых аэростатов после получения заключения г-на Фёдорова не только не поколебалась, а, наоборот, я ещё больше убеждаюсь в том, что мой управляемый дирижабль, даже построенный из червонного золота, даст значительный процент прибыли при практическом его применении в очень короткое время". Но в это время уже во всём мире нарастал интерес к возможностям полёта на аппаратах

тяжелее воздуха, к аэропланам. Жуковский, Рыкачёв, Спицын, Джевицкий и многие другие учёные с громкими именами пишут статьи и книги по вопросам авиастроения и ведут изыскания в этой области. После полётов на планерах Моуилларда в 1865г. и Лилиенталя несколько позже, все были убеждены, как и Е. С. Фёдоров, что будущее принадлежит аэроплану, но никак не аэростатам. В Москве на время забыли о "Боровском учителе", но этот настойчивый самоучка-провинциал, не сдаётся. Он собирает все свои возможности и при помощи нескольких своих почитателей из кругов боровской интеллигенции издаёт свою первую книгу в московском издательстве Волчанинова "Аэростат металлический, управляемый". Книга вызывает ряд положительных отзывов в столичной профессиональной прессе. Но это мало помогает Циолковскому. Отношения Циолковского с столичными научными центрами продолжают ухудшаться.

Михаил Михайлович Поморцев, незаурядный пионер аэрологических изысканий, в 1896 г. выпускает книгу о будущем воздухоплавания, где между прочим подвергает критике работу Циолковского "Аэростат металлический, управляемый", подкрепляя свою аргументацию рядом подсчётов и математических рассуждений. Критика была очень суровая. Прочтя книгу своего врага, Циолковский обнаружил в одном расчёте грубую ошибку: Поморцев по рассеянности спутал диаметр с радиусом. Воспользовавшись этим промахом Поморцева, Циолковский публикует в журнале "Технический сборник" резкую, уничтожающую статью, полностью разгромив всю логику Поморцева, нанеся его самолюбию и престижу сильный удар. Вся история приобрела нежелательную огласку для всего 7-го отдела Русского Технического Общества и отношения между этим отделом и Циолковским ещё больше обострились.

В 1893 г. Циолковского переводят по работе в городское училище в Калуге на должность преподавателя физики и математики, и вся семья переезжает на жительство в Калугу. Отношения с непосредственным начальством в Калуге быстро стали такими же натянутыми, как и на старом месте в Боровске. Характер Константин Эдуардович имел отцовский, сильный, настойчивый, негибаемый, скрупулезно честный, не терпящий компромиссов с совестью. Он не стеснялся прямо высказать свою мысль, вне

зависимости от того нравилась она или не нравилась его начальству. Вся его научная работа вплоть до середины 20-х годов протекала в борьбе за свои идеи и признание их и это при условии абсолютной необходимости работать в школе, добывая средства для жизни семьи, на расходы по испытаниям и экспериментам, плохого здоровья, полуглухоты и всё увеличивающегося раздражения от игнорирования его, как учёного в центре и от бесконечных обид, наносимых ему руководителями официальных научных учреждений в Москве и Петербурге.

В июле 1900 г. граф Цеппелин построил свой дирижабль с мягкой оболочкой, названный "Цеппелин", и совершил первый пробный полёт на нём, вызвав бурные восторги во всех слоях общества и в Европе, и в России. Циолковский больше чем на 10 лет опередил Цеппелина, но не смог пробить толщу отечественной казённой бюрократии, непонимания и скептицизма научных кругов и слава пионера и создателя первого, полностью управляемого дирижабля досталась в то время не ему. Циолковский тяжело переживает эту новую несправедливость, тем более, что даже те лица, которые хорошо знали о его работе в этой области, в хвалебных статьях о Цеппелине, не упоминали его, Циолковского, имя. И снова ряд резких писем с критикой и Цеппелина и Русского Технического Общества и ряда представителей научных кругов с громкими именами.

В Калуге, конечно, опять устраивается лаборатория и, продолжая свои работы, Циолковский строит первый в мире экспериментальный ветровой туннель, опередив на 6 лет постройку аналогичного исследовательского аэродинамического приспособления братьями Райт в Америке в 1898 г. В своих научных изысканиях Циолковский переключается на теорию полёта тел в воздушной среде и в особенности на взаимосвязь величины сопротивления и самой формы тела в потоке воздуха. Он изготавливает серию моделей и испытывает их в своей "аэродинамической трубе". Получив предварительные результаты, он пишет письмо в Академию Наук. После длительных переговоров и задержек, он наконец получает для продолжения начатой работы 470 рублей и то только потому, что Михаил Александрович Рыкачёв даёт очень положительную оценку работы Циолковского. Циолковский просил субсидию в размере 1000 р. В конце 1901

года вся работа пересылается в Академию. Одним из выводов Циолковского в этой работе было полное отрицание им правильности направления в тогдашней авиации — постройки бипланов и даже трипланов: "Никаких этажерок! — пишет он. — Только моноплан способен летать с повышенной скоростью, всякие расчалки, связки, перепонки и прочие конструктивные необходимости этих этажерочных устройств только увеличивают сопротивление полёту и являются поглотителями затрачиваемой энергии на полёт". Свободнонесущий моноплан, прототип всей современной нам авиации, за который ратовал Циолковский, вошёл в практику самолётостроения только в двадцатых годах, т. е. через двадцать лет после исследований Циолковского.

Ответа из Академии долго нет. Наконец, после нескольких настойчивых запросов, Циолковский получает ответ, в котором сообщается, что комиссия под председательством Рыкачёва, решила работу не опубликовывать, т. к. там "содержится много неточностей и прямых ошибок". Циолковский не соглашается с этими выводами, снова длинная переписка, не приведшая ни к какому положительному результату, а только оставившая чувство горечи и возмущения у Циолковского. Конечно, были и ошибки и неточности, но сам факт использования ветрового туннеля для экспериментального подтверждения теоретических предположений, открывающий совершенно новые пути в науке воздухоплавания и дающий в руки экспериментатора надёжный метод проверки, заслуживал особого внимания и к автору и к его новаторским идеям. Когда же через несколько лет французский учёный, инженер и исследователь Эйфель опубликовал результаты своих опытов, произведённых в прекрасно оборудованной, по последнему слову техники, аэродинамической лаборатории, то результаты экспериментов Эйфеля почти в точности совпадали с основными выводами Циолковского. О Эйфеле заговорил весь мир... о Циолковском все молчали. Оценивая работы Эйфеля, Циолковский пишет: "Академия в основном дала положительный отзыв о моей экспериментальной работе, написанной 5 лет тому назад, но в виду множества сделанных мною оригинальных открытий, по новому освещающих аэродинамические зависимости при полёте тела в воздушной среде, отнеслась к моим трудам с сомнением и известным скептицизмом, называя

выводы мои ошибочными. Теперь Академия может порадоваться, что не обманулась во мне и не бросила на ветер 470 рублей. Благодаря последним опытам Эйфеля самые странные мои выводы, подтвердились полностью. Очевидно, Академия знает, что на свои опыты Эйфель затратил примерно в сто раз большую сумму денег, по сравнению с той финансовой помощью, в которой Академия отказала мне". Циолковский возмущён, оскорблён, обижен. Его письма в Москву к руководителям научных организаций не скрывают этого, он пишет: "... Известно, что все великие начинания оказывались не своевременными и, если не запрещались, то, не находя сочувствия, чахли и замирали, железные дороги тоже когда-то находили вредными и не нужными, сам Наполеон отверг идею парохода, сочтя её смешной и дорогой игрушкой. Любое изобретение, любая оригинальная мысль вызывают насмешки и злобу обывательщины!"

Или: "... Представьте, что среди нас появился человек столь же необычный, как Джордано Бруно, Галлилей или Коперник. Их бы никто не понимал, журналы не принимали бы их статей, находя их противоречащими современным взглядам. Им нужна мудрость энциклопедических словарей! Кто посмеет согласиться с неизвестным человеком, нападающим на общепризнанные авторитеты?". И снова: "... Мы слушаем не то, что тихо, хотя и правильно, а то, что гремит за границей. Критиковать и разбирать в печати это гремящее мы не способны, мы слишком заурядны! Гремит, значит здорово придумано! И что же гремит? Гремит вздутый авторитет, которому позволено ошибаться и врать, гремит всякий, имеющий силу денег, родства или связей. Сколько невозможной чепухи печатается в наших т. н. научных журналах..."

Что и говорить, "калужский учитель" был не особенно приятным человеком в общении. Однако в школе, где он преподавал, по мнению начальства, "удивительно своеобразно", и не придерживаясь утверждённых программой книг, дети его любили и на экзаменах проявляли глубокие знания и понимание предмета. В классы Циолковский приходил с самодельной слуховой трубой, говорил очень громко, но ясно и отчётливо. В 1898 г. Константин Эдуардович получил по совместительству уроки в женском

епархиальном училище, а потом и полностью перешёл в него. "Приходилось заниматься почти с взрослыми девушками и это было менее утомительно, они были спокойны, вежливы и внимательны на уроках, при том же заработке, я тратил значительно меньше сил на работу, что при частых физических недомоганиях, для меня было чрезвычайно важно", писал об этом времени Циолковский. А здоровье его было очень плохим. После занятий в училище, приходя домой, он обычно работал у себя в комнате или в мастерской далеко за полночь, доводя себя до полного изнеможения. Он часто болел и Варвара Евграфовна старалась оградить его от всех семейных дел и неприятностей. В доме всё было сознательно подчинено одному принципу: ничто не должно мешать научным занятиям Константина Эдуардовича. Это было превыше всего и все члены уже довольно многочисленной семьи старались, как могли, помочь отцу в его "важной и большой работе".

Ещё в 1896 году Константину Эдуардовичу попалась небольшая брошюрка изобретателя-инженера под названием "Новый способ воздухоплавания, исключаящий воздух как опорную среду", имя автора было Александр Петрович Фёдоров! Принцип изобретателя заключался в использовании энергии струи газа, выходящего с большой скоростью из отверстия аппарата. Вспомнив одну из своих ранних работ "Свободное пространство", Циолковский несколько раз просматривает брошюру и приходит к решающему выводу: "Именно эта небольшая, только в восемь страничек, брошюрка, без всяких расчётов, довольно туманно трактующая о возможности применения, сотни лет тому назад изобретённой китайцами ракеты, для целей выхода за пределы земной атмосферы, вдруг открыла для меня необъятные горизонты и возможности", вспоминал Циолковский. Но для выхода за пределы атмосферы сперва нужно пройти через её толщу и побороть земное притяжение. И, имея впереди цель возможности космических полётов, Циолковский много времени посвящает теоретическим и практическим изысканиям и вопросам связанным с сопротивлением воздуха телу в полёте. "Первый великий шаг человечества состоит в том, чтобы вылететь за атмосферу и сделаться спутником Земли, остальное сравнительно легко, вплоть до удаления от нашей солнечной

системы в просторы Космоса”, пишет он.

С небольшими перерывами работе “Исследование мировых пространств реактивными приборами” Циолковский посвящает 7 лет. Уже почти в конце этой работы, семью Циолковских постигает большое горе. Второй сын, Игнатий, студент Московского университета, кончает жизнь самоубийством. Причина: разочарование в жизни. В оставленной им записке только одна строчка: “Жить глупо и не нужно!” Константин Эдуардович тяжело переживает несчастье, обвиняя себя в недостаточном внимании к жизни сына. Но оправившись, он заканчивает работу и в 1903 году посылает её для опубликования в журнал “Научное обозрение”. И опять Циолковскому не повезло, в журнале была помещена первая половина статьи, окончание должно было быть в следующем номере, но журнал, издаваемый профессором Филипповым, прекратил своё существование. За слишком “вольное” направление журнал закрыли. Там действительно часто печатались статьи на социальные и политические темы таких авторов, как Плеханов, Засулич. Вторая часть работы Циолковского была опубликована только через восемь лет, в 1911 году.

С детских лет Циолковский устремлял свои взгляды в небо. Что там? Что такое Вселенная? Какие законы управляют движением этих миллионов и миллионов миров? Возможна ли там жизнь и если да, то в каких формах? Сотни вопросов возникали в голове мальчика... Теперь накопленные знания, развитый математически и логически ум и способность к глубокому анализу дают Циолковскому возможность ответить на основные вопросы и приводят к твёрдому убеждению, которому он был верен всю жизнь: вселенная это бесконечное пространство, ни чем не ограниченное, в этой безмерности находится бесчисленное количество звёздных скоплений, как “наш Млечный путь”, с биллионами солнечных систем и каждое солнце, как и наше, имеет десятки небесных тел, вращающихся вокруг него, удерживаемых на своих орбитах силами гравитационного тяготения. Основные физические, химические и математические естественные законы тождественны и для нашей солнечной системы и для солнечных систем, находящихся от нас на расстоянии многих миллионов световых лет. Также материя, создающая всю живую и мёртвую природу на земле и в космосе, состоит из одних и тех же простейших

химических элементов. И вывод приходит сам собой: физико-химические условия, образовавшиеся на земле, не могут быть уникальными и единственными, они безусловно во множестве повторимы в космических просторах, а если это так, то и жизнь от простейших её форм живой органической клетки до сложнейшего организма человека и, по всей вероятности, до ещё более совершенных физически и психологически сверхсуществ, не только может существовать в Космосе, но и без сомнения существует!

Современные учёные, через 75 лет, после этих мыслей Циолковского тоже пришли к общему убеждению. Значительно труднее представить себе вселенную с единственной крошечной точкой-планеткой, сравнительно молодой солнечной системы, на которой существует разумная жизнь, чем вселенную, наполненную такими островками жизни во всех её нам понятных и нами не понимаемых формах и проявлениях.

Константин Эдуардович любил повторять одну фразу: "Мечта создаёт сказку, сказка возбуждает фантазию, фантазия порождает мысль пытливого человека, а человек превращает сказку в действительность". И у Циолковского сказка постепенно превращается в эту действительность. В конце 90-х годов он публикует фантастический роман "На луне", потом "Грёзы о Земле и Небе", позже в 1905 и 1907 годах он издаёт две книги: "На чужих планетах", и "Вселенная в очерках и картинах", а параллельно с этими "сказками и фантазиями" разрабатывает теорию полёта ракетного приспособления в атмосфере и вне её в свободном пространстве. Он закладывает основы новой отрасли науки Ракето-динамики! Циолковский доказал, что в условиях отсутствия сил земного притяжения и сопротивления среды, скорость полёта реактивного снаряда зависит только от количества запасаённого в ракете горючего и скорости выхода продуктов сгорания (газов) из сопла ракеты. Математическая зависимость этих величин и называется "формулой Циолковского".

Эта его работа, "Исследование мировых пространств реактивными приборами", даёт практический, теоретически обоснованный, метод для научных исследований в пределах солнечной системы и далеко за границами её.

Началась война 1914 года. И условия жизни семьи Циолков-

ского ещё ухудшились. Константин Эдуардович работает в епархиальном училище, получает по совместительству уроки по физике в калужском реальном училище, и как всегда продолжает работать дома. Печатать свои статьи и брошюры он в это время не может главным образом из-за трудностей с получением бумаги, но пишет много, углубляя и расширяя свою работу по космическим исследованиям. Цель работы окончательно выкристаллизовалась. Способ достижения этой цели был также найден. Французский учёный Эсно-Пельтри утверждал, что космические полёты станут возможны только после открытия новых источников энергии типа атомных, радиевых, магнетических или каких-либо ещё, совершенно не известных. В ответ на это в 1914 году, Циолковский писал: "Успешное построение реактивного прибора представляет огромные трудности и потребует многолетней предварительной работы, теоретических и экспериментальных исследований, но всё-таки эти трудности не так уж велики, чтобы ограничиться мечтами о не открытых ещё явлениях и видах энергии и откладывать всё дело, а ракета это практическая реальная возможность".

Ещё до войны, в 1911 г. Циолковский снова пробует продвинуть свою идею создания цельно-металлического управляемого дирижабля. К этому времени количество дирижаблей с мягкой оболочкой было уже довольно значительно. В России их насчитывалось больше 30-ти, в основном приобретённых за границей. Преимущества его цельно-металлической системы для Циолковского были очевидны и он обращается с письмом в Генеральный Штаб, предлагая прислать доверенное компетентное лицо для ознакомления с моделями и деталями его системы. Одновременно он, учитывая военное значение своего дирижабля, запрашивал, может ли он публично демонстрировать свои модели, до прибытия этого доверенного лица. Ответ пришёл через два с половиной месяца: его же письмо с косо написанной резолюцией: "Инженеру для поручений, сообщить автору настоящего письма: 1. Доверенное лицо не прибудет. 2. Демонстрировать модель публично, разрешается. 3. Если угодно автору, модель может быть прислана и после осмотра её специалистами, взята обратно, но без всяких расходов и обязательств со стороны казны".

В 1914 году накануне войны, Циолковский выступает в Петербурге на заседании Всероссийского Общества Воздухоплавателей с докладом о своём цельно-металлическом, управляемом дирижабле, но профессор Жуковский, наивысший авторитет того времени по вопросам авиации, высказался против проекта. Это был конец всем надеждам. Цельно-металлический дирижабль Циолковского был официально похоронен.

Циолковский был учёным, исследователем, изобретателем и философом. Он создавал идею, концепцию, техническую схему, но он не был инженером. Для этого у него не хватало знаний технологии и детального прикладного понимания о возможности превращения идеи в практическую вещь. Когда его проекты попадали в центральные научные организации, где всегда было сильно представительство инженерных кругов, этот разрыв между идеей и практической возможностью осуществления её, часто являлся основой для негативных заключений. Так и в этом случае, Жуковский, который был, в дополнение к его научному престижу и авторитетности, прекрасным инженером, вписал в резолюцию заседания: "Проект совершенно не обеспечивает минимальных норм прочности сооружения, это только весьма схематическая идея проблематической возможности".

С начала войны 1914 года, материальное положение Циолковского ещё более ухудшилось. Скучного учительского заработка при самой строгой экономии не хватало для жизни большой семьи. Публикация работ Циолковского сделалась совершенно невозможной. Типографии или совсем отказывались принимать работу или требовали высокие спекулятивные цены, ссылаясь на стоимость бумаги и рабочей силы. За эти годы Циолковский издал только одну небольшую, чисто философскую работу под названием "Гений и горе".

Февральскую революцию Циолковский принял, как и большинство либерально настроенной российской интеллигенции, с одобрением и надеждами. Кроме общей симпатии к революционно-демократическим идеям, у него уж очень много накопилось обид против официальных центральных научных учреждений в Москве и Петербурге, отношения с которыми зашли окончательно в тупик бюрократии, личного недоброжелательства и непонимания. Революция как будто открывала новые горизонты и

возможности. И действительно, в 1919 году, наконец приходит момент удовлетворения. Константина Эдуардовича за его научные заслуги избирают членом "Российской Социалистической Академии" с присвоением ему звания "заслуженного деятеля науки". Ему назначается персональная пенсия, так называемый, "академический паёк", и выдаётся единовременное пособие из фонда Комитета по улучшению быта учёных. Материальное положение резко изменяется к лучшему, бедность отходит в прошлое.

Но несчастья и неприятности не прекращаются. Летом этого же 1919 года умирает, от заворота кишек, младший сын Иван, постоянный помощник отца, его "секретарь" с самого раннего возраста, переписчик его работ и его любимец. Огромное горе придавливает Циолковского и он нервно заболевает. По всей вероятности к жизни его вернула Варвара Евграфовна, самоотверженно и неустанно ухаживавшая за мужем и не отходившая от него ни на шаг за всё время болезни. Осенью едва оправившегося от болезни Циолковского арестовывает ЧК и его увозят в Москву. Причиной ареста послужила длительная переписка и несколько личных встреч с человеком, опять носящим фамилию Фёдоров! Алексей Яковлевич Фёдоров, лётчик по профессии и большой энтузиаст воздухоплавания, настойчиво уговаривал Циолковского переселиться в Киев для совместной работы, экспериментов и организации строительства аэропланов. Он оказался капитаном-лётчиком царской армии, был участником Белого Движения, и когда это выяснилось, конечно, был арестован. Циолковский пробыл под арестом сравнительно короткое время и снова вернулся в Калугу. Освобожден он был из-под ареста по настойчивым хлопотам ряда научных работников и калужских городских и партийных организаций, которые, взяв Циолковского на поруку, вырвали его из лап ЧК.

В Калуге теперь жизнь его устраивается по-новому: Циолковские переезжают в просторный, достаточно благоустроенный дом, устраивается лаборатория, Константин Эдуардович имеет помощников, учеников, секретаря, общее признание, уважение и титул "выдающегося ученого". Его труды печатаются в научных журналах в Москве и Ленинграде, издательства выпускают его книги, его приглашают читать лекции и доклады, наконец он

достигает того положения в обществе и науке, о котором мечтал с того момента, когда на его детском столике лежала открытая на странице 127 книга — "Физика Гано".

Но судьба продолжает быть немилостивой к Константину Циолковскому. В 1922 году умирает младшая дочь Анна, только недавно вышедшая замуж, от туберкулеза и оставляет на попечение своей матери грудного ребенка. А через год с небольшим, в июне следующего 1923 года от сыпного тифа умирает его первенец сын Александр, сельский учитель, живший с своей семьей около Саратова.

В это время Константину Эдуардовичу уже было 65 лет. Вся его жизнь наполненная непрерывным рядом неудач, обид и непризнания в области работы и частого семейного горя, фактически подходила к концу и наверное большинство людей, прошедших по такому жизненному пути, к концу его были бы морально разбиты, но и в этом отношении Циолковский был феноменален. Ничто не могло отвлечь его от работы. Он был то, что принято называть "одержимый". Он был одержим своими научными идеями, своей работой, своим стремлением к познанию, к открыванию новых горизонтов в понимании законов природы. Если сопоставить даты его работ с датами семейных несчастий и личных неудач, то видно, что за исключением коротких, хотя и частых, периодов болезни, когда он физически не мог работать, он работал! Всегда, настойчиво и постоянно. В эти годы (1920-23) он издает "Кинетическая теория света", "Механика в биологии", "Происхождение натуральных законов" и ряд других серьезных научных работ.

У Циолковского были постоянные дружеские отношения с Яковом Перельманом, который с 1913 года был редактором Петербургского научно-популярного журнала "Природа и люди". Перельман симпатизировал идеям Циолковского и охотно предоставлял ему страницы своего журнала. Ещё в 1913 г. он делает доклад на заседании "Русского Общества Любителей Мироведения" на тему "Междупланетные путешествия", в котором высоко оценивает работы Циолковского и его идею использования реактивного принципа для будущих пространственных кораблей. В 1915-м году Перельман опубликовал свою работу о научно-фантастических и чисто научных трудах по космонавтике

под названием "Путешествия в Космосе", где снова и снова упоминал о работах, опытах, научных теориях и фантазиях Циолковского, впервые публично называя его "выдающимся учёным" и "пионером ракетоплавания".

В 1918-м году Яков Перельман входит в редакцию журнала "В мастерской природы" и вскоре делается редактором этого журнала, и в следующем 1919 г. публикует серию статей под общим названием: "За пределы атмосферы", где опять упоминает имя Циолковского, он пишет: "Здесь в этих работах нашего учёного из Калуги Константина Эдуардовича Циолковского, уже представлена не фантазия, а глубоко продуманный и фундаментально обоснованный научно-технический концепт, указывающий нам реальную и в настоящее время единственную возможность преодоления сопротивления атмосферы и сил земного тяготения для выхода в пространства Космоса". Циолковский несколько раз встречался с Перельманом лично и очень ценил его отношение к своей деятельности.

В октябре 1923 г. в газете "Известия" помещается статья инж. Давыдова, о книге немецкого инженера Германа Оберта "Ракета и межпланетное пространство". В статье указывается, что "книга Оберта впервые даёт солидную теоретическую почву, для организации космических полётов", и не единым словом не упоминается Циолковский и его работы в этой области. Константин Эдуардович пишет взволнованное и возмущенное письмо Перельману. Перельман заявляет публичный официальный протест, где указывает, что первенство в проектах и в теоретической разработке межпланетных перелётов на аппарате типа ракета безусловно принадлежит русскому учёному Циолковскому и требует вмешательства правительства. Сигнал был дан и начался бой за установление первенства. Теперь на помощь Циолковскому приходит мощный государственный аппарат, переиздаются его ранние работы, включая "Исследование мировых пространств реактивными приборами", спешно делаются переводы его трудов на немецкий, французский и английский языки, выпускаются специальные издания о его работах. Запад вдруг узнаёт, что в России живет и работает подлинный пионер мысли и способов проникновения человека в космос и его работы в этой области опередили почти на четверть столетия открытия Оберта

и других. Бой закончился полной победой Циолковского!

Борьба длилась довольно долго, но в конечном итоге руководящие научные круги в Европе признали Циолковского, до этого времени никому не известного ученого самоучку в глухой провинции России — "отцом ракетоплавания и основателем новой науки ракетно-динамика". Сам Герман Оберт в письме к Циолковскому пишет: "Вы зажгли огонь и мы не дадим ему потухнуть, но приложим все усилия, чтобы исполнилась величайшая мечта человечества". В 1929-м году тот же Оберт присылает еще одно письмо Циолковскому, которое потом было опубликовано во многих немецких, французских и английских научных журналах:

"Многоуважаемый коллега,

Большое спасибо за присланный мне письменный материал. Я, разумеется, самый последний, кто стал бы оспаривать ваше первенство и ваши заслуги в деле ракет, я только сожалею, что не раньше 1925 года услышал о Вас. Я был бы наверное в моих собственных работах сегодня гораздо дальше и обошелся бы без тех многих напрасных трудов, зная ваши превосходные работы".

С этого времени Константин Циолковский становится ученым с мировой известностью. По ряду соображений Циолковский приобретает особо важное положение и значение для Советского государства. Во-первых, он был действительно выдающимся ученым-новатором. Во-вторых, общий уровень науки и в России и на Западе был теперь готов к тем идеям Циолковского, которые 25 лет тому назад казались утопией и фантазиями. Человечество стояло на пороге "космической эры" и удержать за СССР первенство было фактически оправдано и политически очень прибыльно. В-третьих, тот факт, что до революции Циолковский был только "любителем", недоучкой, "учителем из Калуги", а теперь превращался в ученого с мировым именем и значением, было удобно отнести за счет преимущества нового социального порядка над старым строем. Это тоже была не плохая политическая карта. И наконец, в-четвертых, Циолковский был естественным центром, вокруг которого можно было создать центр для развития многообещающей новой области знаний и технологии для использования ракеты и реактивных двигателей для космических исследований и, конечно, для военных целей.

Основное большинство университетской профессуры и ученых не ушли в эмиграцию, продолжая работу на старых местах в стране. Те, кто принимал участие в общественно-политической жизни в направлении нежелательном для коммунистических владык, были физически уничтожены, а те, кто был занят только своей научной работой, получили все необходимое для своих изысканий. Характерной чертой всякого выдающегося ума, это его сосредоточенность именно на своей работе, "одержимость" идеей и часто полное игнорирование окружающего и непонимание происходящего вокруг. Вся жизнь таких людей полностью посвящена узкому кругу интересов и чем больше у него есть возможности не думать о "хлебе насущном", тем больше он углубляется в своё любимое дело. Именно к таким людям и принадлежал Циолковский, это было полностью использовано властями придерживающимися. Ему были предоставлены большие возможности и он работал, не поднимая глаз на жизнь вокруг. Во всяком случае, это было общее мнение людей, знавших его и работавших с ним в те времена. Будучи человеком глубоко моральным и гуманным по своей философской настроенности, Циолковский, конечно, не мог утверждать если не общие провозглашаемые цели "идеально счастливого и справедливого социалистического рая на земле", то те пути насилия, террора и лжи, которые применяла коммунистическая партия для достижения этих иллюзорных целей. Тот же профессор Цветиков, о котором я уже упоминал, вспоминал слова Константина Эдуардовича, относившиеся как раз к тому времени, когда он вернулся из поездки в Москву, где выступал с докладом в 1921 г.: "Это ужасно, что светлое начинание народной революции они там превратили в кровавое орудие, истязующее тело несчастной России". Конечно, такие высказывания ученого нигде не записаны.

Ко всей системе Советской власти у Константина Эдуардовича было двойственное отношение. С одной стороны, он прекрасно сознавал, что скачок от положения никому не известного "калужского учителя", живущего в постоянной бедности, к положению "заслуженного деятеля науки" с мировым именем и с достаточным материальным обеспечением, дающим возможность полностью отдать себя науке, был

возможен только при решительной помощи центральных государственных учреждений, и в данном случае это было Советское Правительство, к которому он не мог не испытывать чувства благодарности. Но с другой стороны, террор военного коммунизма, аресты его коллег и людей, которых он знал и привык уважать, истребление активно мыслящей интеллигенции, замена основных моральных норм жизни лживыми утверждениями, уничтожение даже мысли о настоящей демократии, разрушение крестьянства и многое другое, тяжело отражалось на психическом состоянии стареющего Циолковского, попавшего в духовный плен без всякой надежды на освобождение. Все это заставляло его больше и больше отходить от жизни, укрываясь в скорлупе своего рабочего кабинета. И, конечно, не только в связи с ухудшающимся состоянием здоровья с конца 20-х годов он отходит от непосредственного участия в практическом применении своих идей. Он продолжает консультировать разные проекты исследовательского порядка, выступает с докладами, читает лекции, но центр тяжести своей деятельности он переносит в свой кабинет в калужском доме, все больше сосредотачиваясь на вопросах философского характера. Его философия, отрываясь от земли, устремляется в Космос, и работы его начинают приобретать какой-то теологически-религиозный характер.

Его работы этого времени: "Будущее земли и человечества", "Совершенство жизни Вселенной", "Воля Вселенной и неизвестные Разумные Силы", "Научная этика" и ряд других, в особенности его "Монизм Вселенной", ясно указывают на его искания в области смысла жизни человека и его места и назначения во Вселенной.

Вопрос о религиозности Циолковского много раз поднимался разными авторами его биографий. Обычно во всех советских изданиях категорически утверждается, что Циолковский был убеждённым материалистом, последовательно базирующим все свои философские рассуждения именно на этой доктрине. Большинство работ Циолковского издано или переиздано с первых малотиражных дореволюционных изданий уже при советской власти и обычно в комментариях и примечаниях помешаются указания, как должно

понимать отдельные слова в тексте, а иногда и целые фразы автора, чтобы читатель не впадал в "ересь" и не отходил от официально утверждённой "философии". Если Циолковский говорит о "комбинации атомов, составляющих Сущность", следует примечание: "Под сущностью, автор подразумевает материю". Когда учёный рассуждает о "Влиянии Разума на устройство Вселенной", в сноске указывается: "Ясно, что Циолковский имеет в виду влияние идей через материальную силу и это выражение ни коим образом нельзя истолковывать в гегелевском или религиозном плане" и т. д.

Сам Циолковский в нескольких своих работах упоминает, что он — христианин. Например, в предисловии к своей брошюре "Ракета в космическое пространство" он пишет: "Я никогда не работал, не работаю и не буду работать над тем, чтобы усовершенствовать способы ведения войны, это противно моему христианскому духу!" Конечно, это звучит несколько наивно. Если сам он не работал над созданием ракетного оружия, то его теоретические и научные работы по ракетодинамике легли в основу создания именно этого типа современного оружия и на Западе и, конечно, в первую очередь в СССР.

Был ли он религиозен? Жена его, Варвара Евграфовна, была дочерью священника, и всю свою жизнь соблюдала обычные религиозные традиции. Мать Константина Эдуардовича была очень религиозна, но сам он по всем данным его биографов к церковной жизни ни до революции, а тем более после неё, не был причастен. Проф. Цветиков говорил, что Циолковский так же, как и Толстой, отрицал ортодоксальную символичность и догматическую обрядность православной церкви, ему, с его космической устремленностью, были тесны её узкие рамки.

В одном из писем* дочери Циолковского, Любови Константиновны, есть такие строки: "Отец всю свою жизнь имел привычку в ясные ночи выходить перед сном на двор и подолгу в полном одиночестве смотреть на небо. Когда было холодно, я приносила ему тёплую куртку, опасаясь, что он может простудиться, но оставаться с ним он не разрешал. "Иди домой, Люба, — говорил он, — я должен быть один, когда я веду раз-

* Письмо написано в декабре 1949 г.

говор с Творцом всего этого великолепия!" и он протягивал руку по направлению к сверкающим звёздам. А мать просто говорила: "Не мешай ему — он молится!".

Предположить, что слово "молится" имело обычный смысл, трудно. О чем думал Циолковский в эти минуты, можно только догадываться, для него земля, со всей её историей, философией, религиями, войнами, революциями, катастрофами физического и социального порядка, была только крошечной пылинкой в беспредельных просторах Вселенной.

(Окончание следует)

П. Палий

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

РУССКАЯ БИБЛИОТЕКА И МУЗЕЙ ТОМАСА ВИТНИ

Свою исключительную русскую коллекцию Томас Витни собирал примерно в течение двадцати пяти лет. Некоторые, работавшие в его библиотеке, архиве и музее, естественно, полагали, что его коллекция обязана тому, что Т. Витни с 1944 по 1953 год прожил в СССР, работая там, как советник по экономическим вопросам при американском посольстве в Москве. Но это заблуждение. Основная масса материалов коллекции приобретена за последние 15 лет на аукционах и у частных лиц — в Нью Йорке, Лондоне, Париже и других центрах Запада.

В коллекции Т. Витни множество русских книг, картин и рисунков русских художников, скульптура, периодические зарубежные и советские издания, частные литературные и политические архивы и многое другое, связанное с культурой России. Все материалы коллекции, главным образом, связаны с 20-м веком русской культуры. И собиратель старался представить этот период русского творчества с возможной полнотой.

Очень хорошо в коллекции представлена живопись русского авангарда. Но есть ценные работы и русских художников "традиционалистов", как, напр., И. Репина. В кн. 141 "Нового Журнала" мы поместили статью худ. Сергея Голлербаха о собрании картин этой коллекции. Многие эти картины, если б они были в России, украсили б собой русские музеи. Кроме живописи и скульптуры в музее хорошо представлены русские писатели, как эмигранты, так и писатели, никогда не покидавшие Россию и СССР. Надо сказать, что вряд ли где-нибудь на Западе есть второе такое частное собрание материалов по русской культуре. Разве в Париже, в коллекции, такого же друга русской культуры, проф. Ренэ Герра, о коллекции которого мы тоже постараемся дать сведения в "Н. Ж.".

В библиотеке Томаса Витни больше десяти тысяч книг и все они каталогизированы. Среди этих книг есть специальные подборки книг по

русской истории, по истории компартии СССР, по русской внешней политике, по русской экономике. Но все же наиболее полно представлена художественная литература. Много книг по истории литературы, по истории искусства, театра, кино и музыки. Русская эмигрантская литература представлена чрезвычайно полно. Есть очень редкие книги. Множество книг с автографами. Ценны в библиотеке редкие подборки брошюр. Здесь брошюры политической эмиграции 19-го и 20-го веков (особенно богато представлена партия социалистов-революционеров). Ценна подборка брошюр и журналов по русскому авангарду.

Дореволюционная периодическая печать представлена комплектами журналов — "Мир Искусства", "Искусство", "Старые годы", "Золотое Руно", "Аполлон". Имеются полные комплекты таких зарубежных журналов, как "Современные Записки", "Путь", "Новый Журнал", "Русские Записки", много книг журнала "Воля России". Есть комплекты советских и зарубежных газет начиная с 1960 года. Таких, как "Правда", "Известия", "Литературная Газета", из зарубежных — "Новое Русское Слово" и "Русская Мысль". Очень полно представлена русская зарубежная периодика за двадцатые, тридцатые и сороковые годы. Сюда вошла замечательная коллекция покойного Конст. Солнцева, собиравшего ее долгие годы.

Хранится в библиотеке Т. Витни архив А. М. Ремизова, в нем, между прочим, есть дневник А. М., который он вел день за днем с 1922 по 1948 год. В архиве Ремизова много ценных писем русских писателей, адресованных как ему, так и его жене С. П. Довгелло, среди них письма Б. Пильняка, К. Федина, Ф. Гладкова, И. Эренбурга, А. Аросева, Иванова-Разумника. Среди других личных архивов в библиотеке Т. Витни хранятся архивы проф. А. Анцыферова, К. Солнцева, В. Диксона, К. Парчевского, В. Зензинова, Р. Гуля. Хранится часть архива Союза Русских Писателей и Журналистов в Париже. Есть политический архив К. А. Столяровой из Женевы, в котором есть письма дореволюционных лет Ю. Мартова и Ф. Дана, одно или два письма Троцкого, есть и одно письмо, по всей вероятности написанное Лениным.

В музыкальном отделе коллекции много ценных пластинок и записей русской музыки. Есть русские палехские вещи, есть старинные серебряные бокалы и пр.

Ценнейшей частью русского собрания Т. Витни является, конечно, его коллекция живописи. Тут — иконы с пятнадцатого до девятнадцатого века. И много работ известных русских художников 20-го столетия:

Ларионов, Гончарова, Розанова, Попова, Клён, Малевич, Филонов, Габо, Валентин Серов, Репин, Бакст, Петров-Водкин, Татлин, Родченко, Архипов, Добужинский, Кандинский, Ремизов, Архипенко, Малявин и много других. Из современных художников представлены своими работами Эрнст Неизвестный, Сергей Голлербах, А. фон Шлиппе, Анатолий Зверев, Вейсберг, Эллингсон, Галанин, Межберг и другие.

Томас Витни, собственник этой замечательной коллекции, рассматривает свое собрание, как памятник русской интеллигенции двадцатого века, которая, как он говорит, "так много страдала и так много дала миру".

Р. Г.

КНИГИ ДЛЯ ОТЗЫВА

- Л. Фабрициус.* Возврат. Роман. Рассказы. Изд. Современник. Торонто. 1980 (319 стр.).
- Вячеслав Иванов.* Собрание сочинений. Том III. Под редакцией Д. В. Иванова и О. Дешарт. С введением и примечаниями О. Дешарт. Feyer Oriental Chrétien. Брюссель. 1979 (896 стр.)
- Дм. Кленовский.* Собрание стихов. Обложка худ. С. Голлербаха. Т. I. Париж. 1980 (138 стр.)
- С. В. Леонтович.* История либерализма в России. 1762-1914. Исследования новейшей русской истории. Под общей редакцией А. И. Солженицына. Перевод с немецкого Ирины Иловойской. Париж. 1980. (549 стр.)
- А. Скачинский.* Было это так. Научно-фантастический рассказ. Ашфорд. Кон. 1980 (30 стр.)
- Н. Шелехов.* Сказки Наталкина деда. Худ. оформление Т. Склянченко. Блумингтон. 1980 (69 стр.)
- Р. Левинзон.* Снег в Иерусалиме. Стихи. 1977-1980. Иерусалим. 1980 (30 стр.)
- Р. Левинзон.* Два портрета. Лирика. Изд. Р. Портной. Иерусалим. 1977 (94 стр.)
- Прот Д. Константинов.* Записки военного священника. Канада. 1980 (76 стр.)
- Ричард Вурмбранд.* Мучений за Христа. 1980 (142 стр.)
- Михаил Армалинский.* По направлению к себе. Четвертая книга стихов. Альманах Пресс. Лос Анжелес, Калиф. 1980 (102 стр.)
- Георгий Марченко.* "На каждом листке..." (251 стр.)
- И. В. Гессен.* Годы изгнания. Жизненный отчет. Имка Пресс. Париж. 1979 (268 стр.)
- В. Кормер.* Крот истории или революция в республике S-F. Имка Пресс. Париж. 1979 (187 стр.)
- Mandelstam.* The Complete Critical Prose and Letters. Edited by Jane Gary Harris. Translated by Jane Gary Harris and Constance Link. Ardis. Ann Arbor. 1979 (725 p.)
- Ella Bobrow.* Irina Istomina. Translated from Russian by Ella Bobrow. Mosaic Press. Canada. 1980 (92 p.)
- Patrick Waddington.* Turgenev and England. New York University Press. New York. 1981 (382 p.)
- Vladimir Zlobin.* A Difficult Soul: Zinaida Gippius. Edited, annotated, and with an introductory Essay by Simon Karlinsky. University of California Press. Berkeley. 1980 (197 p.)

ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА

РОМАН ГУЛЬ

” Я У Н Е С Р О С С И Ю ”

АПОЛОГИЯ ЭМИГРАЦИИ

ТОМ I. ”РОССИЯ В ГЕРМАНИИ”

В книге 365 стр., много фотографий. Цена — 10 долл.

Заказы направлять в ”Новый Журнал”:

**THE NEW REVIEW, 2700 BROADWAY
NEW YORK, N.Y. 10025**

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

под редакцией
РОМАНА ГУЛЯ
и
Е. Л. МАГЕРОВСКОГО

■
В 1981 году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ

■
Подписная цена на 1981 год 24 доллара
(за 4 книги)

Цена одной книги — 7 долларов
Во Франции — 25 франков

■
ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ
«НОВОГО ЖУРНАЛА»

THE NEW REVIEW, 2700 BROADWAY
NEW YORK, N.Y. 10025

Телефон редакции и конторы: 666-1692

Прием по делам редакции и конторы — ежедневно, кроме
праздников и суббот, от 10-ти до 12-ти час. дня
